

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

БРЕНКЕЛА

2(10)2019

ВРЕМЕНА

**Литературно-художественный
и общественно-политический
журнал**

Выпуск 2 (10) 2019

**Нью-Йорк
2019**

ВРЕМЕНА
Международный литературно-художественный
и общественно-политический журнал

VREMENA
International Journal of Fiction, Literary Debate,
and Social and Political Commentary

Publisher Leon Mikhlin

Editor David Guy

Design and layout Slava Petrakov

Copyright © 2019 Leon Mikhlin

No part of this publication may be reproduced or transmitted
in any form or by any means – electronic, mechanical,
photocopy, or any other – except for brief quotations in printed reviews,
without prior permission from the Publisher.

For any information about obtaining permission to reproduce
selections from the journal, please call **917-922-4153** и **646-270-9615**
or send an email to **lbm28w@aol.com** и **guydavid094@gmail.com**

All rights reserved

Printed in the United States of America

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

ИРИНА БАСОВА-ЗАБОРОВА	(Франция)
МАРК ВЕЙЦМАН	(Израиль)
ГЕННАДИЙ КАЦОВ	(США)
ГАРИ ЛАЙТ	(США)
АНДРЕЙ ОСТАЛЬСКИЙ	(Англия)
ЛАРС ПОУЛЬСЕН-ХАНСЕН	(Дания)
СЕМЕН РЕЗНИК	(США)
МИХАИЛ РУМЕР-ЗАРАЕВ	(Германия)
ЭЛЛАЙДА ТРУБЕЦКАЯ	(США)
МАРИНА ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР	(США)
ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН	(США)

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Олег ГЛУШКИН
Точка невозврата.....6

Леон МИХЛИН
Диагноз20

Джейкоб ЛЕВИН
Подвиг разведчика54

Владимир СОЛОВЬЕВ
Pozzo sacro: измена – это так просто
(окончание).....90

Ефим ГАЛЬПЕРИН
Блюма..... 139

ПОЭЗИЯ

У нас в гостях журнал
«ИНТЕРПОЭЗИЯ».....76

Марина ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР..... 134

Лариса ИЦКОВИЧ 234

НЕЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

Дмитрий СТОНОВ	
В два голоса	149

ДАТЫ

Анна АХМАТОВА	
“Реквием” я никому не подписываю...”	202

МНЕНИЕ

Григорий ПИСАРЕВСКИЙ	
Американские евреи и их связь с левым либерализмом.	217

ОСТРАЯ ТЕМА

Александр ЯБЛОНСКИЙ	
Генерал Власов как индикатор мифотворчества о войне	238

РЕМИНИСЦЕНЦИИ

Искандер КУЗЕЕВ	
Детская антисоветская литература в СССР.....	278

МЕМУАРЫ

Андрей ФРОЛОВ	
Генерал СМЕРШ.(продолжение).....	291

СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО...

Евгений ЛЕСИН	
Размышлизмы	305

БИБЛИОГРАФИЯ.....	313
-------------------	-----

Олег ГЛУШКИН

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

Возможно, он и приехал в этот город ради одного августовского дня. Если вернуться в прошлое, то только в конце лета. Вода в море впитала солнце, она стала теплее воздуха, и небо такое прозрачное, словно промытое шампунем. А тени истончились, стали зыбкими и неровными. И главное не затягивать, а начать день с рассветом, и тогда он будет долгим, столь же долгим, как и вся предыдущая жизнь. И вот он стоит у вокзала в самом центре города, у Северного вокзала, откуда к морю бегут электрички, и весь он напряжен, словно ожидает первого в жизни свидания. Или того свидания в Питере у метро, когда она тоже опаздывала. Можно было повернуться и уйти. И тогда жизнь тоже повернулась бы. Впрочем, разве можно уйти от судьбы. И виновата ли она в том, что счастливые августовские дни сменила тоска и унижения.

Вот он и приехал сказать: не вини себя, каждый сам выбирает свою судьбу. И никого не надо жалеть. Ведь, что ни делается, все к лучшему. Мог бы позволить себе и поездку на такси, и самый дорогой ресторан, и самые дорогие подарки, но это было бы воспринято как хвастовство, да если бы еще рассказать о том, что ее ждет почти дворец на одном из островов, где не только в августе наступает благодать, а благодать эта длится круглый год. Но тогда не прежние чувства удалось бы возратить, а приманить, завлечь тем, что, как он понял, для многих женщин имеет решающее значение. Она должна была увидеть в нем – давнего его, не обремененного благами этого мира. Да и что можно считать благом? Никакие богатства не могут принести радости, если душа твоя измучена, если за твоей спиной потерянные годы и потерянная страна. С высокого перрона он увидел, как там внизу электричка, втянув в двери жаждущих уехать к морю, тихо и протяжно загудела, и заскользила по рельсам. И почти одновременно он увидел, как с противоположной стороны

улицы спешит она, почти бежит знакомой легкой походкой, и кажется, что ноги ее не касаются асфальта, конечно, бежит на красный свет, она ведь всегда не признавала никаких ограничений, никаких правил, ее также, как и его, томила поднадзорная жизнь. Ее просто заставили сдаться, в который раз понял он. И не такие сдавались. Империя умела калечить человеческие жизни. И все же это был, вероятно, только миг в ее жизни. И она осталась молодой. Как будто и не было тех тридцати лет, которые разделили их судьбы.

Вчера, когда он зашел в ее дом, в ее квартиру, увидел ее и не сказал, а просто выдохнул: Лина! И она откликнулась. Не назвала по имени, но и не выставила за порог, он уже тогда был счастлив. Всего-то и надо было увидеть завитки рыжеватых волос на смуглой шее, рой веснушек на носу и глаза, которые он узнал бы из тысячи других, глаза, наполненные синевой, но не здешнего моря, а того, на берегу которого он нашел теперь свое пристанище. Он не решился обнять ее и не решился ни о чем расспрашивать. Он понимал, что она не узнала его. И немудрено, годы лесоповала, годы рудников – все это на его лице – морщинами и даже шрамами. Вот явился, не запылился, могла и так сказать. Даже очень здорово, что не узнала. Лучше для них обоих. И он стал рассказывать что-то туманное, почти несвязное о человеческих судьбах, о всепрощении, возможно, она догадалась, о чем идет речь, но и вида не подала. Сварила кофе, это она всегда умела делать, колдуя над водой, бросая в кипяток корешки имбиря, несколько раз снимая коричневую пенку. Все это делала молча. А он говорил. О том, что не смог изжить из своей памяти и этот город, и этот дом, что многое связано с этими стенами. Несколько раз его почти бессвязную речь прерывал телефон. Она отвечала односложно. Нет, не могу, занята...

На стенах висели картины вперемежку с фотографиями. На одной из фотографий, той, что была над буфетом, они были вдвоем, снимок сделан в день свадьбы, она в белом, почти прозрачном платье, он в черном костюме, с цветастым галстуком, такие тогда были модны, заграничный галстук, одолженный у студенческого друга, считавшегося заядлым стилистом. Разве можно даже представить, что был таким, широко распахнутые глаза, худущий. Признать невозможно. И нечего винить Лину, пенять на ее забывчивость. Скорее можно удивляться ее доверчивости. Пустить в дом неузнанного

человека и даже согласиться свозить его к морю. Сказала, а почему бы нет, завтра будет последний солнечный день, август кончается. Народу будет много, надо успеть на раннюю электричку. И пересесть потом на автобус. И в Ниду! – Конечно, в Ниду, – согласился он. Значит, узнала, ведь Нида была самым любимым их местом. Но почему ни разу не назвала по имени? Почему держит на расстоянии? Возможно, специально делает вид, что не узнала. Не хочет беречь прошлое...

Вот и сейчас, словно чужая, на вы: уж извините меня, я так старалась не опоздать, я так старалась, вы не обижайтесь, пожалуйста. – Нет, нет, что вы – он тоже говорил вы, с трудом сдерживая себя, чтобы не крикнуть на всю утреннюю площадь: Лина!

Надо было узнать, когда придет следующая электричка, или на худой конец автобус. И они уже собрались идти к кассам, когда буквально рядом с ними тормознула маршрутка, совершенно не заполненная пассажирами и написано на ней было «Зеленоградск», а это значило море, не совсем тот конечный пункт, который они наметили, но в том же направлении. Видите, сказала она, мне всегда везет, поедем с комфортом. Сказала и опустилась на отдельное сидение, не захотела сидеть рядом. Его это несколько не расстроило. Им ведь еще предстояло долго привыкать друг к другу. Наверное, шоферу, молодому скуластому парню, подумалось, вот, старый богатый хрыч, везет на морскую прогулку молоденькую женщину. Ведь так может показаться любому. Седой морщинистый человек, и рядом почти девушка, в сарафане, открывающем покатые загорелые плечи, кудрявые рыжие волосы, ярко покрашенные губы. Время остановилось для нее, время ее пощадило.

Он и до мордовских лагерей выглядел много старше, хотя какая это разница – десять лет, прибавить надо еще долгое отсутствие, жизнь на другом берегу. Обретение всего в чужой стране. Потеря это или благо. Что означает лагерный опыт? Вырванные из жизни годы, или напротив, не худшие университеты. Когда суд определил срок, казалось все, жизнь рушится, был преуспевающий инженер, и вдруг стал зэком, человеком, лишенным всяких прав. Но никогда и никто не сможет отобрать у человека его внутреннюю свободу. И размышления над жизнью, и осмысливание ее, и погружение в философские трактаты – это возможно и ярче той жизни, что оставалась за

ключей проволокой. Единственным черным пятном было предательство. Когда следователь с кривой ухмылкой сунул ему показания Лины, его словно током шибануло, строчки запрыгали в глазах, нет, не верил он, она не могла такого наговорить. Потом, уже в ссылке успокоился, пришел в себя, постарался понять ее и простить, но ни на одно ее письмо не ответил. Так она ушла из его жизни, и если честно признаться, он почти не вспоминал о ней. Поездка в город, где они прожили несколько счастливых лет, была делом случая, в жизни всегда многое определяет случай, хотел ли он встречи, искал ли этот случай, он сам не смог бы определить. И все же прошлое жило в нем, пряталось где-то в генах, свербело, и вот теперь ожило, возникло, и словно не с ним все это происходит. Он едет в маршрутке с молодой красивой женщиной, и та не узнала его или делает вид, что не узнала. Может быть, и это единственно правильное ее решение – не узнавать. Начать с чистого листа. А если сразу узнать, сразу объятия и сразу объяснения того, что произошло, и тех слов, что до сих пор сидят занозой внутри: я всегда замечала за ним странное поведение, он и его друзья таились от меня, листовки они печатали на самодельном резографе... Вот и спросить сейчас у нее – какие листовки, это были просто стихи, ты же ведь тоже любила стихи, я ведь видел, как теплеют твои глаза, когда я приносил домой эти запретные вирши. Разве стихи могут разрушить строй? Разве стихов надо бояться церберам, охраняющим властителей. Власть в результате пала не от стихов, она сама себя изжила, в России все перевороты свершаются свыше. Ну да Бог с ней, с этой страной, похожей на унтер-офицерскую вдову, сочиненную Гоголем, вдову, которая сама себя высекла. Но ведь, если признаться честно, именно эта страна жила в нем все эти годы, именно за нее он мысленно молился, когда пришел к твердому убеждению, что есть Бог. И хотя уже не стало родителей, и не было никого, кто ждал бы его, он обрадовался поездке и тому нехитрому заданию – консультации, которую надо было дать филиалу его фирмы. Здесь строили корабли по их проекту и что-то не ладилось с винтами регулируемого шага. В первый же день на заводе он понял, в чем состоит загадка, все было проще простого, он, однако, специально не сразу все высказал, а пообещал подготовить письменное заключение через несколько дней. Ему нужно было время. То, что он увидел, все больше огорчало его. Вся эта безала-

берность, эклектика в застройке, грязь и неразбериха, – он давно от этого отвык. Наградой за все мог стать сегодняшний день, наградой, а возможно и некоей поворотной точкой. Или, как называют летчики, точкой возврата, той, которая еще гарантирует возможности вернуться.

И поначалу все вроде и заладилось, Полина не отвергла, не выгнала сразу, сделала вид, что не узнала. И как повезло с маршруткой. Буквально за полчаса она домчала до Зеленоградска по дороге, не уступающей западным европейским автобанам. Эта широкая дорога с причудливой чередой светильников, многополосная, была радостным открытием для него. Вот и сюда в Россию пришли настоящие дороги. И вспомнились споры в лагерном бараке о судьбах страны, наверное, нигде так страстно и так заинтересованно не сталкивались различные мнения. В стране царил официоз, а там кого только не встречал, казалось, вот выпусти их и поставь на главные посты, и станет Россия процветать, ну и что же, ведь выпустили, а что произошло – спокойно отдали власть гэбешникам и олигархам. Потому что сами умели только спорить и только красиво говорить. И никаких бы дорог они не построили бы никогда. Помнится, один национал-патриот, получивший срок за создание боевых лагерей для молодежи и видевший главного врага в западниках, убеждал: зачем нам дороги, отсутствие дорог делает нас непобедимыми, те, кто пойдут по следам Наполеона и Гитлера, также завязнут в нашем бездорожье! Ну вот, теперь здесь на крайнем западе страны явно не завязнут.

Так он думал, когда маршрутка мчалась по новой автостраде, потом же все оказалось прежним. На косу должен был быть автобус в двенадцать, но рейс отменили. Пришлось искать попутку. Никто не соглашался брать их с собой. Тогда он решительно пошел к стоянке такси, цена за поездку не смущала. Полина поддержала его решение. Прежняя Полина стала бы выговаривать: зачем тратить такие бешеные деньги, стала бы ворчать, а эта новая Полина ловко уселась в машину, и теперь уже на заднее сидение, теперь они были рядом, и так как ехали уже не по автобану, а по извилистой неровной дороге, то машину все время толкало то влево, то вправо, и тогда он касался плеча Полины, касался ее рук, и даже один раз пожал ей руку, и она не отстранилась, а тоже слегка сжала его пальцы. Боковым зрени-

ем он видел, как мелькают среди сосен желтые пятна – золотистые дюны, как высвечивает солнце полянки, вдруг возникающие среди густых зарослей, как вдруг в сосновый лес и ельник вторгаются березы, такие белоствольные, такие беззащитные...

Когда-то, когда он еще не выстроил себе дом на Канарах, коса казалась ему самым красивым местом на земле. Еще в самый первый год совместной жизни они с Полиной открыли ее прелести, бродили пешком, тогда почти не было транспорта, скатывались вниз по песку с высоких дюн к морю, скидывали всю одежду, и бежали вдоль берега, потом бросались в воду, тесно прижимались друг к другу – и это был для них рай на земле. Потому что пустынные были чистые желтые пляжи, пустынные леса и почти не заселены редкие рыбацкие поселки, где всегда можно было почти за бесценок купить свежеекопченных лещей, пить пиво и закусывать тающей во рту соленой мякотью. Потом открыли для себя Ниду, и стали ездить туда, где для них начиналась Европа, где было всегда чисто и уютно, и где в доме Томаса Манна был музей, и при музее комната для гостей, и можно было остаться на ночь, и встретить рассвет, увидеть первозданную красоту солнца, встающего из вод залива, а осенью прямо у музея собирать лоснящиеся маслята и прячущиеся в песок зеленухи. И сейчас ему очень захотелось, чтобы в машине заглох двигатель, и они бы вышли и побрели бы через лес к заливу, к дюнам. И Полина вспомнила бы все прошлые их поездки, и наконец, узнала его.

И словно, читая его мысли, она сама предложила:

– Хотите немного побродить по косе, здесь самое интересное место, здесь танцующий или пьяный лес неподалеку, а едем мы напротив самой высокой дюны. Называется она Эффа.

Она объясняла ему все, как человеку, впервые едущему по косе, он хотел сказать ей, что ты, Полина, я прекрасно знаю и этот пьяный лес, и эту самую высокую дюну. Мы же вместе не раз бродили здесь. Но что-то удержало его, и он не стал укорять ее, а сказал, что это прекрасная идея. Только придется заплатить шоферу, сказала она. Проблем нет, ответил он.

На дюну они взбирались по специально проложенному деревянному настилу, она говорила не переставая, рассказывала о художниках, которые жили здесь, на косе, о станции кольцевания

птиц, о деревьях, которые заносило песком. Говорила ровным и бесстрастным голосом, как экскурсовод, и он не удержался и спросил, не работает ли она или работала раньше в экскурсионном бюро. Нет, ответила она, но в принципе у меня работа близка по специфике. Они шли долго, наверное, с полчаса, потом взбирались по крутым лестницам на смотровую площадку, зато были вознаграждены прекрасным, просто сказочным видом, открывшимся с вершины этой дюны. Среди песка и ельника вдали виднелись черепичные крыши рыбацкого поселка, повсюду внизу спускались к морю пласты первозданно чистого песка. Песок сдерживали искусственные посадки. Но все равно, придет время, и он стронется с места, и вся эта гора засыплет поселок. Так объясняла она. И он спросил, как она думает, почему жители поселков на косе не уедут отсюда. О, сказала она, здесь такой Клондайк, сегодня земля здесь золотая, мы можем пройти в поселок и вы увидите, какие там сейчас стоят шикарные особняки и отели. Пожалуй, сказал он, я куплю здесь дом. Он и всерьез об этом подумал. А почему бы нет. Полина будет приезжать в гости, они, как и в прежние годы, будут стараться не пропустить ни один восход, ни один закат. Спускаться по настилу было легко, они довольно быстро вышли на дорогу, машины здесь не было. Не волнуйтесь, сказала она, заметив, что он крутит головой из стороны в сторону. Не волнуйтесь, я договорилась с шофером, он будет ждать нас у танцующего леса, а мы здесь пройдем немного. О, конечно, обрадовался он, через лес, здесь совсем рядом. Она с удивлением посмотрела на него, догадываясь теперь, что он бывал и раньше на косе и бывал не раз.

Впрочем, танцующий лес он почти подзабыл и теперь этот лес предстал перед ним во всей своей непохожести на другие леса. Как только не вывернуты были стволы сосен, как только не закручивались они в кольца. И все вместе создавали они картину лесного хора. Измученные ветрами и скрученные природой, они не сникли. И, наверное, деревьям этим лестно, что люди приходят сюда специально смотреть на них.

Вот также и жизнь выкручивает человека, сказал он, пытается его согнуть в дугу, а он пляшет наперекор судьбе. Вы еще и философ, сказала она, улыбаясь, но улыбка у нее была недобрая. Он подумал, что, наверное, надоел ей и попытался обнять ее, она отстранилась.

Машина действительно ждала их на шоссе, шофер дремал, уткнув голову в руль, они постучали. Он проснулся сразу. Подмигнул, усмехнулся, нагулялись, мол. Ему-то какое дело, ему платят, и пусть будет доволен. Надо было торопиться. Как объяснил этот же шофер, успеть надо пересечь границу до обеда, потом могут быть и очереди. Антон слышал много об очередях на российской границе, рассказывали, что иногда можно простоять весь день. Но это говорили о польской границе. Здесь же такого потока не было. Во всяком случае, пока они ехали по косе, обгоняло их очень немного машин.

Но, несмотря на то, что на границе не было никакой очереди, простояли они перед полосатым шлагбаумом почти полчаса. И шофер, и Полина спокойно к этому отнеслись. А ему было совершенно непонятно, почему надо терпеливо ждать, и он сказал об этом шоферу. Э, мил человек, откликнулся шофер, это граница, здесь свои законы, будешь права качать, быстро тебя завернут, да еще штраф потребуют заплатить. За что же штраф, удивился Антон. А всегда найдут за что. И тут, ему показалось, чтобы отвлечь его, Полина распахнула дверцу машины и впервые за всю поездку засмеялась. Смотри, смотри – лисенок! И он тотчас вспомнил, что когда они познакомились, он звал ласково Полину – мой лисик. Значит, вспомнила. Он повернулся и хотел произнести это вслух – мой лисик. Но увидел действительно лисенка, который стоял метрах в двух от машины и внимательно смотрел в их сторону. А, старый знакомый, сказал шофер, он здесь все время попрошайничает. Его мамаша, смотри, из кустов выглядывает, сама подбежать боится, а детеныша подсылает. Лисеныш был очень симпатичным, такая вытянутая хитрая мордочка, и шерсть не совсем рыжая, а с палевым оттенком. Полина порылась в сумке, нашла конфету и бросила на дорогу. Лисеныш тотчас схватил ее и побежал в кусты, туда, где его вероятно ждали. Вот ведь какой, удивился Антон, сам не съест, поделится с родительницей. А может это вовсе не родительница, засмеялся шофер, может это просто сутенер лисичий.

Наконец шлагбаум подняли и сразу появилось четверо сотрудников, и шофер перед ними засуетился, заулыбался, а они не спеша осматривали багажник, потом всех попросили выйти, и у Полины копались в сумке. Как они все это терпят, не переставал удивляться Антон, и понимал, что сделать ничего не может, да и глупо спорить, и

если бы у него была сумка, он бы тоже ее раскрыл, и эти стражи границы рылись бы в ней. Это Россия! Но и на той, литовской стороне не все было просто. Виза у Антона была для многократного въезда и выезда, однако паспорт у него взяли, пошли консультироваться с начальством и это заняло еще полчаса. Так что в Ниду они приехали уже часа в три, и прежде чем идти в какой-нибудь ресторан, решили искупаться. Такси оставили на платной стоянке. Шофер пошел по своим делам, а они через лес вышли на просторный пляж, где почти никого не было. Это удивило Антона, ведь раньше в этом месяце было полно отдыхающих. И он понял, это было раньше, а сейчас никто не хочет терять время на границе. Август – лучший месяц в этих краях, так же спокойно и тепло в природе, как на Канарах. И солнце не жжет, и вода еще достаточно теплая. И такое спокойствие вокруг охватывает тебя, словно ты со всеми в ладу и в мире. И всех ты любишь. А сейчас еще и любимая женщина с тобой, и возможно, тебе снова удастся обрести ее – и вы простите друг другу прошлое.

На ней был темно-синий, очень откровенный купальник, стринги и короткая полоска, едва прикрывающая груди. У нее была великолепная фигура, и она не потеряла своей стати. И он особенно остро почувствовал, насколько она моложе его, когда сам разоблачился. И хотя у него было мускулистое тело, и мордовские лагеря не позволили мышцам расслабиться и стать дряблыми, все же наметился живот, годы накапливали жир. Раньше он бегал по утрам, но вот уже два года как забросил эти пробежки. Он восхищенно смотрел на свою попутчицу, на то, как она входила в воду, осторожно касаясь ладонями поверхности, как грациозно нырнула и вынырнула через несколько минут, так что он даже заволновался. Раньше Полина очень боялась воды, рассказывала, что дважды тонула в детстве и больше не хочет испытывать судьбу. Эта же новая Полина решительно брасом стала уплывать от него, и ему пришлось напрычься, чтобы саженками нагнать ее. И здесь в воде коснуться ее тела, и даже обнять ее. Именно в воде он почувствовал, что вряд ли сможет сдерживать себя, и когда они выходили из воды, он искал глазами скрытное место на берегу, он уже высмотрел его, это была так называемая сковородка, заслоненная от ветра кустами песчаная полянка. Он стал подталкивать ее туда, ощущая, как жар заливает все его тело. Она догадалась о его намерениях, резко оттолкнула его

и сказала: это не входит в наш договор. О каком договоре могла идти речь, он не догадался, какие-то смутные сомнения промелькнули и тотчас погасли. Нужно терпение, подумал он, мы должны привыкнуть друг к другу, нам нужно открыться, кто мы. Конечно, проще было всего узнать, кто они, если бы она не оттолкнула его. Но невозможно долгие годы разлуки стереть одним, даже самым лучшим и теплым августовским днем.

От моря они прошли почти километровый путь в гору, но он не почувствовал усталости, рядом шла молодая желанная Полина, и это делало августовский день еще светлее. Насколько он помнил из прошлой своей жизни, в Ниде всегда было теплее и солнечнее, чем в других прибрежных городах и поселках. Нида лежала в низине, защищенная от ветров дюнами и взгорьями. И еще Нида уже была в иной стране, где нравы и климат всегда в прежние годы казались мягче. Слева от дороги, за ельником выступали террасы дома творчества, справа за зданием почты наступали друг на друга черепичные крыши. Мысленно он называл это место, эти дома парижским предместьем. Самым же притягательным в Ниде был променад, берег залива, яхты, покачивающиеся на воде, узорчатые ограды, фигурные фонари, а главное – чистота, почти идеальная. Несравнимая с российской иная жизнь начиналась здесь. Так казалось раньше. Теперь, когда он повидал и Лувр, и Сан-Суси, и альпийские города, Нида не казалась уже чем-то сверхчудесным. И все же, если выбирать место для оставшейся жизни, то только здесь. Ведь Полина вряд ли захочет удалиться от своего родного города, даже на Канары.

Ресторан выбрала она, отвергнув главный, находящийся в центре, там столики, расположенные перед входом на деревянном помосте, были заняты, а внутри слишком мрачно. На берегу залива они вошли во двор деревенского дома, там столики стояли прямо под раскидистыми липами, и почти никого не было. Так что официантка в расшитом сарафане подошла к ним сразу и по ее улыбке, по всем ее вежливым поклонам было видно, что она рада гостям, и потом, когда она о чем-то пошептала с Полиной, он понял, что Полина здесь частая гостья. Можно это понять, она ведь так любила Ниду!

Полина заказала шампанского, он предпочел коньяк, заказали литовские цепеллины, салат с креветками, торт. Прежняя Полина не позволила бы так шиковать, а впрочем, почему бы и нет, встреча по-

сле долгой разлуки, он не тот полуинищий инженер из дальней советской жизни, а вполне обеспеченный консультант из процветающей фирмы, самый высокооплачиваемый консультант.

Но даже после того, как они выпили, он не почувствовал потепления в ее отношениях к нему. Она уходила от серьезного разговора, иногда шутила, говорила о чем угодно, только не о себе. Цепелины оказались слишком жирными, салат был подан на таком большом блюде, словно приготовили его для очень большой компании. Он все время пытался увести ее в прошлое, хотел, чтобы она вспомнила те места на косе, где им было так хорошо, и домики на турбазе «Дюны», и гостеприимный дом знакомого рыбака в поселке, где все пропиталось запахом копченостей, и гостевую комнату в доме Томаса Манна, и ни в коей мере не собирался корить ее за то давнее предательство, которое сломало их жизнь. Она разговор о прошлом не поддерживала, упорно обращалась к нему на вы, ему тоже пришлось говорить ей вы. Он стал расспрашивать, как жилось ей все эти годы. Выяснилось, что она окончила университет, но работы не нашла, выручило знание языков, она говорит не только на английском и немецком, этим никого не удивишь, но может объясниться даже на шведском и итальянском.

– А живу я, – сказала она, – весьма безалаберно, можно сказать, как тот лисенок на границе, живу подачками время от времени, проедет богатый турист, бросит кусочек, я и рада. Не люблю только, когда ко мне пристают, это не входит в прејскурант...

Она сидела напротив его, на солнечной стороне, она была так близко и все же так далеко от него. У нее были знакомые вьющиеся рыжеватые волосы, у нее была такая же, как у Полины, родинка на правой щеке, она так же вскидывала голову при разговоре, и все же это была не совсем она, и чем дольше длилось это сидение за столом и весь этот разговор, тем более он осознавал, что к прошлому она не хочет возврата.

– Помните, Полина, как мы встретились с вами, помните, как вы опоздали...

– Вряд ли я смогу вспомнить, – сказала она, – и почему вы все время зовете меня Полиной...

Он опешил и после затянувшегося молчания спросил удивленно:

– А разве вы не Полина?

– Нет, – сказала она, – вы поначалу правильно называли меня – Лина, но я Элина, Полиной зовут мою маму.

Он почувствовал, что лицо его заливают краской, язык словно прилип к небу, сердце противно сжалось. Он мысленно обругал себя последними словами. В который раз жизнь обманула его, в который раз разрушила красивую сказку. А что еще он мог ожидать. Хорошо еще, что их отношения не зашли далеко.

– А где же сейчас мама? – спросил он.

– Мама давно уже покинула меня, – ответила Полина. – И стоит ли так переживать из-за ошибки, что вы, право, мы должны радоваться этим моментам, жить как суфии, знаете индийских мудрецов, они умеют не думать о прошлом и не строить планов на будущее.

И она впервые посмотрела на него ласково, и даже погладила по руке.

И снова он почувствовал непреодолимое влечение, которому, казалось, теперь не должно было быть и места. Дочка Полины, вполне самостоятельная, не юная особа, сама Полина очень далеко. Если он любил ее, то почему не может полюбить ее дочку.

Они заказали кофе, и пора было расплачиваться, но уходить не хотелось. Вернее, ему казалось, что если они сейчас встанут из-за стола, то эта Лина скажет «до свидания, вы ошиблись, к сожалению». Можно ответить ей, вся наша жизнь состоит из серии ошибок. И ошибки не всегда приносят горечь. Они ведут к покаянию, а иногда и к радости. Ведь это огромная радость – наша встреча. Она, вероятно, сейчас тоже размышляла об ошибке, но для нее ошибка не сулила радости. Она наклонила голову, чтобы не смотреть ему в глаза и удивленно спросила: Значит, вы не из турбюро были направлены ко мне? Он недоуменно пожал плечами. Какое турбюро, я вас не понимаю, Лина.

– Ну и денек, – сказала она, – вечно я все напутаю. Вы явились ко мне вчера и так решительно предложили эту загородную поездку, что у меня и сомнений не возникло. Знаете, есть такая услуга в нашем туристическом бизнесе, эскорт-леди. Богатые иностранцы хотят посмотреть достопримечательности, но и одновременно хотят, чтобы их сопровождала дама, знающая язык, с которой можно пофлиртовать, но не больше, за большее уже другие расценки...

По мере того, как она объясняла суть дела, ему становилось все жарче, казалось, горит все тело, он заказал еще коньяка и себе, и ей. Она выпила залпом.

Сказала, – вы не переживайте так, Бог с ним с договором, у них я ничего не получу, зато день был знатный... Да и к тому же, как я понимаю, я познакомилась с очередным мамашиним хахалем, который принял меня за нее. И раз мы теперь не связаны никаким договором, и я уже не эскорт-леди, мы можем повеселиться по полной программе, вы можете даже переночевать у меня, я уложу вас на мамашкину кровать. Кстати, расскажите про ваш с ней роман...

– Нет, – сказал он, – все уже исключено. И все довольно серьезнее. На фотографии у вас, той, что висит над буфетом, я с Полиной в день свадьбы. Мы рано расстались. В том была и моя вина, но больше ее. Я должен был простить ее, но не сумел это сделать. Я хотел сейчас покаяться перед ней. Передайте ей это. Напишите ей письмо. А лучше дайте адрес, я сам напишу.

– Нет, сказала она твердо, – адреса я вам не дам. Вы испортили ей жизнь. Она помчалась в Америку в надежде разыскать вас, все время говорила о том, что предала вас. О том, как подписала протокол, который погубил вас. Вы, очевидно, очень злой человек, надо уметь прощать. Ведь когда она подписала этот донос, она была беременна мной, она спасала не только себя, но и ту жизнь, которая зародилась в ней... А теперь уходите, я не хочу больше вас видеть, у вас много денег, можете здесь снять гостиницу или заказать такси. Уходите, я должна остаться одна.

Он вынул из кармана все деньги, которые там имелись, положил на стол, и медленно, словно пробираясь в сплошном тумане, побрел к выходу, натываясь на углы столиков.

Удар жизни в очередной раз был сильнее прежних. В один день обрести поначалу, как казалось, прежнюю любовь, потом, как выяснилось, и дочь, и тут же потерять все. Как он посмел усомниться в Полине, бедная, она ведь поехала за ним, если бы только он знал об этом! Почему он не искал встречи после мордовских лагерей? И вот результат: брошенная дочь, обреченная на блуд. Ведь сказано еще в Библии, что тот, кто бросает свою жену, обрекает ее на блуд. И не только жену. Значит, виной всему он сам. Он пропустил точку возврата, точку, из которой еще можно вернуться в прошлое, она

перешла в точку невозврата, из которой уже никто не может выбраться. И еще физики говорят про эту точку, что в ней уже невозможно остановить реакцию...

Олег Глушкин родился в 1937 году в городе Великие Луки Псковской области. В 1960 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт. Работал в Калининграде на заводе «Янтарь» докмейстером, в рыбной промышленности, на рыболовных траулерах в Атлантике.

В 1985 году принят в Союз писателей. Издал 25 книг прозы. В 1990 году избран председателем Калининградской писательской организации. В 1991 году основал журнал «Запад России». За вклад в развитие культуры и расширение контактов между российской и европейской культурой удостоен Диплома Канта. Награжден золотой медалью «За полезное» за просветительскую деятельность. Удостоен ряда литературных премий и дипломов. Произведения переводились на литовский, немецкий и польский языки. Составил и осуществил издание сборника «Кровоточащая память Холокоста», собрав и обработав воспоминания уцелевших узников гетто и лагерей смерти. Завершил эту работу романом «Анна из Кёнигсберга». Сопредседатель Союза российских писателей.

Леон МИХЛИН

ДИАГНОЗ

1

Гэри снился сон. Тяжёлый, весом в колонну Колизея. Тучи кло-чьями серого мха собирались над головой. Всё больше и больше. Окрест всё медленно наливалось зловещей темнотой, будто кто-то густо пролил чернила. Небо от горизонта до горизонта затянули чёрные тучи и словно придавили его к земле. Будет гроза – методичным метрономом отстучало в ватном мозгу. Но ничего не происходило: не отдавался пушечной канонадой гром, не разрезали густеющую черноту молнии, не разверзлись хляби небесные. Ничего не происходило, лишь (Гэри чувствовал) сердце начинало учащённо биться о ребра-прутья, словно пыталось вырваться из клетки на свободу.

Неожиданное, неосмысленное, пантерой подкрадывающееся чувство тревоги рождалось внутри Гэри. Он с трудом разлепил отяжелевшие веки. Он не мог ничего вспомнить из пригрезившегося – только чернильная густота неба и он посреди огромного пугающего пространства.

Его потянуло в туалет. В последнее время он все чаще просыпался из-за таких позывов. Морфей играл с ним в противную игру, не давая мозгу желанные часы отдыха, заставляя три, а то и четыре раза за ночь брести неверным шагом в туалет. Вот и сейчас спр-сонья дотащился до стульчака. Несмотря на желание, ничего не получилось. От напряжения он начал покрываться испариной. Чёрт возьми, почему я не могу совершить привычное действие? Что-то внутри замкнуло. Замкнуло впервые, хотя предпосылки уже были. И всё-таки, не до такой степени, когда желание распирает, а результат нулевой. Старость? При чём здесь старость, мне всего-то шестьдесят четыре... Значит, простата. Мой терапевт, полгода назад увидев после рутинной проверки показатель PSA в анализе крови,

предупредил – с простатой не все ладно. Эскулапы вечно страшат, им же надо содрать деньги с наших страховок. Тем более, я в порядке как мужчина, а от приятелей слышал: если потенция начинает угасать, беги к урологу – наверняка фокусы простаты... Чёрт бы её подрал...

Гэри упорно сжимал мышцы брюшного пресса, потом привстал и включил воду над раковиной, начал тихонько посвистывать – где-то читал, что ток воды и посвисты помогают совершить процедуру – еле-еле удалось выдавить несколько капель. Ему казалось, будто сидит в одиночной тюремной камере и капли конденсированной влаги медленно падают с потолка на каменный пол.

Он встал и, пошатываясь, побрел в спальню. Остаток ночи продремал, вновь испытывая тревогу. Надо показаться урологу, решил твёрдо, как отрезал.

Утром же всё *получилось*, принеся физическое облегчение. Провизит к урологу Гэри старался не думать.

Утро и впрямь улучшило настроение. Тучи из тяжёлого безрадостного сна растворились, небо купалось в лазури, солнце буйствовало, словно на календаре значился не конец октября, а середина июля. И в самом деле, осень – лучшая пора Нью-Йорка...

На утро была назначена важная встреча. Он вышел к машине. Океанский бриз, гонимый на Манхэттен-Бич, наполнял лёгкие, раздувал их как кузнечные меха.

Гэри сел в «Мерседес» и двинулся по направлению к фривэю, ведущему на Лонг-Айленд. По пути надо будет захватить партнёра по бизнесу. Мысленно нарисовалась высокая поджарая фигура с зачёсанными назад длинными чёрными, как вороново крыло, волосами и щегольскими усами кончиками книзу. Гэри находил в нем сходство с Шоном Пенном из фильма *Dead man walking*, только тот был шатен, а Кевин – жгучий брюнет. Он любил Кевина. В то же самое время в глубине души побаивался и признавал его решения правильными без исключений.

Когда он подъехал к дому Кевина, тот уже ждал на улице. Пунктуальность была его коньком, притом не единственным.

– Как дела? – бросил Гэри ни к чему не обязывающую фразу, отвечать на которую необязательно.

Кевин и не соблаговолил ответить, лишь самодовольно кивнул и сел в машину.

Они приехали вовремя. В помещении для переговоров их ждали трое представителей компании. Круглолицый лысый крепыш, смахивающий на борца-рэстлера, сидел, откинувшись в кресле, и встретил вошедших сухим взглядом. Гэри почувствовал к нему неприязнь. Он не был хозяином компании, но Гэри имел информацию: от крепыша зависит положительное или отрицательное решение любого вопроса. «Серый кардинал...» Второй мужчина, «красавчик», как тут же прозвал его Гэри, улыбался не всем лицом, а лишь глазами – плотно сжатый рот и неподвижные губы к улыбке отношения не имели. Он выглядел словно сошедшим с рекламного постера: дорогой цвета маренго шерстяной костюм, в тон подобранный голубой галстук, тёмно-коричневые штиблеты из крокодиловой кожи. Свежий загар позволял судить о недавнем посещении «красавчиком» Майами или, скажем, Арубы. Слегка выгоревшие на солнце седеющие кудри были убраны на затылке в пучок. Скорее похож на певца в стиле рэп, чем на бизнесмена, отметил про себя Гэри.

Между ними сидела худая, ярко накрашенная женщина. На ней была светлая блуза со смелым V-образным вырезом. Кожа кистей рук и шеи выдавали далеко не юный возраст. Она машинально перебирала пальцами кипу бумаг. Кошачьи зеленоватые глаза её, большие, выпуклые, смотрели изучающе. Она начала говорить первой, её подчёркнуто тихий голос заставил напрячься.

– Мое имя Джуди Маршал. Я адвокат компании. Надеюсь, господа, вы внимательно прочли контракт. Любая компания, работающая через нас на город, должна его подписать.

Полутора часами ранее, в машине, Гэри попытался обсудить с Кевином некоторые, по его мнению, несправедливые требования контракта. Партнёр не стал углубляться в детали, предпочтя прежде выслушать представителей компании. «Не будем спешить с выводами».

Гэри однако не послушал совета партнёра (такое бывало нечасто) и с места в карьер начал:

– Здесь кое-что в вашу пользу. Например, деньги за нашу ра-

боту вы платите только после получения вами оплаты из города. То есть ждать нам придётся и полгода, и дольше.

Гэри боковым зрением поймал взгляд Кевина, не суливший ничего хорошего. Лицо Джуди Маршал было непроницаемо. Крепыш слегка поджал губы. «Красавчик» притушил ни к чему не обязывающую улыбку.

В комнате воцарилась тишина. Крепыш заговорил отчуждённо, сдерживая недовольство. Стало ясно, кто в этой комнате правит балом.

– Уважаемый Гэри, наша компания работает на город много лет. Нам лучше, чем кому бы то ни было, известно, как выбивать деньги из города. Есть правила, установленные не нами. Менять их невозможно. Если ваше возражение касается только этой сферы и если вы доверяете нам, то подписывайте контракт и – вперёд. Если вам не подходит, мы будем искать других субподрядчиков. У нас нет проблем с поиском, многие хотят через нас работать на город...

Слово взял Кевин. Он постарался смягчить тон выступления Гэри, фразы обтекаемые, гладкие, как отполированная волнами морская галька, свидетельствовали о нежелании идти на конфронтацию по пустякам – да, оплата работ может задерживаться из-за нерасторопности городских властей, но так всюду и везде, приходится с этим мириться, иначе будем выглядеть дон-кихотами, воюющими с ветряными мельницами. Услышав такое сравнение, хозяева понимающе улыбнулись.

Гэри оценил дипломатические способности партнера и прикусил язык. «Сегодня я не в духе – следствие паршивой ночи, не надо злить этих ребят и мымру Джуди. Пускай всё решает Кевин...»

Минут через сорок, после обсуждения деталей, контракт был подписан.

Они неслись в обратном направлении. Дорога, политая солнцем, как маслом, уходила тремя полосами на холмы и плавно спускалась в низины. Машины попадались редко. Гэри, нарушая правила, обгонял одну за другой. Никаких светофоров. Свобода и солнце.

Кевин неожиданно начал быстро говорить, будто стремясь поскорее избавиться от тягостного груза.

– Гэри, я видел твое недовольство во время разговора. Чем оно

обосновано? Это одна из самых успешных строительных компаний. Их оборот в год превышает полмиллиарда долларов. А наш оборот...

Гэри перебил – встреча, действительно, не принесла удовлетворения. Всё-таки он не в порядке, может, у него не та болезнь, которая сушит мозг и точит сердце, однако нехорошие мысли одолевают, угнездились в подкорке. Оттого нервничает, хотя не хочет это признать.

– Дорогой Кевин, я понимаю бизнес не меньше тебя. И владею половиной компании. Так что мы равные партнёры и, пожалуйста, уважай это.

– Что с тобой сегодня? Какая муха тебя укусила? Я не высказал в твой адрес ни одного обидного слова. Я тебя не узнаю... Что случилось?

Впереди резко затормозила «Тойота». Гэри мгновенно нажал на тормоз. «Мерседес» резко дернулся, Кевин едва не стукнулся головой о лобовое стекло.

– ...твою мать!.. – выругался он. – Какой мудака учил его водить, – относилось в водителю внезапно тормознувшей «Тойоты». – Наверняка баба...

Кевин оказался прав – за рулем «Тойоты» сидела молодая смуглая деваха, по виду, латиноамериканка, болтавшая по мобильнику, который и не думала отрывать от уха.

В этот момент Гэри почувствовал прежнее желание, одолевавшее всю ночь. Во время беседы он неоднократно прикладывался к бутылочке минералки – и вот результат. Чёрт, надо было пересилить жажду, ругал себя. Но что делать сейчас? До ближайшего сервис-центра с туалетами миль пятнадцать, он не выдержит. Может, остановиться где-нибудь в укромном месте, выйти из машины, забежать в придорожные кусты и...

Желание давало о себе знать всё острее, отдавалось режью в низу живота. Эх, была не была... Он мигом съехал с полосы, припарковался у самой дороги и включил задние фары. Возглас изумлённого Кевина: «Что ты делаешь?» остался без ответа. На объяснение времени не было. Гэри открыл дверцу, выскочил и приготовился совершить короткий марш-бросок в лесок напротив. И тут внутри обмерло – он услышал кваканье полицейской машины. Коп – детина под два метра с шейным загаром от долгого пребывания на откры-

том воздухе и наметившимся животом, слегка выпирающим из-под тужурки, – появился внезапно в самую неподходящую минуту. Спокойно, вразвалочку подошел к замершему в напряжении Гэри и поинтересовался, что случилось и не нужна ли помощь.

– Офицер, у меня серьезная медицинская проблема. Прикройте меня...

Коп удивился. Его физиономия повторила выражение лица Кевина. Но он выполнил просьбу. Над полицейской машиной двумя ушами поднялись мигалки. А Гэри ринулся в кусты между деревьями...

Увы, из него вытекло всего несколько капель. Притом розового цвета. Удрученный, он вернулся и коротко объяснил полицейскому: «Проблема с простатой. Видимо, нужна операция».

Детина посочувствовал, похлопал по плечу и пожелал добрать-ся до дома без приключений.

Пришлось открыться Кевину. Партнёр не стал расспрашивать и взглянул как-то по-новому: так, наверное, сам пациент смотрит на себя в зеркало после объявления доктором приговора. Похоже, Гэри предстояло узнать это на практике.

2

Пути господни неисповедимы. Случилось так, что внук и сын православных стал американским евреем. Что ж, такое бывает и довольно часто.

Гэри происходил из семьи кубанских казаков Добромисловых. Жизнь деда была овеяна легендами. Родился Кирилл Степанович в 1894 году. Учился в гимназии, мечтал стать инженером, поступил в Императорское Московское техническое училище, закончить которое не успел – началась революция.

Январским зимним днём на него напали вооружённые кто чем матросы и штатские, человек семь, их раздражила его студенческая форма: фуражка с козырьком тёмно-зелёного сукна со знаком училища на околыше – перекрещенными молотком и разводным ключом, пальто тёмно-зелёного сукна, из-под пол которого виднелись шаровары со светло-синим кантом, и башлык верблюжьего цвета.

– У, буржуй проклятый, вырядился как на смотрины! Мы тебя к стенке сейчас!

Выручила толпа демонстрантов с красными флагами, выросшая внезапно из боковой улицы и поглотившая полупьяную братию...

Семейные устои и традиции повлияли на выбор студента – он примкнул к белому движению. Уехав на юг, продвигался вперёд, а потом назад вместе с Добровольческой армией, ужасаясь зверствам большевиков. Впрочем, и *свои* нередко оказывались не лучше...

Спасаясь от неминуемого расстрела, попади он в лапы красноармейцев, Добромыслов оказался в Грузии, затем в Крыму, мечтал сесть на пароход, уплывающий в Турцию – не вышло, и Кирилл Степанович перебрался сначала в Словению, а позже в Сербию. Здесь осел, выучился на инженера, женился на югославке, родил дочь Ксению и сына Фёдора, будущего отца Гэри. Дочь эмигрировала в Америку, а Кирилл Степанович вступил в ряды Русского Охранного Корпуса, боровшегося с партизанами Тито. В 1944-м к нему присоединился семнадцатилетний сын..

В гостиной на широкой каминной полке, наряду с другими фотографиями, Гэри держал старинный снимок отца. Фёдор, совсем юный, был заснят в солдатской кепи, суконной шинели, где к левому рукаву между локтем и плечом был пришит орёл со свастикой, шинель была подпоясана кожаным ремнём, ремень с подсумками придерживался португепями через оба плеча. Обут отец был в альпийские ботинки на толстой подошве. Всё это, включая эсэсовскую шинель, он подобрал во время тяжёлых переходов по горам между Сербией и Боснией. Кепи, например, заменила каску, нагрывавшуюся под лучами солнца.

Гэри с интересом слушал воспоминания отца, встречался с его друзьями и бывшими соратниками по борьбе, перечитал немало разных статей в эмигрантской прессе, поэтому хорошо представлял, чем занимался Корпус. Сформированный в 1941-м из русских эмигрантов, осуждавших коммунизм и советскую власть, он стал самым многочисленным белоэмигрантским формированием. Однако после известий о репрессиях немецких войск против гражданского населения СССР в корпусе начался рост антигерманских настроений. Помимо неприязненных отношений к немцам, чины Русско-

го корпуса негативно относились к прогитлеровски настроенным усташам, причастным к массовым убийствам и выселениям сербов, и не раз вступали с ними в бой.

В 1944 году после капитуляции Румынии и Болгарии с их последующим переходом на сторону союзников Корпус из глубокого тыла вдруг оказался на передовой. Германское командование приказало прикрывать отход германской армии из Греции. В это время Корпус участвовал в боях не только с титовскими партизанами, но и с регулярными частями Красной армии и её новыми румынскими и болгарскими союзниками. Зимой 1944-1945 после создания Русской Освободительной Армии командующий Корпусом Б. Штейфон встретился с генералом Власовым, и они договорились о включении Корпуса в состав РОА.

30 апреля 1945 года Штейфон умер (возможно, от сердечного приступа, либо покончил жизнь самоубийством). Корпус возглавил полковник Рогожин, выведший корпус в Австрию, где сдался британским войскам. Советские власти хотели, чтобы британцы выдали им пленных. Однако британские власти не выдали их, так как большинство служивших в Корпусе никогда не были советскими гражданами.

После окончания войны ветераны эмигрировали кто куда: в США, Канаду, Бразилию, Аргентину... На Русском кладбище в Ново-Дивееве под Нью-Йорком построена часовня святого Александра Невского в память о Корпусе. Многие ветераны похоронены рядом. Среди них и Кирилл Степанович Добромыслов. Там же обрёл вечный покой и Фёдор Доброу, укоротивший фамилию на американский лад, скончавшийся от рака в год трагедии 9/11.

Игорь появился на свет в 1955-м. Отец, выходец из кубанских казаков, вопреки всему женился по страстной любви на американской еврейке, посещавшей реформистскую синагогу в Манхэттене на углу 5-й авеню и Ист 65-й стрит. В доме говорили на английском, но сын, ставший Гэри Доброу, по галахе американским евреем, тем не менее сносно изъяснялся на русском, читал, но, увы, почти не писал.

...Из отцовских воспоминаний особенно запомнился эпизод участия его взвода в бою с советскими частями за боснийское село. Собственно, в бою взвод не участвовал, находясь в резерве. Отец

и его товарищи залегли в канаве на обочине главной дороги. Из села доносилась ружейная и пулеметная стрельба. «Неожиданно появилась группа людей в советской форме, один из наших ребят конвоировал их с винтовкой в руках, остальные были безоружны, – рассказывал отец. – Они подошли к нам, мы повскакали и начали разговор. Оказалось, их группа располагалась возле большого дома в центре села. Началась перестрелка, один наш паренёк закричал: «Мы свои. Русские. Не стреляйте. Переходите к нам!» Что они и сделали, побросав оружие.

Пленные оказались молодыми новобранцами, как говорится, не нюхавшими порох. Они сели кружочком, стали снимать с пилоток красные звёзды и отдавать нам. Мы угостили их сигаретами. Наш командир приказал отвести пленных подальше от села, так как бой ещё продолжался. Он предложил им перейти к нам или остаться в статусе военнопленных – по их свободному выбору. Впоследствии я слышал, что половина из них выбрала свободу и влилась в ряды Корпуса»...

На Гэри эта история произвела сильное впечатление. Да, в той войне с немцами против Сталина сражались сотни тысяч бывших советских граждан и многие эмигранты, читал он и думал в этот момент о деде и отце.

3

Гэри вошел в свой одинокий дом на Манхэттен-Бич и сел в гостиной. Не включая света, он притаился в темноте, отдавшись тревогам и страхам. Он привык доверять внутреннему голосу. Голос подсказывал: ничего хорошего его не ждёт. Плохие мысли способны материализовываться – он знал это, но был не в силах изгнать их из себя. Невольно возвращался к бегству в придорожные кусты, и тревога усиливалась – те несколько с натугой выдавленных капель были окрашены в розовое. Он не ведал, как к этому относиться.

Он помыл посуду, скопившуюся со вчерашнего вечера. Включил телевизор. Новости с экрана обходили его, существовали обочью, он не воспринимал слова дикторов и участников дискуссий, в центре которых находился Трамп – любимый и ненавидимый почти в равной мере.

Ближе к девяти вечера раздался звонок по мобильному телефону. Камилла.

– Как ты, милый?

Он молчал. Был рад слышать её переливчатую, звонкую речь, похожую на ручеек, бегущий по камням, но внутреннее беспокойство не отпускало. Она повторила:

– Как ты? Что-то случилось?

Превозмогая себя, начал объяснять, повторяясь и путаясь в мыслях. Камилла ничего не знала, поэтому пришлось рассказывать с самого начала.

Услышав его откровения, Камилла перебила:

– Не продолжай. Я скоро приеду.

Она появилась раньше, чем он её ждал. Гнала, наверное, по-сумасшедшему. На ней была кожаная куртка светло-кофейного колера. Купленную в Аргентине куртку, пошитую из тончайшей, чуть толще папиросной бумаги, кожи, подарил ей Гэри. Она сбросила куртку, представ в белой водолазке, плотно облегающей высокую грудь. Водолазка оттеняла чуть вьющиеся каштановые локоны, постриженные «лисьим хвостом». Причёска очень шла симпатичной латиноамериканке с *окатистой* фигурой, похожей на песочные часы. Ей нельзя было дать больше сорока, хотя она приближалась к пятидесяти и не скрывала свой возраст. Выглядела Камилла, как всегда, желанной и сексапильной, но в эту минуту Гэри было не до этого.

Сев рядом на диване, Камилла погладила его руку:

– Спокойно, мой милый. Ничего страшного пока нет. Я же хирургическая медсестра, много чего повидала. Какой у тебя PSA?.. Хм..., высокий. Скорее всего, увеличена аденома. В крайнем случае, вырежут и снова будешь как молодой. На потенции не отразится, не волнуйся, – и она нежно, слегка к ним прикоснувшись, поцеловала его в губы.

Познакомились они случайно. Ни в баре, ни на работе, ни через друзей. Он ехал по фривью, темнело, лучи солнца гасли. Увидел на обочине машину с открытым багажником и девушку возле неё. Он затормозил. Девушка пыталась поменять проколотое заднее колесо. Он помог ей и взамен получил номер телефона. Он не просил, вышло само собой, скорее по её желанию.

Гэри в тот момент ещё не понял, что ему предстоит заболеть этой шатенкой. В отношениях с женщинами он пережил три волны. Первой была молодость и просто поиск партнёра для секса. Потом жена, родившая двоих детей. Третья – поиск непонятно чего с одной и той же концовкой – любовью-однодневкой и нежеланием встретиться ещё раз. Четвёртая, прихлынувшая и накрывшая с головой при появлении Камиллы, обернулась счастьем быстро и обоюдно.

Они не вели разговоров о женитьбе. Они просто были вместе. Гэри думал о ней, когда ему было хорошо и когда плохо. Они много путешествовали. Камилла не позволяла тратить на неё деньги. Содержанкой она ни в коем случае не являлась.

Одного её поцелуя было достаточно, чтоб забыть все муки сомнений и хоронящуюся мнительность. Вот и сейчас он обнял Камиллу. Ощутил аромат её волос. Внутри него запылал пожар. Камилла глубоко и часто задышала. Она прошептала:

– Сейчас мы проверим, болен ли наш любимый мальчик.

Он рассмеялся смехом победителя и успокоился. Какая болезнь может одолеть его! Горячая лава, словно из жерла вулкана, выбросила камни, расчистив себе проход...

...После неистового секса Камилла пошла в душ, он задремал, повторяя, как мантру, пришедшую откуда-то извне, то ли где-то услышанную, то ли вычитанную, фразу: «Когда течёшь в лаве, не замечаешь жара». Он – замечал.

Камилла вернулась, легла рядом, почему-то заговорила шёпотом, будто боялась произнести вслух:

– Гэри, надо немедленно обратиться к доктору. В сперме кровь. Что-то происходит. Милый, не паникуй. Но надо обследоваться.

Он закрыл глаза. Внутри наливалась тяжесть. Потаённые мысли вернулись. Он глубоко вздохнул. Задул леденящий ветер. Пошёл снег. Большими холодными хлопьями. Началась зима. Лед атаковал. Жгучая лава осталась в прошлом.

Почему в сперме кровь? В моче, видимо, тоже. Не желаю об этом думать, но отец умер от рака простаты. Я отвёз его в госпиталь за две недели до этого. По дороге я просил у него прощения за неприятности, которые причинил ему. Он молча смотрел на меня и

пытался улыбаться. Его мучили дикие боли, не снимавшиеся наркотиками. Неужели и меня ждёт подобное...

Я регулярно делаю анализы крови. Мой PSA растёт. Каждый раз терапевт гонит к урологу, а я откладываю на потом. Вот и доигрался. Эскулапы скажут: где вы были, мистер Доброу, всё это время?» Интересно, какая реакция будет у Кевина, когда узнает, что дела партнёра плохи? Полагаю, переживёт. У него толстая шкура бизнесмена, никаких сантиментов. Ну и чёрт с ним...

Утром его разбудил звонок Камиллы, спозаранку умчавшейся в госпиталь.

– Как ты, Гэри?

Он сжал нервы в комок, ответил с долей бравады:

– Хэлло, крошка! У меня всё хорошо. Даже прекрасно. Только тебя нет рядом. Секс был потрясающий, не правда ли?

Камилла не поддержала тему и деловым тоном:

– Я навела справки у наших докторов. Хвалят урологию в Корнелле. Я записала тебя на приём к известному доктору-китайцу. Десятого ноября в одиннадцать тридцать утра. Не забудь. И я напомним. А пока, чтобы не ждать и не томиться неизвестностью, посети доктора Шварца. Принимает на Брайтоне. Да-да, не крути носом – в русском районе тоже не одни идиоты практикуют, есть и классные спецы. Мои ребята утверждают, что Шварц именно такой. Он в пятнадцати минутах ходьбы от тебя. А если захочешь иметь мнение более именитого врача, то Корнелл тебя не минет. Пожалуйста, не нервничай. После вчерашнего выступления нашего *мальчика* я уверена – ничего серьёзного нет. Всё, привет, побежала в операционную. Целую...

4

Офис уролога располагался в старом двухэтажном доме. Гэри внимательно осмотрел место перед тем как войти. Дверь была старая. Отслоившаяся коричневая краска открывала высохшее дерево. Кусок стекла, вставленный в гнилое тело двери, был грязен. Только ручка выглядела современной – по всей видимости, заменили недавно. Фронтальная стена из кирпича, похоже, разменяла сотню лет, если на Брайтоне в ту далёкую пору вообще существовали какие-ли-

бо строения. Боковым стенам повезло меньше – они были сделаны из материала, который не выдержал напора времени. Настроение Гэри, и без того хреновое, совсем упало.

Он толкнул дверь, и скрип, произведённый состарившейся дверью, ознаменовал его появление в приёмной уролога. Там ожидали приёма человек пятнадцать. Все были пожилого возраста. Это смутило его: «У меня *это* началось раньше, чем у них».

Сидящая за невысоким стеклом приёмной женщина с *русским* лицом попросила его заполнить документы. Смотрела она на мир через модную крупную чёрную оправу квадратной формы с закруглёнными углами. Губы её периодически двигались, словно она разговаривала сама с собой.

Гэри долго заполнял бумаги, отвечая на казавшиеся лишними и неуместными вопросы. «Зачем я пришёл сюда и трачу время на ерунду.... Встать и уйти к чёртовой матери...» Он заставил себя успокоиться, смежил веки и задремал. Прошло несколько минут. Он и впрямь засыпал. Очнулся, услышав своё имя. Открыл глаза и увидел молодую женщину в обтягивающих тощую фигуру джинсах. Она улыбалась казённо, ни к чему не обязывающе.

– Гэри Доброу? Пойдёмте со мной.

Они вошли в маленький кабинет. Медсестра измерила ему давление, взяла из вены кровь. Спросила, на что пациент жалуется, и ввела сказанное им в компьютер. Один из вопросов касался отца: жив или скончался и были ли у него урологические проблемы?

Медсестра занесла ответ в компьютер.

Потом дала маленький стаканчик:

– Пожалуйста, заполните мочой до половины.

Гэри встретился с её спокойными безразличными глазами. Он вспомнил, что ничего не пил и не ел с утра. Камилла сказала – надо прийти натощак. »Чем я наполню стаканчик?« Он пошёл в туалет и почти ничего не вымучил. Сказал об этом медсестре, та попросила попить воды, много воды, что он и сделал.

Через полчаса ему провели ультразвуковую диагностику. Вскоре его потянуло в туалет, и он заполнил стаканчик до половины, как распорядилась медсестра.

После процедуры Гэри дали отдохнуть, а затем пригласили в другой кабинет.

Шварц появился, точнее, влетел туда стремительной походкой. Поразили умные, пронизательные карие глаза. На крупной голове было не больше волос, чем травы перед вытоптанными футбольными воротами. Гэри напрягся в ожидании. Ему вдруг показалось, что доктор скажет: «Ничего страшного у вас нет. Приходите через несколько лет на проверку». Взамен Шварц уложил его на смотровую кушетку, попросил спустить брюки и начал священнодействовать.

Он надел резиновый напальчник, смазал чем-то, по команде Гэри повернулся на бок, подогнул ноги, и доктор ввёл средний палец в задний проход. Подержал секунду-другую и выдернул. У Гэри родились нехорошие ассоциации, которые тотчас отогнал. От русского приятеля, посетившего уролога, он услышал, как в просторечье, в заимствовании от блатняков, называется эта нехитрая процедура. «Сулико», да, «сулико». Приятель пояснил: грузинская грустная песня. Надо же так назвать...

– Сейчас мы проведем важную процедуру и попробуем определить, почему моча выделяется с трудом, и одновременно узнаем, что с аденомой простаты. Она увеличена, это факт, но что скрывается внутри, мы не ведаем. Хочу предупредить: будет больно. Придется потерпеть...

Помощница-медсестра в джинсах, с которой он уже общался, на сей раз облачённая в белый халат, начала выполнять команды доктора. На бэйджике поверх халата значилось имя Марина. Гэри засмутился, представ перед ней в таком виде, она же не обращала никакого внимания, оставаясь спокойно-безразличной.

Марина, стоя с правой стороны, помазала головку пениса чем-то пахнущим спиртом. «Необходимая антисептика», – пояснил доктор. Мужское достоинство Гэри свернулось улиткой, то ли от того, что в кабинете было прохладно, то ли от страха. Во всяком случае, под пальцами медсестры пенис не дёрнулся, не проявил ни малейших признаков жизни.

Шварц ввел внутрь пениса конец катетера, смазанный гелем. Отточенными движениями он осторожно продвигал трубку, словно натягивая на нее половой орган.

– Конец катетера полностью должен проникнуть в уретру, – пояснил. – Больно?

– Терпимо, – выдавил из себя Гэри, скрипнув зубами. Было и в самом деле больно, но он приготовился к худшему. Оно покамест не наступило.

Доктор наклонил пенис к животу, приподнял конец катетера и ввёл до самого основания. Катетер в итоге занял вертикальное положение. Шварц мягко надавливал на конец трубки. Гэри непроизвольно застонал – боль была адская.

– Голубчик, потерпите, это необходимо, – в голосе Шварца звучало сочувствие, показавшееся искренним.

Трубка начала обратное движение, выползая под пальцами доктора на свет божий.

– Так, добыли немного мочи, – резюмировал он, выдернув катетер. – Некоторые предположения можно уже сделать...

Через полчаса слегка пришедшего в себя Гэри попросили перейти в кабинет Шварца. Помещение это давно не красили. Стены были в трещинках. На стене слева от стола висели разные университетские дипломы и фотографии. Дипломы свидетельствовали о высоком образовании хозяина кабинета, а снимки по идее показывали круг его общения. На одном он был изображен вместе с президентом США Бушем-младшим. Гэри ухмыльнулся: подобные снимки с президентами, сенаторами, мэрами можно увидеть во многих кабинетах врачей и адвокатов, служат хорошей рекламой и не более.

Посредине комнаты располагался камин, что недвусмысленно говорило – когда-то тут находилась жилая квартира. На столе доктора стояло множество ненужных безделушек, и это необъяснимо начало раздражать Гэри.

Доктор вошёл, вернее, вбежал в свою обитель, подбадривающе улыбнулся. Гэри почувствовал себя подсудимым перед объявлением приговора.

– Естественно, Гэри, я не смогу вывести сегодня окончательный диагноз. Но многое я вам могу сообщить, используя показатель PSA, данные УЗИ и испытание катетером. Вы желаете это услышать?

– Желая, – он не узнал собственный голос.

– О'кей. Ваша простата увеличена. Я думаю, она начала расти давно. Но, возможно, это аденома, коль возникла проблема с опорожнением мочевого пузыря. Аденома давит на пузырь со всеми

вытекающими... Кровь в моче – тоже плохо. Главное – понять, доброкачественная опухоль или... Аденома или рак.

Существует мнение, что аденома может переродиться в рак простаты. Это не совсем так. Аденома и рак простаты затрагивают, как правило, разные отделы предстательной железы. Однако коварство ситуации в том, что рак простаты может развиваться и бессимптомно, и на фоне развития аденомы, то есть с теми же симптомами. Рак и аденома простаты могут сосуществовать одновременно.

Шварц пару раз быстро повел ладонью по голому затылку, словно приглаживая отсутствующие волосы.

– Не буду строить предположений... Может быть и так, и эдак. Нужен ещё один важный тест. Надо сделать биопсию. Только не расстраивайтесь заранее – ещё ничего не известно. Договорились?..

...Стремглав бежали дни. Гэри напоминал капитана субмарины, осматривающего поверхность океана в перископ. Он не дал себе команды всплыть на поверхность, напротив, задраил все люки и лег на дно. Он забросил дела, не появлялся на стройплощадках, не поднимал телефон, не общался с Кевином, не открывал дверь, не брал почту. Единственно, встретился с Камиллой, но не занимался сексом. Она, понимая его состояние, не просила.

Мочился он с кровью, боль не покидала, таблетки, выписанные Шварцем, плохо помогали. Тревога усиливалась.

Он выходил на бордвок, тянувшийся вдоль залива, спускался к урезу воды, вминая подошвы кроссовок в затвердевший песок, потом поднимался на старый деревянный и обновленный пластиковый настил и двигался в направлении Сигейта. Крикливые и голодные чайки, которых мало подкармливали в начале ноября, ибо купающиеся и загорающие отсутствовали, а прибрежные рестораны пустовали, отрешённо бродили по берегу и в надежде чем-то поживиться залетали на бордвок. Чайки бродят по песку – моряку сулят тоску, чайки лезут в воду – моряку сулят погоду, вспомнилась поговорка. Ныне кругом была разлита тоска: и в серой унылой погоде, и в нём самом, Гэри Доброу, остающимся наедине с нехорошими мыслями.

Днём он пытался заснуть, удавалось плохо, в смятенном состо-

янии садился за компьютер и в который уже раз набирал на Гугле постылые слова: «рак простаты». Он словно находился в ломке, ища спасительную дозу наркотика. А дальше – читанное многократно и не вселяющее надежд. Биопсия. Нужна биопсия. Тогда всё прояснится. Это-то и страшит: если признают онкологию, то что делать, как жить, вернее, доживать? Но и неведение мучительно. Лучше уж узнать правду, согласиться на операцию, потерять самое дорогое, что есть у мужчины в жизни, забыть про секс с Камиллой и... Что последует за этим многозначным и.., Гэри не представлял.

5

Блуждание в Сети случайно привело его к находке в виде книги. Упоминание о ней заставило продолжить поиск. Интернет приводил аннотацию: *«В книге представлен большой исторический и современный научный материал, который приоткрывает завесу тайны самого загадочного процесса, ожидающего каждого из нас, – смерти. Такая неизбежность после прочтения этой книги не застанет нас врасплох, в состоянии растерянности и беспомощности...»* Это то, что мне нужно сейчас, решил Гэри и начал поиск книги.

Ни в одной из близлежащих библиотек она не обнаружилась. Не нашлась и в магазине «Санкт-Петербург» на Брайтоне. Прежде здесь можно было найти любую литературу на русском, теперь же магазин превратился в посудную лавку – русские книги мало кого интересовали. Гэри повёл поиск в ином направлении: автор – медик, доктор наук, хирург, работал в Москве в кардиоцентре, сейчас живёт в Нью-Йорке – так говорится в описании. Надо поспрашивать старых докторов-иммигрантов – у них вроде есть какая-то ассоциация, друг друга знают.

Поиск увенчался успехом – буквально на третий день Гэри держал в руках книгу, которую дал почитать один из друзей автора. Он же и огорчил: написавший о смерти скончался несколько лет назад – притом от рака. Выходит, предвидел свою кончину именно по этой причине...

Гэри впился в русский текст как коршун в желанную добычу. Читал медленно – всё-таки это был не родной язык. Записывал в тетрадь важные, по его разумению, абзацы, фразы, примерял на себя и

получал подтверждение – да, он тоже думал над этим, только не мог чётко сформулировать. Теперь же всё становилось яснее.

Что сверлило мозг в самом начале, когда почувствовал недомогание, и потом, по мере ухудшения состояния, рождало нехорошие предчувствия? «Нет, только не я, не может быть!» Это как буфер, смягчающий неожиданное потрясение. Думать о смерти проще, когда она за много миль, а не тогда, когда прямо за дверью. Но вот делают мне тест, возьмут биопсию и, допустим, подтвердится самое худшее. Что я почувствую, что уже чувствую, помимо воли предвосхищая ужасное событие? Ярость, раздражение, негодование. Почему именно я? Чем провинился перед Богом? Кто это сказал, не помню, кажется, кто-то из великих, не то учёный, не то писатель: «Бог изощрён, но не злонамерен». Почему же назначил именно меня для испытания сил и мужества?.. Гэри не находил ответа. И что делать с этой злостью, на кого выплеснуть? На всех, на родственников в первую очередь, на людей здоровых, делающих вид, что им жалко больного, что они разделяют его страдания, а сами думают про себя, боясь открыться, стыдясь и прячась в дебрях таких мыслей: слава Богу, я в порядке, в отличие от того, кого мучают процедурами, чаще всего бесполезными.

Избавить всех близких и себя самого от мук конца, укоротить жизнь – любым способом, как, например, укоротил человек, живший неподалеку на Брайтоне, в шикарной квартире, богатый, благополучный – узнав, что у него рак последней стадии, воспользовался отсутствием жены, лёг в ванну и застрелился. Рассказывали, кровящи на кафеле стен было ужас сколько... Несчастливая жена, представляю, сколько пережила, увидев мужа распластанным в ванне...

Нет, это не выход. У меня вообще еще нет окончательного диагноза. А вдруг обойдется?! Британцы недаром говорят: надейся на лучшее и готовься к худшему. Но коль случится это самое худшее, тогда останется попытка отсрочить неизбежное – обратиться к Богу. Только на него и надежда. Неважно, больной верующий или атеист, всё одно мыслями обращается к Тому, кто изощрён, но не злонамерен. Оправдаться перед Ним, совершить богоугодные поступки, очистить душу – может, возымеет действие и свершится чудо. Принято каяться в беседе со священником один на один за часы до ухода, однако можно заранее исповедаться – самому себе –

и обойтись без священнослужителя, который, по правде, не нужен, ибо с Ним лучше беседовать без посредников.

И ещё одна фраза кольнула в сердце: «Хочешь просить Бога о прощении, сначала сам попроси прощения у тех, кого обидел, и прости своих обидчиков...»

Ну, а если и ОН не поможет, тогда крышка, тогда депрессия, а после – смирение. Только чтобы более не было. Но так редко бывает...

Вот какие мысли навеяла книга.

Он поделился с Камиллой прочитанным в книге русского кардиолога – любовница не поддержала разговор, более того, решительно отвергла желание Гэри поглубже узнать о чувствах раковых больных, влезть в их шкуру.

– Перестань постоянно думать об этом. Так можно свихнуться. Никто тебе не вынес приговор, я уверена – ничего страшного нет, а ты прямо изъедаешь себя. И выбрось эту книжку. Она для тебя – зловредна. Не примеряй всё на себя.

И тут же рассказала анекдот. Услышала от доктора, с которым работала во время операций.

– Людям разных национальностей лечащий врач объявил о серьёзной болезни, могущей привести к летальному исходу. Что делают они в этот момент? Американец бежит в банк, распределяет деньги и имущество между родными. Француз напропалую занимается любовью. Русский пьянствует с утра до вечера. А еврей... что делает еврей? Идёт к другому врачу! – завершила анекдот Камилла и первая засмеялась.

– Да, хорошая байка, – через силу тоже улыбнулся Гэри.

– Так вот, послезавтра мы едем в Корнелл, к *другому врачу*, – подытожила Камилла. – Я взяла отгул и буду тебя сопровождать. И не спорь...

Гэри не спорил.

6

Один из лучших госпиталей Нью-Йорка располагался на 68-й улице восточной части Манхэттена. Камилла договорилась о визите к профессору Джеку Мо, специалисту-онкологу. «Он китаец, я им

доверяю, они скрупулёзные, вьедливые», – объяснила свой выбор. Гэри не возражал: китаец так китаец.

Дальше шло по-залаженному. Профессор, худой, моложавый, прекрасно говоривший по-английски, без малейшего акцента (значит, родился в Америке – сделал вывод Гэри), посмотрел на экране компьютера медицинские данные, заранее переданные Шварцем по электронной сети в офис Мо, провёл осмотр. Он задержал палец в анусе Гэри, пошевелил им, надавил до лёгкой боли. Понять что-либо по его непроницаемому лицу было невозможно.

Затем Мо взял биопсию. В прямую кишку через анальное отверстие ввёл обезболивающее средство, сказал, что это гель с лидокаином. Через 5-10 минут после обезболивания туда же направил ультразвуковой датчик с насадкой для иглы, с её помощью взял нитевидные кусочки ткани предстательной железы. Всё шло под контролем УЗИ.

Гэри читал об этой процедуре, ничего нового и неожиданного не произошло. Было болезненно, однако терпимо. «Китаец отправит образцы в лабораторию на гистологический анализ, а дальше – приговор. В ту или иную сторону...»

Закончив процедуру и дав Гэри отдышаться, профессор пригласил в кабинет Камиллу и дал короткие объяснения им двоим. Ничего пугающего или, напротив, обнадеживающего он не сказал, отметив, что «результаты биопсии всё покажут – есть рак или нет, и если есть, то определяют его стадию. Впрочем, в начальной стадии рак простаты имеет много сходств с аденомой, эти симптомы часто сбивают с толку. При аденоме выявляются нормальные клетки, но их больше обычного – речь идет о новообразовании. Нормальные клетки могут переродиться в аденокарциному с атипичными клетками, а это уже онкология. Будем надеяться, в вашем случае этого не произойдёт. Подождём ответа из лаборатории. Вам позвонят и сообщат дату нашей новой встречи».

Лекарства делали свое дело – Гэри чувствовал себя лучше. Ночью он вставал и шёл в туалет не более трёх раз, острые позывы стали редкими, урина выделялась лучше, крови почти не было. Однако настроение не улучшалось.

Несмотря на опасения Камиллы относительно влияния книги

русского кардиолога, Гэри продолжал её читать и перечитывать, впитывать новые и новые мысли. Всерьёз он никогда прежде не думал о смерти, эта неизбежность существовала сама по себе, не затрагивала его внутренний мир. Есть и есть, никуда от неё не деться, но это когда ещё будет... И вот уже не в будущем, а в самом что ни на есть настоящем времени замаячил призрак проклятой старухи с серпом. Воображение играло с Гэри злую шутку – Камилла права, но нет сил уйти от тяжких раздумий.

Он впервые прочёл и как-то само собой заучил наизусть несколько строк. Написаны ровно девяносто лет назад в России.

*Каждый год цветет
И отцветает миндаль...
Миллиарды людей
На планете успели истлеть...
Что о мёртвых жалеть нам!
Мне мёртвых нисколько не жаль!
Пожалейте меня! –
Мне ещё предстоит умереть!*

Философы, вот кто пытался разгадать загадку, которой на самом деле нет! И ведь верно: «Не удивление, а недоумение и печаль суть начала философии». Да, именно так... Едва ли люди стали бы философствовать, если бы не было смерти. Смерть – высший арбитр поисков смысла и цели жизни. Несчастье ли смерть? У философов ответ прост: что неизбежно для всех, то не может быть несчастьем для одного. Как жаль, что я не философ и не разбираюсь в высоких материях, думал Гэри, а лишь ищущий защиты от своего страха, утробного и необоримого – пока, во всяком случае... Умница автор книги, ставшей настольной для меня... Откопал удивительные стихи:

*Так Истину узнав, беседа со Смертью
И греза без конца все ночи напролёт,
Таинственную смерть сестрою милосердья
Всем существом своим впервые назовёт.*

Ночной сон становился для Гэри мучением. Он пытался отогнать поток опасных мыслей и нырять в сон, как в бассейн, подобно прыгуну с вышки. Но мысли гнали негативную волну, в их турбулентности он захлебывался. И опять, уже в который раз, ввинчивалось буравчиком: «Нет, нет, нет. Не может быть, это происходит не со мной. Не может быть, что я болен. Почему со мной? Почему я? Чем я провинился перед Богом и людьми И?!»

И подспудно вызревало решение, казавшееся единственно верным. Неведомая сила гравитации толкала его, преуспевающего девелопера, построившего десятки многоквартирных домов и заселившего в них тысячи благодарных ему людей, свершить деяния, прощающие прегрешения, нехорошие, гадкие поступки, равнодушные, злобу, мстительность, сопровождающие, наверное, любого человека в такой короткой жизни. Гэри не знал, как это назвать: запоздалое покаяние, попытка умиловить высшую силу, руководящую земным хаосом, замирение с совестью, жажда очищения? Для него, в сущности, не имело значения.

Привыкший иметь дело с деньгами, большими деньгами, он гнал от себя внутренний голос, моментально всё понявший: «Хочешь откупиться? Ну-ну...» Голос, который принято считать безобманчивым, на сей раз лгал, словно звучал кто-то чужой, подлый и гадкий, зорко наблюдающий за Гэри, не желающий ему добра. К принятому решению стремилась душа Гэри, и это было самое главное.

На следующий день он поехал к знакомому нотариусу и составил завещание, упомянув жену и сыновей. В банке открыл три отдельных счёта и перевёл на них значительные суммы.

Перекусив в пельменной (он обожал пельмени, в рационе разведённого мужчины они занимали ведущее место), он долго гулял возле океана, солнце не грело, ветер холодил щёки, он не замечал холода, присаживался на скамейки бордвока, доставал блокнот с деловыми записями и наполнял страницы именами, вспоминая тех, кого, как ему теперь казалось, обидел. Набралось, против ожидания, совсем немного имён. Не такой уж я скверный человек, подумал с горькой ухмылкой. У других список мог быть куда больше. Впрочем, он не желал думать о других – он думал только о себе.

С женой он расстался давно, когда дети были ещё маленькими. Вернее, она рассталась с ним. Ядвига была моложе на одиннадцать лет. Намешаны в ней разные крови: польская (отсюда имя), немецкая, даже есть капля французской – нет только еврейской и русской – во всяком случае, так она говорила. Гэри звал её ласково – Ядзя, до развода они жили вполне благополучно, и вдруг жена выкинула фортель, уйдя к мексиканцу и забрав сыновей. Гэри так до конца и не понял, чем был обусловлен её дикий поступок. Острый секс с самцом, который моложе на несколько лет? Или внутренние, не высказываемые обиды на мужа, занятого по горло, во главу угла поставившего заработок, карабкавшегося по стене, падавшего и снова упрямо лезущего наверх? А может, просто разлюбила...

Ядвига выучилась на доктора, имела частную практику. Пожив пять лет с мексиканцем в Калифорнии, рассталась с ним и сошлась со швейцарцем, говорят, приличным малым и никудышным бизнесменом, прогоравшим трижды. Последнее время он сидит дома, не работает, Ядвига тянет семью. Живут в Майами, у них собственный невыплаченный дом.

А дети... Большая боль Гэри. Мальчишки-погодки росли без него, виделись с отцом нечасто, на каникулы приезжали в Нью-Йорк – вот и всё общение. По телефону многое не скажешь и не узнаешь... Оба закончили колледжи, уже работают: один – адвокат, второй – финансист, вполне себя обеспечивают и оба не женаты. Помимо алиментов, Гэри помогал бывшей жене и сыновьям, подкидывая энные суммы, правда, нерегулярно, по мере поступления больших денег. Когда встал вопрос оплаты учёбы, сыновья ничего не попросили у отца, а заявили, что возьмут студенческие займы. Он не возражал – большинство молодых людей так и делает, не обременяя родителей.

Включив жену и сыновей в завещание, Гэри почувствовал облегчение. Разорванная не по его вине нить как бы заново сплелась или так только кажется? Поведать бывшей семье о нависшей беде, ощутить сочувствие, тепло, стремление хоть чем-то помочь – нет, это не про него, не дано ему такого счастья. Единственно, сообщить об открытых банковских счетах и не объяснять, почему это сделал теперь.

Следующим шагом стала покупка жилья для Камиллы. Одна из квартир с одной спальней в новом 16-этажном доме, построенном Гэри, ещё не была продана. Он оформил её на себя и подарил Камилле, составив соответствующий документ. Ей о подарке покуда не сказал.

Через день он поехал к бывшему партнёру по бизнесу Тимоти. Однажды тот с гордостью сообщил Гэри, что его имя по-гречески означает «почитающий Бога». Ни в Бога, ни в чёрта он не верил, что выяснилось в ходе совместной работы. Они расстались, напоследок партнёр украл несколько сот тысяч из бизнеса, и Гэри судил его последние два года. По пути к бывшему коллеге он захватил адвоката, который защищал в суде его интересы.

Тимоти – краснощёкий брылястый мужчина с «пивным» животом, находился в своём офисе и сделал удивлённые глаза, увидев Гэри, явившегося без предупреждения. Но следующая фраза его ошеломила.

– Я привёз адвоката, чтоб подписать документы о прекращении тяжбы. Я не стану тебя судить.

Тимоти ошалело смотрел на Гэри, ничего не понимая.

– С чего вдруг ты делаешь мне такой подарок? – наконец выдал он. – Или боишься, что не выиграешь, и желаешь сэкономить деньги на адвокате?

– Ты ещё хуже, чем я думал. Но это не имеет значения. Ничего объяснять тебе я не намерен, всё одно не поймешь...

Следующая встреча была для Гэри мучительна. Он буквально заставил себя позвонить Артуру и попросить принять его. После происшедшего они не общались, и он не был уверен, что Артур не пошлёт его подальше. Не послал. Назначил время визита.

Разговор вышел комканый, тяжёлый. Артур, низенький, субтильного сложения, сильно постарел, скукожился, превратился в маленького старичка, а ведь старше Гэри всего-то года на три. Иммигрант-еврей из Одессы, он занимался тем же делом, что и Гэри, – весьма прибыльным, если правильно его вести. Он предпочёл говорить по-русски – английский его оставлял желать много лучшего.

Они находились в нормальных конкурентных отношениях, не

делая друг другу пакости, большие или мелкие. Каждый ловил удачу по-своему. Так происходило, покуда интересы их не схлестнулись: оба хотели вырвать освободившийся участок земли напротив канала. Возведение многоэтажного кондоминиума и продажа квартир сулили хорошую прибыль. Гэри решил убрать соперника любым способом. Прежде не прибегал к подобным методам, но уж больно лакомый кусок буквально просился в рот... Краем уха услышал – у Артура проблемы: жильцы построенного им кондо хотят его наказать за постоянные протечки и другие изъяны. Разведаль обстановку, провёл кое с кем нужные беседы, порекомендовал бесплатного адвоката, берущего гонорар по итогам иска – и машина завертелась. Артура начали судить, об этом с подачи Гэри узнал банк и отказал конкуренту в займе. Гэри подсуетился и займ получил.

И вот теперь он сам напросился на жёсткие слова Артура. Они последовали. При этом маленький старичок выказывал недоумение: «За каким чёртом ты ко мне припёрся? Твои запоздалые извинения можешь засунуть себе в жопу! Так порядочные бизнесмены не поступают. Хотя где их взять, порядочных?!»

Гэри вяло реагировал на резкости, а порой и грубость. Что он мог сказать в ответ? То-то и оно – ничего. Не станешь же исповедоваться. Ещё жалеть меня начнёт...

– Ты, Артур, прав – я некрасиво поступил. Даже подло. Не стану объяснять, почему явился к тебе только сейчас, а не раньше. Поверь – на то есть серьёзная причина... И оправдываться не стану – виноват. Короче, в порядке компенсации даю сто тысяч.

Глаза-плошки Артура выразили изумление.

– Ты чего, с глузду съехал? Даёшь сто тысяч?! Во, бля, поворот! Ну... раз так... Кто же от «бабок» откажется... Одесский анекдот вспомнил. К старой еврейке, торговавшей редиской на Привозе по 10 рублей за пучок, каждый день подходит один и тот же молодой человек, оставляет ей десятку, но редиску не берёт. И вот однажды, когда он в очередной раз отстегнул бабке чирик, та хватает его за руку. Молодой человек говорит:– Я так понял, вам интересно, почему я оставляю вам деньги, но ничего не беру?– Нет, это меня как раз не интересует. Просто с сегодняшнего дня редиска стоит 15 рублей.

Гэри не засмеялся.

– Я понял. Сколько ты хочешь?

– С тобой, видно, не всё в порядке, иначе бы не появился с извинениями и деньги бы не предлагал. Давай сто тысяч и считай, что я тебя простил.

С Кевином вышло сугубо по-деловому, без надрыва и антимо-ний, по-американски. Общались в японском ресторане на Шипсхэд-бее. Кевин заботился о фигуре и обожал восточную кухню, особенно японскую. Гэри помнил об этом и поэтому пригласил именно сюда. Умело схватывая кончиками палочек ролл с копчёным угрём, авокадо и огурцом, макая в соевый соус и отправляя в рот, его партнёр настолько был поглощён этим процессом, что, казалось Гэри, не слишком внимательно его слушал. Глядя на гладкое, без намёка на морщины, тщательно выбритое, отдающее синевой удлинённое лицо Кевина, его вольно зачёсанные назад смоляные волосы, ловя взгляд вполне довольного собой человека, Гэри начинал его ненавидеть. «Я и в самом деле по-настоящему болен, если вид здорового человека, притом доброго знакомого, делового партнёра, вызывает озлобление...»

Он кратко известил Кевина о своей проблеме (назвал именно так – проблема, а не болезнь и уж ни в коем случае не рак), сказал, что не сможет работать напряжённо, как прежде, и предложил подумать насчёт завершения их партнерства. Тот невозмутимо выслушал, вытер усы бумажной салфеткой, отложил в сторону палочки.

– Почему ты спешишь? Может, всё обойдётся и самое страшное не произойдёт...

Похоже, он уловил недосказанное Гэри.

– Если же придётся разойтись, то надо будет обсудить финансовую сторону. Привлечём адвокатов, – Кевин вновь взялся за палочки и приступил к поеданию ролла с лососем, листочком водоросли нори и васабэ.

Гэри не нуждался в сочувствии и тем более в жалости, однако в этот момент принял бы и то, и другое, хотя бы на мгновение, удостоверившись в том, что у партнёра есть душа. Увы, прозвучало иное: «надо будет обсудить финансовую сторону»... Конечно, обсудим, куда мы денемся...

Он только сейчас обратил внимание, какая у сидящего напротив отвратная лошадиная физиономия...

Он продолжал изъедать себя скверными предчувствиями. Книга иммигранта-кардиолога лежала на прикроватной тумбочке. «Мой путеводитель в Эдем, только в райский сад вряд ли попаду...» С обложки смотрел мужик с голым мускулистым торсом, напоминающий неандертальца. Один глаз был прикрыт пальцами, другой источал тревогу. Избавиться от страха перед смертью – всё равно что избавиться от собственного разума. Гэри читал и наполнялся безысходной тоской. Как её побороть, он не ведал.

Когда приходила Камилла, Гэри прятал книгу.

Прошло ещё несколько дней. Из офиса Джека Мо не звонили. Камилла, представившись женой, связалась с приёмной доктора, ей сообщили – результаты биопсии пришли – и наотрез отказались сообщить главное. «Доктор Мо позвонит и назначит встречу..»

7

В полдень Гэри подошел к внушительному зданию синагоги на углу 5-й авеню и Ист 65-й стрит. Синагога имела имя Еману-Ел (Эману-Эль) и выглядела как роскошный восточный дворец. Мавританский стиль с элементами Арт-Деко, машинально отметил про себя Гэри.

Ранее он дважды бывал здесь с матерью, пытавшейся приобщить его к иудаизму. Православный отец воспринимал эти попытки на удивление спокойно, не устраивал разборки: если таково желание второй половины, пускай сама пробует, но решать будет сын и только он. Сын же предпочитал оставаться нейтральным, не отдавать предпочтение ни одной из религий. В доме отмечали два Новых года, две Пасхи, шабат не соблюдался – в общем, никто Гэри не угнетал, не заставлял верить.

Он интересовался у матери, почему она посещает реформистский молельный дом. Во-первых, объясняла Ребекка, еврейский реформизм зародился в Германии, где её корни. Во-вторых, ей по душе свободная трактовка некоторых положений иудаизма, не закостенелый, а современный взгляд при сохранении основных традиций. «Двери наших синагог открыты для людей любых политических взглядов и любой сексуальной ориентации, для тех, кто хочет при-

нять иудаизм, для отдельных личностей и смешанных семей, которые хотят создать еврейский дом. Между прочим, более половины приверженцев реформизма в нашей стране состоят в смешанных браках, как мы с твоим отцом...»

Гэри удовлетворился ответом, который не приблизил к тому, чтобы разделить интересы матери.

...Он вошёл в здание, поискал административную часть и обратился к сидевшей за конторкой строгой седеющей даме в чёрном платье и очках с толстыми линзами.

– Я хотел бы поговорить с кем-то из раввинов.

– По какому поводу? – голос дамы оказался низким, почти контраalto.

– По личному.

Дама поджала бескровные губы, не тронутые помадой, отчего лицо приобрело оттенок отчуждения.

Она набрала три цифры внутреннего телефона.

– Эли, некий господин желает с тобой побеседовать.

Тон обращения Гэри не понравился.

Через пару минут перед ним предстал молодой рыжебородый человек в джинсах, свитере и замшевой куртке на молнии. Кипа на голове отсутствовала. «У этих реформистов особые правила, и в одежде тоже». Поразили глаза Эли – весёлые и бесшабашные – видно, жизнь ему улыбается. Гэри помрачнел – чужая весёлость действовала отрицательно.

Они обменялись рукопожатиями, Гэри представился, Эли пригласил в отдельную комнату без окон сбоку от конторки.

– Вы посещаете нашу синагогу? – спросил он.

– Нет. Был пару раз с матерью. Вообще-то я еврей наполовину: отец – русский, мама – иудейка.

– Евреев наполовину не бывает. Раз ваша мама – еврейка, значит, и вы – еврей. Мама жива-здоровая?

– Она умерла девять лет назад.

– Менухата бе Ган Эден.

Гэри не понял произнесённого, но на всякий случай кивнул.

– Так что вас, уважаемый Гэри, привело к нам?

– Видите ли..., – Гэри сделал паузу и перевёл дыхание: заранее

продуманный монолог давался с трудом. – Видите ли, я болен, серьёзно болен, у меня онкология. Я – атеист, но теперь постоянно думаю о Боге, о несправедности своей жизни, о поступках, которые осуждаю. Я хочу уйти (он слотнул слюну) с покаянием, пытаюсь исправить то, что ещё можно исправить. Прошу прощения у обиженных мною людей, помогаю нуждающимся в помощи. Что касается вашей синагоги, то в память о моей матери, не сумевшей приобщить меня к иудаизму, хочу пожертвовать некоторую сумму...

Глаза собеседника вмиг посерьёзтели.

– О какой сумме идет речь?

– Двести тысяч.

– Замечательная мицва, прекрасный акт благотворительности.

Мы примем ваш дар с благодарностью.

Эли помолчал, потеревил бороду.

– Дорогой Гэри, позвольте кое-что вам рассказать. Постараюсь не утомить... Вам, возможно, знакомо имя – Иов. Драматическое повествование об этом страдальце есть в Ветхом завете. О нём говорится в Талмуде. Если кратко и упрощённо... Сатана обвиняет Иова перед Богом в наигранной богобоязни, утверждая, что если повергнуть Иова в скорбь, то он отвернется от Всевышнего. Бог решает доказать Сатане: раб его Иов останется верным ему, даже ужасно страдая. Бог проводит своеобразный эксперимент – разрешает дьяволу покарать Иова, отнять у него всё. К Иову приходят трое благодушных друзей, которые спорят с ним о причинах его страданий. Иов отвечает каждому из них. В итоге четвёртый собеседник Иова узнаёт истинную причину этого испытания. Книга завершается речью Всевышнего, Иов с друзьями смиряются и каются перед жертвенником, а Бог помогает Иову, возвращая ему всё отнятое ранее.

Гэри внимательно слушал. Историю Иова он знал в самых общих чертах, никогда не читал его Книгу. Покамест не мог понять, к чему клонит Эли, лишь отмечал разительную перемену в сидящем напротив рыжебородом раввине без кипы: взгляд его, оставаясь серьёзным, излучал некую отрешённость, погружённость в себя. Рассказ его несколько не напоминал проповедь или молитву – никакой аффектации или эмоционального нажима, он словно исповедовался, делился своими переживаниями в надежде быть услышанным и понятым.

– О судьбе Иова, оставшегося верным Богу, подвергнутому его

немыслимым бедам и страданиям, писали многие, каждый надеялся мученика особыми чертами, объясняя его поведение. Я коснусь романа Альфреда Дёблина. Слышали о таком писателе? Не слышали. Его, к сожалению, мало кто знает. Удивительная биография, скажу вам.

Сын еврейского торговца, бросившего семью. Учился в престижных университетах. По профессии врач-невропатолог. В Первую мировую был военным врачом. Жил в Берлине, активно занимался журналистикой, писательством. После прихода Гитлера вместе с семьёй перебрался в Швейцарию, затем во Францию. Через Лиссабон уехал в Лос-Анджелес, начал работать для Голливуда. После самоубийства сына, служившего во французской армии и покончившего с собой, чтобы не попасть в руки нацистов, Дёблин и его жена обратились в католицизм. Одним из первых эмигрантов вернулся в освобождённую Европу. Писал в газеты, работал для радио. Был парализован и умер в клинике. Через три месяца после смерти Дёблина жена покончила с собой, оба похоронены рядом с могилой сына во Франции. Такая судьба...

– Вы осуждаете его за католицизм? – поинтересовался Гэри.

– Я не об этом, – отмахнулся от вопроса как от назойливой мухи. – Совсем не об этом. У него есть роман «Берлин, Александрплац». Одна глава – «Беседа с Иовом». И добавление: «Дело за тобой, Иов. Не хочешь – не надо!» Найдите роман, прочтите, совсем не бесполезное занятие, уверяю. Так вот, об Иове. Я главу эту выучил почти наизусть... *Когда Иов лишился всего, чего может лишиться человек, ни больше и ни меньше, он лежал на огороде. Притом у собачьей будки, как раз на таком расстоянии от неё, что сторожевой пёс не может до него дотянуться. Писатель разговаривает со страдальцем: «Слышишь, как пёс щёлкает зубами? Рычит, рвётся на цепи, скачет, брызжет слюной, захлёбывается лаем... Иов, а ведь это – дворец, и сады, и поля – когда-то принадлежали тебе. Твоим был этот пёс и огород, куда тебя теперь бросили... Ты всего лишился. Ночевать тебе позволено в старом сарае. Изъеденные проказой глаза ты, горемыка, живое гноище, открываешь лишь изредка. Что мучит тебя больше всего, Иов? Что потерял ты сыновей и дочерей, что нет у тебя теперь ничего, что мёрзнешь ты по ночам? Что у тебя язвы в горле, в носу? Что, Иов?»*

Раввин перевел дух, вытер платком губы, провёл по глазам, будто утирал невидимые слёзы. Гэри сидел пришибленный, не понимал, зачем рыжебородый рассказывает ему это.

Но какая-то цель есть, иначе зачем раввин тратит своё и его время... Эли продолжал:

– *Иов мучается, страдает, ибо не хочет быть слабым, беззащитным. Он просит исцеления.*

– *А если я сатана, дух зла? – вопрошает невидимый голос.*

– *Исцели меня!*

– *А если я – сатана и ты никогда от меня не избавишься?*

– *Ты не хочешь меня исцелить. Никто не хочет мне помочь – ни Бог, ни сатана, ни ангел, ни человек! – кричит Иов.*

– *А ты сам?*

– *Что я?*

– *Ты же сам не хочешь! Кто может помочь тебе, раз ты сам не хочешь? Бог и сатана, ангелы и люди – все хотят тебе помочь, но ты сам не хочешь... Бог – по милосердию, сатана – чтоб впоследствии тобой завладеть, ангелы и люди – потому что они помощники Бога и сатаны, но ты сам не хочешь.*

– *Нет, нет!* – застонал Иов. Он стонал всю ночь, а невидимый голос не давал ему покоя:

– *Бог и сатана, ангелы и люди хотят тебе помочь, но ты сам не хочешь!*

А Иов твердил своё:

– *Нет, нет!*

Он кричал, старался заглушить невидимый голос, но голос усиливался, становился всё громче, говорил все быстрее, и он не поспевал за ним. Так прошла ночь.

Безмолвно лежал Иов.

С того дня язвы его стали заживать.

Раввин умолк. Гэри осмысливал услышанное.

– Если я правильно понял, вы призываете меня начать борьбу. Борьбу с болезнью.

– Вы правильно поняли. Я не доктор и не знаю деталей вашего диагноза, но... Почему-то мне кажется: вы, уважаемый Гэри, человек мнительный, с развитым воображением. Сами себя накручиваете,

словно ищете беду, а всё, может быть, и не так страшно. И помните: ожидание беды всегда мучительнее, чем сама беда. Медицина продвинулась в лечении мужского недуга, появились новые лекарства и так далее. Боритесь внутри себя, создайте барьер плохим мыслям, молитесь о выздоровлении – Всевышний не оставит вас в беде...

8

Из офиса доктора Мо позвонили и назвали дату встречи – послезавтра в 11.30.

Ожидание превратилось для Гэри в сущую муку. Он не знал, чем себя занять, чтобы время побежало быстрее. Когда-то он смотрел фильм знаменитого шведского режиссёра, в котором фигурировали часы без стрелок. Примерно то же происходило сейчас. Он гулял у океана, спал днём (это был не сон, а забытье), пробовал смотреть программу новостей по телевизору и не выдерживал больше десяти минут.

Камилле он запретил приезжать. Он не хотел никого видеть, даже её.

Он звонил сыновьям и натыкался на автоответчики. Перезвонил старший, Стив, ближе к вечеру, сказал, что безумно занят, лишь спросил, что случилось? Они прежде общались по телефону довольно редко, потому сын и спросил с долей удивления.

– Ничего не случилось. Просто хотел услышать твой голос.

Сказать про завещание и открытый на имя сына банковский счёт? Пожалуй, не стоит, ибо тогда придётся сообщить о болезни, а желания такого нет. Пока нет.

Младший, Николас, отозвался на следующий день. Тоже сослался на занятость, и тоже осведомился, не случилось ли чего? Голос звучал так, будто ему в ту же секунду надо куда-то бежать. Это были чужие дети. И впрямь, росли с двумя разными мамиными мужьями, где же им помнить о родном отце... Горечь как ножом полоснула сердце...

Исподволь он готовил себя у худшему. Вместо совета бороться, прозвучавшего в устах рыжебородого раввина, Гэри овладевала апатия. Будь что будет, он готов ко всему. Но вновь пульсировало в

висках и билось пойманным птенчиком: *почему я, за что, чем провинился перед Ним? Я не хочу быть Иовом, мне это не под силу...*

Гэри приехал в Манхэттен на метро – так ему было проще. С Камиллой, взявшей по этому случаю отгул, он встретился у входа в госпиталь. Она поцеловала, взглянула пристально-изучающе:

– Ты в порядке?

Гэри кивнул.

Доктор Мо усадил их напротив и слегка, одними губами, строил подобие улыбки.

– Итак, готов сообщить, что показала гистология. Она показала неплохой результат, даже лучший, чем я ожидал. Гиперплазия в целом доброкачественная. Однако найдена атипическая аденоматозная гиперплазия, то есть выявлено некоторое количество клеток, имеющих сходство с раковыми. Но наличие этих клеток ещё не означает наличие злокачественной опухоли...

Гэри почувствовал, что кровь отливает от лица и ватную слабость, будто начал действовать наркоз. Камилла обняла его и громко, почти криком:

– Ты понял – у тебя нет рака! Некоторые клетки... – не так страшно, вполне операбельно. Ты будешь жить!!!

Я буду жить... – гулким эхом отозвалось в голове, пронзило всё его существо, словно ударом тока.

Остальное промелькнуло, словно в тумане: и уточняющие вопросы Камиллы, заданные со знанием дела – как-никак операционная медсестра, и ответы Мо, по-прежнему сдержанно-невозмутимого, хотя далеко не всякий раз дарит он пациенту надежду, и дошедшее до Гэри сообщение, что операцию на аденоме простаты доктор проведёт на следующей неделе – надо уточнить день и время в приёмной...

Гэри вышел из госпиталя. Сеялся дождик, паутинно окутывая Манхэттен.

Он дышал глубоко и часто, прокисший ноябрьский воздух казался свежим, сочным, сладким, он поглощал его как кислородный коктейль. То, что было сумрачной частью его жизни, вдруг отклеилось, отшелушилось, потеряло притяжение, исчезло из души.

Он безумно захотел выпить. Они заскочили в ближайший бар и заказали виски. Гэри выпил залпом полстакана. Барменша сделала круглые глаза.

Через полчаса они сели в поезд подземки, следующий в Бруклин. Гэри задремал, склонив голову на плечо Камиллы. Он был опустошён и не испытывал буйной радости. Некоторые клетки оставались намёком, предостережением, о них не хотелось думать. Откуда-то издали незаметно вползла, как червяк в яблоко, липкая мыслишка: а может, прав Кевин – не стоило спешить... Жаль денег – он потратил больше половины того, что имел. Единственный побудительный мотив – предстать перед Ним не отягощенным поступками, за которые стыдно, простить всем всё, завершить земные дела с чувством исполненного долга. Но, похоже, покинуть земную юдоль срок ещё не пришел. Тогда зачем всё то, что он, влекомый неведомой силой, совершил в последний месяц? Очистил душу... Своего рода раскаяние и исповедь. Является ли потребность в этом подлинной сущью человека? Он не имел ответа. Но главное, потечёт ли его нынешняя жизнь по иному руслу...

Вагон со скрежетом качнуло на стыке. Гэри Доброу вздрогнул, очнулся, и мигом прокрутив дремотные мысли, не ощутил внутри себя сожаления по поводу выполненного.

Леон Михлин – москвич. Закончил МГУ, по специальности геофизик. Не успел защитить кандидатскую диссертацию в связи с эмиграцией в США. В Нью-Йорке сменил род занятий: занялся компьютерным бизнесом, затем строительством, стал девелопером. Леон Михлин в юности писал стихи. В последнее время вновь взялся за перо, перейдя на прозу. Рассказ «Дом на канале» («Времена» №2/2017) – его литературный дебют.

Подготовлена к выходу книга его прозы.

Леон Михлин – издатель журнала «Времена».

Джейкоб ЛЕВИН

ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА

Младший политрук Евсей Маркович Зельдин отморозил в финскую войну по четыре пальца на каждой ноге и поэтому ходил, как пингвин. Война с финнами оказалась совсем не такой, какой представлял себе её Зельдин вначале. Он был уверен, что она закончится за одну, максимум – две недели. При такой мощи, какую он видел на последнем параде, это не составит труда.

– Это даже хорошо, что финны к нам сунулись и задумали угрожать нашему Ленинграду. Теперь пусть пеняют на себя. СССР – самая сильная страна в мире, но очень добрая, и ей не к лицу бить всякую мелюзгу. Но раз они сами сунулись к нам, что ж – получают достойный отпор. Финны дураки ещё и потому, что они используют автоматическое оружие и счёт патронам не ведут. Как только они свои боекомплекты разбазарят, так сами руки кверху и подымут. А наши бойцы со своими трёхлинейками вести счёт патронам, ох как, умеют: затвор передёрнул, выстрелил, значит, одного финна нет. Но ещё четыре патрона в запасе. Прицелься хорошенько, только тогда стреляй. А финских снайперов мы для начала в лагеря поместим, чтобы хорошенько подумали и поумнели. Можно указательные пальцы им поотрубать, как в 1918 году. А потом всех отпустим по домам, – так разъяснял предстоящие задачи личному составу бойцов-красноармейцев младший политрук Зельдин на политзанятиях.

На Финляндском вокзале во время отправки бойцов на фронт царило небывалое оживление и возбуждение. Жёны и родные подавали через окна вагонов огромные списки будущих трофеев, которые нужно было привезти из Финляндии. На перроне женщины карандашами, стоя, записывали на спинах друг друга: «Занавески тюлевые, кальсоны мужские, без завязок, с манжетами, чулки фильдеперсовы, можно фильдекосовые, но не такие дешёвые, как шёлковые, в универмаге».

– Между прочим, если сзади на ногах швы и стрелки химическим карандашом подрисовать – для стройности, то и шёлковые сойдут, – говорили друг другу женщины. «Помада красная, ланолиновая, если попадётся – не зевай!!!».

Кто бы знал тогда, чем это кончится? Когда через два года началась следующая война, его жена была ещё жива, но уже при смерти. Рак – болезнь побеждённых. Немцы стремительно наступали. Роза умерла во время бомбёжки. Он сам, ни на что не глядя и не дожидаясь повестки, пошёл в военкомат. Там было не до него. Ему предложили помогать жечь во дворе бумаги, а утром взять дочь и эвакуироваться. Так он оказался в Кемерово.

В Кемерововском военкомате на фронт его тоже не взяли, хотя как члену партии предложили необходимую для фронта руководящую работу. Для этого нужно было срочно переехать из Кемерово в глухую, полузаброшенную деревню Манаска и организовать там артель по заготовке беличьих шкурок. В деревне только что умер старый председатель, и провести перевыборы было некому – война. Название артели было придумано в Облпотребсоюзе – артель «Красная Шория». Базироваться она должна была в полузаброшенной деревне, семьдесят с лишним километров от Кемерово. Когда-то эту деревню делили шорцы и старообрядцы, и даже шли разговоры о том, что если шорцы уйдут, а деревня вырастет и получит статус села, то жители начнут тайное строительство старообрядческой церкви. Но вышло по-другому: шорцы ушли, население уменьшилось, и произошла Революция.

Зельдин поселился в пустой избе, в которой давно уже не было даже крыс. Вместе с ним в эту избу переехала его дочь – семнадцатилетняя Руфь. Оставить её было не на кого, поскольку Зельдин недавно стал вдовцом. Жить вдвоём в комнате в Кемерово, в густо населённой коммунальной квартире, среди эвакуированных, было намного хуже, чем в деревне, даже несмотря на то, что от двенадцати дворов уже в ней осталось только восемь.

Нравы жителей умирающей деревни определял бывший старообрядец, а ныне коммунист Куракин. Он ещё помнил времена, когда дочь не могла обратиться к отцу без малого поясного поклона. Переехав, в первый же год Зельдин проделал большую работу по ремонту печи в избе. Артель состояла из четырёх человек. Из него

самого, его дочери-учётчицы Руфи и двух охотников – отца и сына Хазариных. К ним собирался присоединиться и Куракин, который пока еще работал на Леспромхоз.

Хазарин-старший был участником Гражданской войны и умел обращаться с оружием. Сын его, Артём, мускулистый, высокий сильный парень, закончил пятилетку в каком-то селе около Междуреченска, где они жили с матерью, и переехал в деревню к отцу. Отец стеснялся своей принадлежности к древнему, некогда могущественному Хазарскому роду, с лёгкой руки весёлого поэта Пушкина прозванного «неразумными хазарами», и когда Артём достиг шестнадцати лет, оба – и сын и отец начали писать свою фамилию «Казарины». Председатель артели Зельдин заказал в Кемерово для охотников две винтовки. Казарин-старший попросил берданки, так как считал, что лучше оружия быть не может. Он знал, что на военных складах в Новосибирске были ещё и другие винтовки – манлихеровки, оставшиеся то ли от Сибирского Чешского Легиона, то ли после взятия Порт-Артура, но какой русский человек хочет иметь винтовку с таким названием? То, что эта винтовка конструкции Фердинанда Манлихера была лучшей в мире, производилась на заводах Австрии и Германии и до сих пор находилась на вооружении самых успешных армий мира, его мало интересовало. Берданку номер один он считал истинно русским оружием, достойным настоящих воинов и охотников. Казарин-старший был патриотом и не знал, что берданку тоже сконструировал американец Хайрем Бердан. Подробности об американском происхождении берданки ему были неизвестны, потому что они были непопулярны в России, они были военным секретом и их не проходили в школе, даже до революции. На самом деле берданка номер один была допотопным, давно устаревшим древним металлоломом, тяжелее манлихеровки на добрый килограмм. Высокой точностью она не обладала, шум производила такой, что на расстоянии километра снег падал с веток деревьев, а огромный диаметр пули не то что «бил белку в глаз», согласно хвастливым рассказам охотников, а в лучшем случае – сносил ей всю голову. Единственным достоинством берданки номер один было то, что в её названии не было церковно-славянского слова «хер» – слова, которое вовсе не было ругательным, оно было ничем не хуже слова «азъ», но по прихоти каких-то одичавших монахов стало означать мужской детородный орган.

Но даже использование неправильного «охотничьего инвентария», как называл берданку старообрядец, а ныне коммунист Куракин, не мешало охотникам добывать до двухсот белок за неделю.

Артельщики и жители Манаски были уверены, что заготавливали пушнину для пошива нижней одежды полярников и военных лётчиков, которые будут сражаться с врагами в небе дальнего Севера. Об этом заботился председатель Зельдин. Но на самом деле беличья парка была доступна только трём таким лётчикам, какими в прошлом были Чкалов, Байдуков и Беляков, самым высшим авиакомандирам и, может быть, любимцу Зельдина, полярнику радисту Кренкелю. Он не знал, что радист Теодор Кренкель был немцем.

Учётчица Руфь была молодой, стройной, уже оформившейся красавицей с густыми, чуть рыжеватыми волосами, и переезд Зельдина в глухую, полузаброшенную деревню отчасти можно было объяснить этим обстоятельством. Правда, Руфь сильно косила на один глаз и всегда разговаривала с людьми, стоя к ним вполоборота, но это её совсем не портило, а наоборот – придавало ещё больше женской загадочности и таинственности. Её зелёный, казалось, дьявольский, немигающий глаз, на самом деле был открытым тоннелем, ведущим в её добрую, почти детскую душу.

Но Артём Казарин всего этого не замечал. Он был влюблён в охоту на белок, его стихией был лес, он обожал оружие, и его лучшей подругой была берданка номер один. В 1943 году его призвали в армию, и после короткой службы под Орлом он попал в Белоруссию, где прослужил в полковой разведке до самого разгрома 4-й немецкой армии. Потом, когда остатки этой армии с боями отступили в Восточную Пруссию, Артём Казарин был легко ранен и отдыхал после ранения в своём полку, валяясь на опушке леса, уже где-то недалеко от Кёнигсберга. Командир полка, подполковник Загорулько не только знал Артёма лично, но и был почти влюблён в своего молодого разведчика. Он понимал, что Артём был ужасно глуп, не прочитал ни одной книги, ничего не знал о правилах приличия и сморкался в рукав гимнастёрки, как только слышал команду «вольно». Но что требуется от полкового разведчика? Неслышно и незаметно подкрасться сзади, оглушить и «взять языка»? Этим он вла-

дел прекрасно, поэтому знать ни о чём другом ему не полагалось. Да и вообще, в чём заключается роль солдата на войне? Подобраться незаметно сзади и оглушить. Ведь в любой войне это и тактика, и стратегия.

А теперь от скуки, однообразия и безделья, в ожидании настоящих дел Артём лежал на траве около полевых кухонь и наблюдал украдкой за тем, как старший повар сержант Клочков черпаком раскладывал горячую кашу с говяжьей тушёнкой в котелки и бидоны. Артём знал, что каша в бидонах – только для командиров. Поэтому он очень удивился, когда старший повар Клочков взял небольшой эмалированный бидон и понёс его в лес. Артём стал наблюдать за бидоном и увидел, что старший повар поставил его на низенький пенёк от спиленной осины и тут же вернулся к котелкам. Артём заинтересовался этим обстоятельством и через несколько минут увидел, как из леса вышла молоденькая девочка-немка с двумя сестричками, ещё детьми. Они взяли бидон и ушли в лес. Он повернул пилотку красной звёздочкой назад и по-пластунски пополз за ними. Они уселись на маленькой поляне, и старшая сестра начала большой складной немецкой ложкой по очереди кормить детей из жестянки от немецких консервов. Когда дети наелись, отвалились на траву и стали засыпать, она поела сама, закрыла бидон и поставила его в корзинку, а сама пописала, одёрнула платье, посмотрелась в воронку от авиабомбы, наполненную дождевой водой, и направилась к осиновому пеньку. Повар Клочков был уже там. О чём они говорили, Артём не слышал, но вдруг повар спустил брюки-галифе, а немка уселась на пенёк. Такую мерзость, какую совершила немка, разведчик Артём Казарин видел только в немецких журналах, которые командиры тут же отбирали у личного состава. Всё это ему крепко не нравилось, да он и не очень верил тому, что видел, ведь офицеры объясняли солдатам, что это подделка и при помощи этих журналов Геббельс со своим министерством пропаганды пытается разлагать бойцов Красной Армии.

Потом старший повар поднял спущенные штаны, сказал «Danke» и быстро исчез. Разведчик Артём Казарин не спал всю ночь. Он очень не любил, когда солдаты рассказывали о своих похождениях с женщинами. Он просто уходил от такого общества.

В деревне у них это очень осуждалось. То, что он увидел впервые, потрясло его. О таком способе отношений в деревне Манаска было известно, но говорить об этом открыто могли только трое самых уважаемых мужчин. Женщины и остальные мужчины в таких случаях удалялись.

После того, как на другой день всё повторилось, с той разницей, что немка оказалась без трусов и обслужила повара довольно проворно, смело и профессионально. Программа их отношений была расширена и заняла больше времени. Артём был потрясён синхронными поступательными движениями ягодич участников этого великого таинства. До этого он не знал, что процесс, который он наблюдал, кроме проникновения требовал ещё каких-то движений. Его информация об интимной жизни, почерпнутая из сельского хозяйства, дополнилась очень важной подробностью.

Артём решил доложить обо всём этом командиру дивизионного особого отдела майору Молодых. Особист хорошо понимал бесхитростную душу молодого разведчика, склонную к доносам, и давно просил его не стесняться и докладывать, если заметит что-нибудь подозрительное. Артём знал, что в военное время 3-й отдел может приказать особистам расстрелять Клочкова. Но Артём твёрдо решил подавать заявление в партию, поэтому он взял тетрадь и написал на листке: «Товарищ майор внутренних дел, это письмо от разведчика сержанта Казарина. Повар Клачков продаёт солдатскую кашу с говяжьей тушонкой немчуре, за что она ему, с...т. Сами понимаете, что она делает. (см. схему)».

К этому прилагался рисунок стоящего повара и сидящей перед ним на пеньке девочки. На оборотной стороне тетрадного листа был план местности с названиями: «Пень асиновый», «палевая кухня», «бидон с кашей». Осталось только вырвать листок, сложить его треугольником и подсунуть под двери блиндажа особого отдела. Но в это время пришёл вестовой и сообщил, что Артёма срочно вызывает командир полка подполковник Загорулько.

В штабе генерал-лейтенанта Любарского хотели знать, получили ли немцы солярку и горюче-смазочные материалы для своей артиллерии. Если да – это означает, что противостояние и сопротивление будут продолжаться. Если нет – значит они скоро отступят. Всего один вопрос, но очень важный. Сколько жизней он будет сто-

ить? Чтобы «взять языка» в офицерском чине, нужно было сначала перейти оборонительную линию фронта, траншеи и оказаться на немецкой территории. Потом нужно найти офицерский блиндаж, зайти с тыла, найти выгребную яму, где оправляются офицеры и устроить там засаду... Немец, даже голодный, один раз в сутки всё равно придёт к этой яме. Артём хорошо знал повадки немцев. Они никогда не оправлялись в различных местах, как бойцы Красной Армии, и этим допускали большую ошибку. Их непонятно зачем вырытые в лесу выгребные ямы можно было узнать всегда. Вдоль них лежали две строганные доски, справа стоял фанерный ящик, накрытый куском еловой коры, с туалетной бумагой и мылом, столбик с рукомойником на нём и рядом запасное ведро с водой. Туалетная бумага у немцев существовала для того, чтобы не было утечки информации из документов и писем солдат. Но этого не понимал даже опытный разведчик Артём Казарин. Сухие пучки травы были милее его красноармейскому сердцу. «Взять языка» было половиной дела. Но как проделать весь путь обратно с ним вместе и вернуться живым? Поэтому в штабе полка решили на этот раз не рисковать людьми, а допросить языка на месте, пообещав ему жизнь, потом взять у него документы, а самого уничтожить. Если возникнут какие-либо трудности, то уничтожить сразу, но взять документы обязательно.

На этот раз Артём Казарин пойдёт вместе с переводчиком, лейтенантом Баркановым, который и допросит языка. Приступить к началу операции завтра, в 2:00 утра.

Потом подполковник Загорулько обнял Артёма, как сына, и сказал:

– Знаю, что всё исполнишь и вернёшься живым. В награду поедешь в отпуск на родину на пятнадцать дней.

Большой благодарностью и наградой, чем поездка домой, было только установление на родине героя бюста из гипса, с последующей его заменой после войны на бронзу. Это начали практиковать в конце 1943 года.

Артём с лейтенантом Баркановым были одеты в старые немецкие рубашки времён Первой мировой, рваные пиджаки и стоптанные удобные ботинки на шнурках. В карманах у них были на всякий случай справки «остарбайтеров» из Кёнигберга и старые

складные немецкие ножи, а в руках Артём нёс узелок с верёвками, пистолетами ТТ и запасными патронами. В случае непредвиденной встречи с немцами нужно было всё это выбросить в кусты. Они прошли два километра или больше в сторону цепи оборонительных траншей, а потом ещё с километр, вдоль траншей и пушек, покрытых маскировочными сетями и еловыми ветками, пока в предутреннем тумане они не наткнулась на ручей или речушку. Это был подходящий проход. Они прошли около ста метров вдоль берега прямо по воде и, оказавшись на вражеской территории Восточной Пруссии, углубились в тыл. Артём подобрал в потухшем костре среди обугленных дров тяжёлую, обгоревшую с одной стороны дубовую головешку. В красивом чистом лесу, больше похожем на парк, были разбросаны палатки и блиндажи. Разведчики обошли их стороной. Дальше стояли зелёные ящики с патронами и аккуратно покрытые брезентом орудия. Немцы ещё спали. В двух местах прогуливались вооружённые часовые в касках, с примкнутыми штыками и тихо, без звука, украдкой «играли» на губных гармошках. Тренировались.

Разведчики нашли офицерский командный блиндаж, разыскали уборную метрах в пятидесяти от него, отошли ещё метров на пятьдесят и, найдя удобную, не очень глубокую яму, улеглись отдыхать. Артёму до рассвета ещё предстояла большая работа. Нужно было протоптать и хорошо очистить от сухих веток и сучков тропинку – от них до выгребной ямы. Это нужно было для того, чтобы, когда немец выйдет «до ветру» и усядется на доски, тихо, без шума и треска сухих веток подобраться к нему сзади. Но перед тем как начать работу, нужно определить, в какую сторону офицеры предпочитают обращать свой зад, и только потом начать расчистку тропинки. Времени впереди было много.

Скоро появился первый немец в сером расстёгнутом кителе с ремнём, уже висающим на шее. Он подошёл, спустил брюки и присел на корточки. Разведчики точно определили направление его зада. Они не спешили. До полного рассвета ещё оставалось время. Ведь сидеть в яме всё равно придётся весь следующий день, пока опять не стемнеет, и Артём решил, что после расчистки тропинки они по очереди могут поспать. Большой опасности в этом он не видел. Одетые легко, без тяжёлого оружия, они всегда смогут

убежать сначала в тыл, а потом повернуть в сторону фронтовой полосы. Немцы ни за что не рискнут гнаться за ними в сторону фронта.

Вечером следующего дня, когда стемнело и немцы стали отходить ко сну, Артём, немного сонный, сказал: «Готовься, лейтенант», – и развязал узелок с оружием. Он ещё раз проверил протоптанную тропинку к офицерской уборной. Всё как будто было в полном порядке. Звезды в небе стали ярче, и из блиндажа появился очередной немец.

– До ветру или мимо, – загадал Артём. На плечах у немца были плетёные погоны. – Если немец до ветру, то этот будет наш, – прошептал он. Он дождался, пока немец повесит на гвоздь португеею, и взял в руки дубину. – Ну, с Богом! За Сталина! – и стал бесшумно красться по тропинке. Когда офицер закончил «отвал» и потянулся за бумажкой, он со всего размаха ударил его сзади дубиной по голове. Этого показалось ему мало, и он стал бить немца ещё и ещё. Немец, сверкнув при лунном свете голым задом, вяло протянул руку за португеей с пистолетом, но свалился, потеряв сознание. Испуганный Барканов стоял позади и шёпотом просил Артёма: – Хватит! Ты убьёшь его. Пропадёт вся наша работа.

– Так надо. Не убью, – сказал Артём и продолжал дубасить немца по чём попало. Когда он остановился, чтобы перевести дух, немец вдруг открыл глаза и прошептал:

– Хлопцы, буде пиздить, бо штарбануся я .

– Заходэнец, – сказал Артём.

– Нет, он – белорус, – сказал Барканов. – Ты кем раньше был? Учителем?

– Ich bin Feldscherer, дохтуря, – прошептал полумёртвый немец.

Артём взял португеею немца, они подхватили его подмышки и поволокли в свою яму. Артём вернулся, ногами загреб пожухлые соновые иголки и набросал на тропинку сухие ветки.

– Жить хочешь? – спросил офицера лейтенант Барканов.

– Хочу.

– Тогда говори правду. Масла для орудий хватает? Солярки для тягачей достаточно?

– Занадта масла, нема солярки ни хера. – Он принимал мат за основы русского языка. – Mittwoch, morgen (*В среду утром – нем.,*

прим. ред.) пряма сюды, Dreicistern солярки привезут. Не забивай мяне, дарагой партызанен.

– А зачем Гитлеру служишь, «дохтур»?

– Я руски, in Deutschland радзвивился, я дохтуртам став. Жонка мая беларуская. Не забивай мяне, дарагой партызанен.

– Он правду говорит, кончай его, – сказал лейтенант Барканов. Артём достал из кармана складной нож, раскрыл его и обхватил голову доктора. Доктор хотел что-то сказать, но было поздно. Из его глотки от уха и до уха пузырями шла кровь, а изо рта был слышен только храп. Он слабо засучил сапогами и затих. Артём достал из принесённой портупеи доктора красивый «Вальтер», потом вытащил из внутреннего кармана кителя бумажник с документами, сорвал с окровавленной шеи цепочку с биркой, и они, не теряя времени, ушли. Ночь коротка, нужно было успеть дойти.

Подполковник Загорулько сидел за самодельным столом и встретил их как родных.

– Докладывайте, соколики.

Когда лейтенант Барканов закончил доклад, подполковник сказал:

– Тебя, лейтенант – к награде, а ты, сокол – поедешь на побывку домой на пятнадцать дней. Я слово держу. Кемеровская область, деревня Манаски, – прочитал он.

– Манаска, товарищ подполковник, – поправил Артём.

– Манаска, – согласился подполковник.

– Служу Советскому Союзу! – громко шлёпнули мокрыми ботинками оба разведчика. Барканов спросил:

– Разрешите идти переобуваться?

– Идите.

– Просить можно о вашей милости? – спросил косноязычный Артём.

– Нет, нельзя. Только пятнадцать дней. Дорога в оба конца ещё столько же займёт. У меня воевать некому.

– Нет, я не про то. «Вальтер» можно забрать?

– Нельзя, сокол. Порядок... А знаешь? Бери, чёрт с тобой. Ты ж его добыл. Но ты ничего не просил, а я ничего не давал. Понял?

– Понял, товарищ подполковник. Когда можно ехать?

– Ишь, какой ты быстрый! Погоди до среды, наши лётчики

разбомбят немецкие цистерны с соляровкой, тогда и поедешь. А то он мне «аусвайс» принёс и пусти его в отпуск! Откуда нам знать, кто такой капитан Лотар фон Гюстрофф? – подполковник заглянул в «аусвайс». – И что там со страху он наобещал...

– Доктор, да ещё белорус, врать не будет, товарищ подполковник.

– Какой он доктор? Какой он белорус? Он капитан артиллерии, обыкновенная немчурка, пруссак. Эх, простофили! Просто он умирать не хотел.

– Где же он белорусский язык выучил, товарищ подполковник?

– Где? В 4-й армии Фридриха Хоссбаха. Пока их белорусы били.

В среду утром три цистерны немецкой солярки и бензина были сожжены авиацией при помощи зажигательных бомб. Подполковник Загорулько был представлен к полковничьему званию, а Артём Казарин отправился в Кемерово хоть и с радостью, но с чувством невыполненного долга. Письмо в особый отдел он так и не успел отнести. С железнодорожного вокзала в Кемерово он отправился в Леспромхоз, чтобы узнать, когда пойдёт машина в деревню Манаска. Может повезёт, и это окажется скоро.

В коридоре Леспромхоза Артём встретил земляка из их деревни и узнал, что в артели произошли большие перемены. Артель «Красная Шория» переименована в кооператив. В деревне Манаска прибавилось ещё две семьи. Они заняли и отремонтировали заброшенные дома, и в деревне стало десять дворов. В самой большой избе теперь клуб. Там Евсей Маркович обклеил все стены грамотами от Кемеровского областного потребсоюза. Жители деревни, все до одного, подались в охотники. В кооперативе даже две женщины. За беличью шкурку теперь платят шестьдесят копеек, а за соболью в пять раз больше. Тушка белки, уже без содранной шкурки, шла приманкой в капкан для добычи соболя. Но не брезговали обжаренной беличьей тушкой в сухарях с кедровыми орешками и деревенские жители. А с кислыми огурцами и морковкой – это была пицца Богов... Теперь жители деревни на белку охотятся мелкокалиберкой, ТОЗ-8. Её больше не берегли на складах для народного ополчения. Исход войны был почти решён. Но главная новость состояла в том, что кооператив получил машину ЗИС-5 с газогенераторным двигателем, и водителем этой машины стала Руфь Зельдина.

Земляк Артёма рассказал, что приехал сюда за щенком лайки на попутке, а назад его повезёт Руфь.

– Так и я с вами, – обрадовался Артём.

– Конечно, только ты сядешь с ней в кабину. Нехорошо водителя оставлять, ей ведь поговорить тоже хочется. А со мной крупный щенок будет. Мне надо быть в кузове. Там и генератор дровами подтоплю.

Было лето, и Артём очень не хотел ехать в кабине с Руфью, но ничего не поделаешь. А она, когда Артём залез в тесную кабину ЗИСа, даже не смогла скрыть своей радости. Это можно было понять, ведь вся деревня давно знала правду, хоть это запрещалось писать в письмах: и что Артём – герой, сержант, служит в полковой разведке, и что командир полка – его друг. По дороге Артём рассказывал Руфи, как устроен фаустпатрон – новейшее немецкое противотанковое оружие страшной разрушительной силы, какие знаки отличия носят немецкие офицеры и какие благоустроенные уборные у немцев в Восточной Пруссии, и что говорят, что они устроены прямо в квартирах.

– Но несмотря на то, что у них уборные в доме, мы будем бить проклятую немчуру, – заверил и успокоил он Руфь.

Руфь хотела знать всё, ей всё было интересно. И как устроен детонатор у лимонки, и как Артём ходит в разведку зимой, и как летом. И какие смешные американские фильмы показывает немцам Геббельс, чтобы отвлечь их от наступления Красной Армии. А Руфь честно призналась, что давно думает о нём, как он там воюет, а сейчас очень гордится, что везёт его в Манаску.

Артём не любил таких разговоров и спросил:

– Как малина в этом году?

– Малины много.

– Ох, отъежся!

Руфь рассказала Артёму, что в таёжном посёлке Качаново дети собирали в малиннике ягоды и не заметили медведя. Он стоял там во весь рост в кустах и тоже ел малину. Он зарычал и хотел задрать детей. Позавидовал, что ли? Или ягод им пожалел, но в это время где-то по рельсам прошёл поезд, и медведь убежал в чащу.

– Я бы его не испугался, – сказал Артём и вытащил из мешка «Вальтер». Руфь остановила машину.

- Немецкий? Дашь подержать?
- Держи, только не нажимай на курок.
- Что я, дура?

Она нравилась ему. Он только сейчас разглядел, что её глаз косит.

- Хочешь в малиннике дам пострелять?
- А кто ж не хочет, – отвечала она. – Только вот если медведь придёт, то куда скроемся? Пойдём-ка лучше в кедрач. Там охотничья избушка.

– Так он и туда придёт. Но ты не бойся, с пистолетом медведь нам не страшен.

– Нет, на медведя с пистолетом не ходят, убойной силы в нём не хватает, – резонно заметила осторожная Руфь. – Ты его только разозлишь. А тебе когда в военкомат отмечаться?

- А ты откуда про это знаешь?
- Знаю. Хочешь, я тебя в военкомат отвезу? – сказала Руфь.
- Хочу, только это будет через три дня.

Когда Руфь привезла Артёма, в деревне никто не поверил, что она подобрала его случайно. Люди снисходительно улыбались и говорили:

- Тайная переписка у них была. Теперь поженятся.

Даже сам Зельдин не поверил своей дочери и спросил у собакаря:

- Она Артёма случайно в Кемерово встретила?

Собакарь сказал, что случайно ничего не бывает. Всё решил Будда Шакьямуни.

– Так я и знал, – думал Зельдин. – Если он ехал в кабине вместе с ней, значит, решили пожениться. Если решили, то так тому и быть. Парень почти не пьёт, воюет хорошо, герой, старших уважает, самостоятельный. Даже, когда раньше выпивал – никогда не ругался. Сибиряки евреев не обижают. Народ они хороший, людей судят по делам, а не по рассказам. Кончится война – внуки будут. Не поеду в Беларусь, останусь в Сибири.

К вечеру вся деревня уже любила молодых. У Зельдина спрашивали:

- Когда свадьба, Маркович?
- Это пусть они сами решают, – сдерживая восторг, важно говорил Зельдин.

На следующее утро слухи дошли и до Казарина-старшего. Он запросто пришёл к Зельдину в кооператив и с ходу сказал:

– Ну что, Маркович, скоро война кончается, а внуков у нас всё нет?

– А ты хорошо подумал, Казарин? Мы ж не христиане.

– А кто же вы? Животные? Если не животные, значит христиане. Евреи что, в Бога не верят?

– Они верят, но я – коммунист.

– Ну вот и всё. Не животные, значит – христиане. Вы зайчатину едите?

– Нет, не едим. Хотя, сейчас война, мы всё едим. А так – нет.

– Ну и мы зайчатину не едим. Значит, вы подчиняетесь нашему Богу.

В то утро было пасмурно, и недалеко от деревни Манаска, в кедраче, Артём учил Руфь стрелять из трофейного «Вальтера». Вся деревня считала выстрелы и ждала, когда у «Вальтера» кончатся патроны и влюблённые пойдут в охотничью избушку целоваться. После четырёх выстрелов стало тихо, и жители деревни Манаска понимающе переглянулись.

Но они ошибались. Укрывшись от дождика, Артём и Руфь в это время, лёжа на полу в охотничьей избушке, играли в крестики-нолики. Он чертил кусочком мела на досках и объяснял, как нужно начинать игру, чтобы непременно выиграть. Что бы ни делал Артём, Руфь была счастлива. Ведь она уже два года тайно любила его. Она была ему благодарна решительно за всё. И за то, что учил её играть в «трубочиста», и за то, что он не замечал её косоглазия, за то, что терпеливо объяснял ей, как работает детонатор у лимонки, как взрывается противотанковая мина нажимного действия в 220 килограммов, а главное – она любила его за то, что Артём был ранен, защищая Родину от врага.

В газете «Красная Звезда» Руфь прочитала стихи о том, что если девушка верна и любит по-настоящему, то пусть никому этого не говорит, а молча вышьет фронтовику бисером кисет для махорки. С оказией она заказала купить у китайцев в Таштаголе синего бархата и бисера и вышила Артёму кисет. Она не подумала, что не все фронтовики обязательно курят махорку, и теперь кисет придётся придержать до подходящего случая.

Собакарь – Бодьма Наранович Кожегутов был по матери казак, а по отцу из древней семьи шаманов, его дед побывал у монахов Далай-Ламы и Бодьма Наранович стал буддистом. Но казаком он был больше. Он был большим знатоком в вопросах всех религий.

– Старообрядчество берёт свои истоки из дохристианской Руси, – говорил он, – и научились ему славяне, бывшие язычниками, у хазар, из колена Манассии, которые исповедовали жидовскую религию. Но сначала хазары были тенгрианцами, как все. Это потом они стали жидами, а когда Хазарское ханство распалось, у славян осталась от них Тора, они стали исповедовать её и стали они зваться сТАРОобрядцами. Слово «Таро» взялось от слова «Тора». Ведь раньше такого слова не было. Пользовались словом «издревле, древность». Потом, когда жида начали крестить всех подряд, старообрядцы тоже стали христианами. Но обряды свои не забыли. Поэтому браку между Артёмом и Руфью препятствий нет.

Это во многом не совпадало с мнением Куракина, ему не нравилось, что евреев Бодьма зовёт жидами, но в целом, политически соответствовало ситуации, возникшей в деревне Манаска. И у молодожёнов появился ещё один сторонник.

Всего этого ни Руфь, ни Артём, ни сном, ни духом не знали. Дождаться поцелуя от Артёма Руфь так и не смогла. Этим движениям души он не был обучен. А время шло, и со дня приезда Артёма на побывку уже прошло два дня. Оставалось только тринадцать дней. Руфь, поскольку она была рассудительной и ничего необдуманного старалась не делать, решила сама поцеловать Артёма по дороге в военкомат. Когда они были приблизительно на полдороге от Кемерово, она спросила Артёма:

– Спас бы ты меня, если бы клуб загорелся, а я была в нём?

– Да, – ответил ничего не подозревающий Артём.

– А ты можешь дать слово, что не перестанешь меня уважать, если я сейчас что-то сделаю?

– Я всех уважаю, кроме фашистов, – сказал Артём. Тогда Руфь поцеловала его в щеку. Артём вытер щеку рукой и спросил:

– А сколько всего белок добыл Бодьма Наранович? Он с собакой охотится или без?

– Пятьсот двадцать две белки и девятнадцать соболей, – отве-

тила учётчица Руфь без запинки. Артём на момент задумался, потом спросил:

– Далеко ещё?

Вечером все жители деревни со своими скамейками собрались в большой избе, именуемой клубом. Евсей Маркович Зельдин должен был делать доклад о положении на фронтах. После доклада обычно задавали вопросы. Первый вопрос задал охотник Егор Веригин:

– А когда война кончится и наши лётчики перестанут сбивать немцев над Севером, беличьи шкурки больше не понадобятся?

Но этот вопрос врасплох Зельдина не застал:

– Беличий мех всегда считался ценным продуктом у трудящихся Англии и Северной Америки. Возможно, партия и правительство примут решение возвращать ленд-лиз беличьими шкурками, – ответил он. Такое чёткое и тонкое понимание экономики страны удовлетворило Веригина и других охотников, и он спросил:

– А второй вопрос можно, Маркович?

– Можно, только быстро, у других тоже вопросы будут.

– А свадьба у молодых до конца побывки будет?

– Это вы у молодых спросите, – с хитрой улыбкой отвечал счастливый Зельдин. Руфь насторожилась. Артём в это время вошёл под скамейкой со щенком сибирской лайки и ничего этого не слышал.

– А вдруг это сюрприз, – думала Руфь, и её девичье сердце радостно билось. Она по-прежнему не верила своему счастью.

Был конец короткого сибирского лета. На другой день они пошли купаться на местное озеро без названия. Это был естественный водоём с крутыми берегами. Старики говорили, что когда-то, когда деревня была большой, водоём назывался Чичаговским. Вокруг было море цветов. Накупавшись вдоволь, Артём выбрался на берег, повалился на спину рядом с Руфью и блаженно закрыл глаза. Она сорвала травинку и щекотала его ноздри. Он уклонялся, мотал головой, и её счастью не было предела. Понемногу Артём впал в короткий летний сон. Руфь любовалась его ловким мускулистым телом, покрытым прохладной гусиной кожей от долгого купания. Вдруг из-под его просторных мокрых солдатских трусов с чёрным квадратным штампом воинской части выкатилось наружу нечто, что вначале испугало её. Но когда Руфь внимательно рассмотрела

это, она умилилась. Ей вдруг непреодолимо захотелось всё это поцеловать. Она нагнулась, прикоснулась к этому губами и ощутила неведомое раньше волнение.

Но Артём не спал. Это был только «волчий сон» опытного разведчика, которому он научился в бесчисленных засадах, ожидая появления «языка». От увиденного его ум помутился. Он вскочил, резким движением схватил «Вальтер» и отдельно отчеканил:

– Русской каши с мясной тушёной захотелось, немчурал!

Руфь подняла голову и удивлённо посмотрела на Артёма своим широко раскрытым зелёным глазом. В это время пуля разведчика вошла между её выгнутыми чёрными бровями. Сначала ему показалось, что это сон, но из-под затылка Руфи поползла по низкой траве чёрная кровь. Солнце стало сначала тусклым, потом синим, потом фиолетовым и, наконец, красным и яростным. Он понял, что его жизнь уже никогда не будет прежней. Он оделся и спрятал «Вальтер». Ему было необходимо срочно рапортовать кому-нибудь всё, что произошло. Рапортовать тому, кто поймёт, кем на самом деле оказалась Руфь. По дороге в деревню первым ему попался мужик из новых охотников. Он внимательно выслушал Артёма и сказал сочувственно:

– Кто ж мог подумать? На вид была, как все, фигура хорошая, правда, глаз немного косил. Где же она теперь лежит?

– У озера, – ответил Артём и, оставив мужика стоять на дороге, пошёл дальше.

Отец чинил забор и, когда увидел сына, сразу почуял: случилось что-то нехорошее. Он выслушал и понял всё. Сел на крыльцо, оторвал кусок сухой газеты, насыпал в неё махорки, скрутил «козью ножку» и сказал:

– Ты знаешь, Тёмка, что теперь тебя ждёт трибунал? Там не посмотрят, что она жидовка.

Просто, чтобы куда-то пойти, Артём пошёл к соседу Куракину. Куракин выслушал и сказал, что дело серьёзное, тут не про то, что она развратница, нужно думать, а как из этого дела выпутываться:

– Да побыстрее, пока наши деревенские «архаровцы» не донесли в Кемерово. Просто прикопать её уже не выйдет. Поздно. Ты уже двоим рассказал. Поспешил. Дай подумать. Вот бляха, Зельдина жалко.

К вечеру жители деревни уже всю ненавидели семью развратников. Но всё же, одна глупая и ехидная баба, Степанова, которая день и ночь ругалась со своим мужем, раскрыла один странный случай. Она прилюдно рассказала, что в 1935 году, когда во время посещения ВДНХ их повели в зверинец, то её муж Николай из обезьянника не выходил. Всё смотрел, как обезьяны делали то, что делала бесстыжая дочь Зельдина.

– Так то обезьяны, они же не православные, дурья голова. А тут люди, – сказал Николай.

– И то правда, – согласилась Степанова.

Не знал о произошедшем только Зельдин. В избе кооператива поздно горел свет. Он ждал дочь. Когда Зельдин через окно увидел, что и у Казариных горит свет и Артём уже дома, он встревожился не на шутку. Он постучался к ним и спросил у Казарина старшего:

– Где Руфь?

– Беда случилась, Маркович. Доигрались наши дети... Приставала Руфина к Артёму, приставала, давай, говорит, я тебя ниже пояса поцелую, а он же фронтовик, на страже, так сказать, Родины. Нервы у него не выдержали и... – Казарин-старший рубанул рукой по воздуху.

– Что он сделал? – вскричал Зельдин.

– Ну сколько ж ему терпеть? Он её и так и сяк упрашивал, прекрати, говорит, разврат, а она на своём. Нет, говорит, всё равно буду... Ну, он и пальнул в неё из трофейного «Вальтера». Теперь ему на Дальний Восток, в Магадан, а ей уже ничем не поможешь.

– А где она? – прошептал вдруг обессиленный Зельдин.

– Она возле озера лежит. ЗИС-5 без неё не на ходу, трактор на ремонте, а наша лошадь только жеребёночка родила.

Зельдин бросился к озеру...

Всю ночь он просидел рядом с Руфью. Мысли его беспорядочно скакали: преподавал в Ликбезе, был политруком, командовал людьми, всю жизнь боялся за дочь, хотел уберечь от разврата, но не смог... А утром на тропинке показались четыре щенка и с ходу бросились лизать лицо покойной Руфи. За ними следом показался Бодьма Наранович Кожегутов, который вдруг ни с того, ни с сего стал Зельдину самым близким человеком.

– Лошадь с телегой скоро приедет. Отвезём в клуб и поставим

гроб на стулья. Я его из горбылей наскоро сколотил. Ты не обращай внимания на проволоку, у меня гвоздей не хватило. Ты, Маркович, собери побольше веток можжевельника. Сейчас жара, всё быстро портится...

Вся деревенская общественность бросилась спасать Артёма от правосудия и беды, в которой он оказался не по своей воле. Русской мятежной душе преступник всегда дороже суда и прокурора.

В деревне покойную Руфь и её отца уже открыто презирали все. Возбуждение передалось и собакам. Теперь даже они глухо рычали при виде Зельдина. Только глупые щенки по-прежнему путались под ногами.

Деревня Манаска решила писать защитное письмо трибуналу. Казарин-старший ходил от двора ко двору и собирал подписи. В письме к трибуналу среди прочего было написано: «...Дорогой трибунал, наш земляк Артём Казарин проявил себя мужественным защитником Родины на полях сражений Восточной Пруссии. Но как же низко смогла докатиться комсомолка, учётчица Р. Зельдина, что совершила свой развратный поступок, чем вызвала возмущение отважного Советского разведчика и вынудила его совершить преступление. Однако, мы верим, что наш суд, это самый гуманный суд в мире, поэтому мы, охотники и жители населённого пункта Манаска, просим суд ограничиться самым малым наказанием. Ведь наш, Советский суд всегда хочет не только наказать, но ему главное воспитать Советского человека. Мы понимаем, что совсем без наказания оставить это дело нельзя, поэтому просим суд привлечь Артёма Казарина, разведчика Красной Армии, рождения 1922 года, августа месяца, третьего дня, к одному(1) году лишения свободы. Если можно, то условно. К сему прилагаем подписи в количестве...».

Количество было пропущено. Потом шли подписи. Когда очередь дошла до Бодьмы Нарановича, он вдруг неожиданно заявил, что документ составлен неправильно и он подписывать его не будет. Нужно было написать, что комсомолка, учётчица Р. Зельдина, 1924 года рождения, гражданка еврейского происхождения, и эвакуирована она из города Гомеля... Первым согласился с ним Куракин, а за ним согласились все остальные. Только глупая баба Степанова сказала:

– Где вы видели, чтобы в документах писалась национальность? Это же не паспорт...

– Молчи, дура, – сказал ей Куракин.

Несмотря на то, что был август месяц и земля была не мёрзлой, копать яму для развратницы возмущённые жители деревни Манаска отказались. Пришлось за землекопами послать мальчика в Качаново.

В помещении клуба была жара, бегали щенки, пахло хвоей и можжевельником. Одинокий Зельдин сидел у гроба и ждал землекопов:

– Как такое могло произойти? Ведь она была, как все – и пионерка, и комсомолка. Ходила в дом пионеров на курсы кройки и шитья. Уважала и Розу, и меня. Где же, в какой момент мы её проглядели?

Познакомился Зельдин с Розой, когда они оба преподавали в Ликбезе. Страна погружалась в НЭП. Сутенёры приставали на улицах. Понюшка кокаина стоила гривенник. Кабаки и трактиры тонули в папиросном дыму и глохли от громкой фортепианной музыки. Но Зельдины понимали, что этот сумасшедший период нужно пережить. Супругам Зельдиным была противна эта чуждая им, детям пролетариев, сытая нэпманская жизнь и мораль. Они избегали распущенности, ненавидели сальные шутки и никогда не употребляли арго злочных мест. Они тяжело трудились на пользу молодой Советской власти. Революция, начатая Лениным, продолжалась.

Поздно вечером уставшая после двух смен преподавания Роза возвращалась из Ликбеза и, поев холодного супа, едва в состоянии бороться со сном, спрашивала его:

– Не хочешь ли дровишек в топку подбросить?

Так на их секретном языке называлась интимная близость. Он стыдливо замолкал, тушил керосиновую лампу, и они в темноте обнимались и целовались. Иногда это переходило в нечто большее – то, что они оба называли «кругленькое дело». Роза была весёлой и озорной бессарабской еврейкой. Ей не очень нравилось верноподданничество и чрезмерная готовность её мужа служить большевистской власти. Иногда со злости она называла его «партийным пуделем». Но и она никогда не переходила границ нравственности и чистоты, установленных товарищем Луначарским 14 марта 1921

года на X съезде РКП(б). Поэтому-то они и осуждали заблуждения В.И. Ленина по его чрезмерной критике «Теории стакана воды». Откуда же взялась тяга к разврату у их дочери?

Зельдин вспомнил, что когда Руфи было всего два годика, Роза любила говорить ей:

– Доченька, покорми отца обедом.

Девочка брала из хлебницы небольшой кусочек хлеба, посыпала его солью, перцем, сахарной пудрой и подавала ему. Все смеялись. Ну как, ну как они могли её проглядеть?

Вдруг Зельдин отчётливо понял, что довольно мучить себя, и в низком развратном поступке дочери их вины нет. Это вина её самой и больше ничья. Они с Розой сделали всё, что могли. Но позор, которым теперь будут покрыта деревня Манаска, из-за неё – это навсегда. Коллектив кооператива этого никогда не простит ему и никогда этого не забудет. А трибунал, конечно, осудит героя-разведчика из-за неё, развратницы. Им только дай!

Во время этих тяжёлых размышлений дверь избы отворилась, и на пороге возник Казарин-старший.

– Мы тут собираем подписи против разврата, в защиту Артёма. Письмо, так сказать, в трибунал.

Зельдин опять ощутил сильный прилив ненависти к тому, что сделала его дочь. Чувства боролись в нём. Умом он понимал: тому, что сделала его дочь, оправдания нет. Но перед ним лежала его мёртвая Руфь.

– Так ты подписывать будешь?

Внезапно Зельдин вспомнил статью революционного доктора-психиатра А. Залкинда от 10 марта 1924 года «12 половых заповедей революционного пролетариата». Параграф №11.

– Давай бумагу – подпишу, глухо сказал Зельдин.

– Ну и правильно, – ответил Казарин, подавая Зельдину бумагу и химический карандаш, обильно посплюнявив его.

Джейкоб Левин эмигрировал из Риги в Нью-Йорк около 40 лет назад. Несмотря на то, что по образованию он инженер по обработке металлов, всегда интересовался историей и знает ее на профессиональном уровне. Основная тема его произведений – Холокост и судьбы людей в период и после оккупации Прибалтики.

Левин широко известен и как эксперт по средневековому оружию, и как дизайнер и изготовитель художественного оружия и миниатюрных изделий, механизмов из металла и различных драгоценных материалов. Существует более 30 публикаций на английском, итальянском и французском языках о его художественных работах.

Книги, изданные в США: «Удо и странные предпочтения Боргманов», «Встреча в ньюйоркском сабвее», «Encounter in the New-York Subway» (на английском). Готовится к выходу его книга на французском и русском языке под условным названием «Ньюмен», а также полный сборник его рассказов на русском языке.

У НАС В ГОСТЯХ ЖУРНАЛ «ИНТЕРПОЭЗИЯ»

Наш журнал – это поэзия «поверх границ», в координатах времени и пространства над границами и культурами. Наши времена – потерянность в толпе и одиночество в глобальном межкультурном пространстве, когда поэзия становится основным способом общения между посвященными. Это также попытка навести электронный мост между материками двух мощных языковых и литературных культур: русской и англоязычной. Русский язык, а с ним и поэзия, живет и развивается, подобно современному английскому, на разных территориях: в метрополии, в дальнем и ближнем Зарубежье.

Журнал существует уже 16 лет и в настоящее время, особенно в связи с закрытием журнала поэзии «Арион», стал основным профессиональным журналом поэзии. Особое внимание уделяется поэтам Зарубежья, но широко представлены и поэты метрополии. Нас особенно интересует выявление новых молодых талантов.

«Интерпоэзия» – журнал поэзии «для поэтов», то есть для людей, для которых поэзия это воздух жизни. Посему мы не являемся «клановым» или региональным изданием и не представляем какую-либо группу или «платформу».

Особенностью нашего издания является то, что все члены редколлегии сами являются заметными, зрелыми поэтами. Члены редколлеги живут в разных точках земного шара: Нью-Йорк, Москва, Мюнхен, Лас-Вегас, Бостон, Казвнь... Это отражает космополитный над-границный характер журнала.

Особое заметное место занимает отдел переводов, что также отражает международный характер издания.

Эссеистика, представленная в журнале, отличается не только литературными разборами, но посвящена актуальным смежным областям искусства: инстапоэзия, джазовая поэзия, поэзия и графическое искусство и т.п.

Нас чрезвычайно интересует жанр поэтической прозы, секция «Поэзия прозы», в котором энергией произведения является поэтический язык, а не сюжетная ситуация.

Андрей Грицман,

главный редактор и издатель

www.interpoezia.org

<http://www.newmagazineroom.ru/index.php/magazines/interpoezia>

<http://www.intelros.ru/readroom/interpoeziya/i3-4-2018>

<http://xn--80alhdjhdcxhy5hl.xn--p1ai/zhurnaly/interpoeziya>

Ниже представлены стихи нескольких ведущих авторов журнала.

Андрей ГРИЦМАН

Т. Д.

Межсезонье, – сказала Таня.
Межсезонье, – я повторю.
Предназначенное расставанье.
Возвращение к букварю.

Москва, достать планшет и плакать.
Игру словесную забыть.
Мимо любви в одно касанье,
чтоб в электронное мерцанье
разрыв пространства превратить.

Ну что же, – межсезонье, Таня?
Московский зимний нарратив.
Еще нас ждет Средиземноморье
и гниль Венеции святой.

Какие тут уж разговоры?
Пора понять: куда домой?
Не время игр – не в этой зоне.
Да и вообще – давно пора.

Но, Таня, все же иногда,
когда иду я по бульварам,
и пух летит, июнь, пурга:
кольнет московская игла.

А что подходит к изголовью?:
Бульварный шум, базара гам и ГУМа гул,
патрульный вой, зов Ленинградского вокзала.
И режут глаз оскалы скул
в метро последнего разлива,
когда в вагонах никого.

Да и куда нам ехать дале.
Где мы живем теперь-то, Таня?
На чьей ничейной той земле?
Приречной, там где я. Живу я,
давно построил дом в долине.
Там и живу с тех пор поныне,
не унывая в январе.

В июле здесь, пожалуй, жарко.
Вдали Венеция цветет
заплесневелой аватаркой,
зеленой каменной баранкой,
и мертвым островом зовет.
Из-за закатного залива.
последний катер отвалил
к далекой пристани вечерней.
И снова опустел залив.

А там и небо почернело,
и боль немного отпустила,
и может, ты меня простила.
Но, я не все простил, седея,
себе, а времени в обрез.
Такая вышла Одиссея.
Аэрофлот пророчит даль.

Стихи невидимо посеешь,
они вначале голубеют,
взойдут, потом лежат как пыль.

А пальцем проведешь по полке:
Ну, скажем межсезонье», что ли.
А смысл – как в стогу иголку,
все неразборчиво и – боль».

Уйдешь, и в опустелом доме
Застыли наши тени немо,
графин с последним алкоголем.
По окнам – чьи-то фары мимо.
Потом судьба просыпет соль.

ТРАНЗИТ

Ю. Л.

Мы идем по тропе невозвратной.
Не хватает минуты присесть.
Не найти нам теперь тех парадных,
где теряли мы юную честь.

А теперь не в чести собираться
пожелтевшие книжки листать.
Одиночки подводного царства
на себя загляделись с моста.

На другой стороне силуэты
наших близких, ушедших давно.
Каждый день вспоминаем приметы
и далекое полотно,

где давно затерялся товарный
среди черных горелых лесов.
Да и ты вспоминаешь, наверно:
Дед Мороз нам когда-то принес –

обещанье, что где-то маячит,
нашу летнюю память навзрыд,
хвойную подмосковную дачу,
этот шаткий измайловский быт.

Слава Богу, что знать нам не надо,
где таится последний придел.
Мы далеко. Но все-таки дома
и полбанки еще не предел!

А теперь между двух океанов
мы живем. Это, брат, не кино.
Пролетают ничейные страны –
не успеешь заметить кивок

от какой-нибудь незнакомки,
тоже вышедшей налегке,
потерявшейся в поисках дома.
Лишь плывут города по реке.

Потому не найти переправы.
Да пожалуй, она ни к чему.
Берег левый становится правым,
как бывало когда-то в войну.

Ну а нам и она не досталась.
Поколение разъятых сердец.
Но, покрыты одним покрывалом,
спят в обнимку и сын и отец.

Что осталось? Смотреть друг на друга,
Так, когда и слова ни к чему.
И шумят где-то наши пороги,
и озера глядят на луну.

Помнишь – временный лагерь в чащобе,
Среднерусская полоса.

И далекое низкое небо.
Все прошло, словно в мае гроза.

Но осталась, нам вместе осталась
эта странноприимная связь.
И какая конечная станция
получилась транзитом для нас?

Оказалось – одна нам дорога
по пути огласованных вех.
И какие там к черту итоги,
и какой начинается век?

В ожиданьи последнего слова,
семь десятков – последний галут.
Сердце бьется, чтоб вырваться слева,
чтоб жена ночью пала на грудь.

Мы за нашим столом не скучаем.
Может, кто-то из ближних зайдет.
На холме миражом – Ерушалаим.
Стол накрытый – на будущий год.

Бахыт КЕНЖЕЕВ

Майору заметно за сорок – он право на льготный проезд
проводит в простых разговорах и мертвую курицу ест –
а поезд влачится степями непахаными, целясь в зенит,
и ложечка в чайном стакане – пластмассовая – не звенит.
Курить. На обшарпанной станции покупать помидоры и хлеб.
Сойтись, усомниться, расстаться. И странствовать. Как он нелеп,
когда из мятежных провинций привозит, угрюм и упрям,
ненужные, в общем, гостинцы печальным своим дочерям!
А я ему: «Гни свою линию, военный, пытайся, терпи –
не сам ли я пыльной пылью пророс в прикаспийской степи?
Смотри, как на горной окраине отчизны, где полночь густа,
спят кости убитых и раненых без памятника и креста –

где дом моей музыки аховой, скрипящей на все лады?
Откуда соломкою маковой присыпаны наши следы?
А может быть, выпьем? Не хочется». Молчать, и качать головой –
фонарь путевой обходчицы да встречного поезда вой...

Я стою на ветру, а в руке адресок,
переписанный наскоро, наискосок,
а январь сухорук, и февраль кривоног,
и юродивый март невысок –
я стою у метро, я хочу шаурмы,
я невооруженный на форум
не хочу, потому что устал от зимы.
Что твердите вы, дети, взволнованным хором?
Что вы мне посоветуете наперебой,
от чего отговаривать станете? Я бы
жил да жил, с человеком менялся судьбой,
и дышал этим воздухом слабым –
этим варевом волглым и грешным, пока
пар дымит из подземного устья,
и обратные братья его – облака –
отдыхают в своем захоlustье,
и закрою глаза, и обижусь, и пусть
никого не найду. Никого не дождусь.
И шепну: о моя золотая!
До свидания, дети. Воздушный ли шар,
или все-таки я отшумел, отдышал,
книжки тощие переплетая?

Алексей ЦВЕТКОВ

абеляр элоизе вот что спешу напомнить
из пустого ковша порожнего не наполнить
если взять утомленных пеших в зной у колодца
то что было уже к тому и прибавится столько
только тем кто не станет пить вода достается
но умножится жажда тех в ком все пересохло
в честном диспуте праздную спесь одолеет самый

терпеливый и чистому сердцем весь мир отчизна
без труда обойдет капканы универсалий
кто стоит на торной дороге номинализма
ибо истина отпрыск упорства а не каприза
вот что следует помнить дитя мое элоиза
элоиза в ответ абеляру спасибо отче
я могла бы сама но у вас получилось четче
я вчера у часовни для вас собрала ромашки
потому что другого подарка найти не в силах
жалко мать-аббатиса нашла в рукаве рубашки
раньше было их больше но не таких красивых
и еще я писала по-гречески вам записку
но сестра донесла и велели впредь на латыни
а латынь проста не пристала такому риску
как нас жаль что мы перестали быть молодыми
раньше я гуляла и дальше к ручью и вязу
там теперь собаки с мусорных куч с цепи ли
иногда я плачу но это проходит сразу
ваши мудрые письма меня почти исцелили
если трезво взглянуть пожилые ведь тоже люди
даже если погасли глаза и обвисли груди
даже если рассудок прочь от беды и скуки
почему они что они сделали с нами суки

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ОДА

как нас мало в природе чем свет сосчитал и сбился
в большинстве своем кворум из мрамора или гипса
а какие остались что в бостоне что в москве
кто в приюте для странников духа кто с круга спился
собирайтесь с аэродромов по мере списка
вот проснешься и думаешь где вы сегодня все
состоимся и сверим что мы кому простили
на коре зарубки круги на древесном спиле
только день в году для кого эта ночь темна
а потом как в лувре друг другу в лицо полотна
потому что раз рождены то бесповоротно

нежные словно из звездной пыли тела
это хвойное небо под ним пастушки коровки
всех хвостатых и без бегом достаем из коробки
старичок с топориком ослик и вся семья
с колыбели как мы добыча клинка и приклада
как умел любил и не ведал что бог неправда
мы убили его и живем на земле всегда
даже веру в фантом за такую любовь заочно
мы прощаем ему то есть я совершенно точно
как обязан прощать а другие поди пойми
вот у люльки кружком в канители в крашеной стружке
человечки-венички плюшевые игрушки
да сияет сегодня всем звезда из фольги
в этом сонме зверей рождество твое христе боже
так понятно живым и с судьбой человека схоже
соберемся по списку когда истекает год
заливает время запруды свои и гати
и две тысячи лет нам шлет дитя на осляти
если бога и нет нигде то дитя-то вот
скоро снова к столу простите что потревожу
я ведь сам пишу как привык то есть снявши кожу
лоскуты лица развесив перед собой
те кого уместил в вертеп в еловую нишу
это вы и есть а то что я вас не вижу
не толкуйте опрометью что лирник слепой
праздник прав а не святочный бог когда-то
наши дети в яслях и гусеницы и котята
минус мрамор и гипс но в барыше любовь
у истока вселенной подсмотрев это слово
я с тех пор как двинутый снова о ней и снова
и не стихну пока язык не ободран в кровь

Юлий ГУГОЛЕВ

Для всех – спаситель, а для вас – шпана.
Для всех – отрада, а для вас – стыдоба.
Но есть такая черточка одна.

Найди ее и выдохни: ты дома.
Такой неоспоримый аргумент,
такая, вроде, поросль, нет, проредь,
что если ты еще в своем уме...
...ну ты ж сейчас со мной не станешь спорить...
Такой едва заметный тайный знак
(отчетлив, но не бросок и не ярок),
он есть в лице почти у всех собак,
не только у дворняг или овчарок –
в негромком выражении ушей,
в наплыве мимимики особой,
что я встречал у Тома, и у Джейн,
у Бени с Бобой, да, у Бени с Бобой.
Подпалина, опаловый пушок
над бровью, что взлетает изумленно.
Узри и испытай культурный шок,
конкретный ахуй и разрыв шаблона,
когда сидит вот как бы человек,
вдруг бубочка дрожит на ветке вербной,
и бровь ползет, ползет себе наверх.
Запомни, вот он, вот он, признак верный.
Хоть раз я наблюдал его у всех,
и вместе с ним припомню заодно я
не песьи головы и не шакалий смех,
а что-то, блядь, знакомое, родное.
На Китай-городе припомню я бомжа;
как он сидит посадкою нетвердой,
своей собаки голову держа
под брыли и сопя ей прямо в морду.
Вот так и мы в пространстве небольшом,
заняв его от края и до края;
и если я сравню себя с бомжом,
то быть тебе собакой, дорогая.
И если ты оставишь те края,
я промычу, навеки покидая:
собаконька, собаконька моя! –
как бомж на остановке у Китая.

А если я уеду на вокзал,
ты выбери местечко поукромней.
Задумайся на тем, что я сказал.
И Путина тут глазками не строй мне.

* * *

Манная – на завтрак. Рыбный – на обед.
Что-нибудь творожное – на полдник.
Тех, с кем это жевано, рядом больше нет.
Может, вам о чем оно напомнит.

.....
Луч косою ложится на пол игровой.
Шторы цвета перезревших вишен.
Почему же в игровой раздается вой?
Отчего здесь детский смех не слышен?
Почему же плачет Митя Грамаков?
Отчего рыдает Вова Зинин?
Кто же, кто обидел этих игроков?
Кто в слезах младенческих повинен?
Кто дал Грамакову кулаком поддых
так, что разогнется он едва ли?
Девочек позвали вроде понятых.
Как им доказать, что мы играли?»
Что там Вова Зинин снова завизжал?
Тот своей вины не отрицает,
кто отжал у Зинина синий, на, кинжал
и теперь трофеями бряцает.
Мама дорогая, видишь из окна,
что твой сын не прятался в сугробе,
и теперь Анфиса Владимировна
бьет его при всех по голой попе.
Смейтесь, Вова Зинин и Митя Грамаков!
Смейся с ними, Леша Харитдинов!
Будто вы не знаете, этот мир каков,
детства не прожив до середины.
Будто вы не помните: лето, прошлый год.
Догола всю группу раздевали.

Мы ж песком кидались. Помните? Ну вот.
Нас потом из шланга поливали.
У Анфис' Владимировны приговор суров:
те, в кого бросали, те, кто бросил, –
всем без разговоров мыться без трусов.
И рука тверда у тети Фроси.
Тетя Фрося в гневе: лучше уши мой,
оттираем локти и колени!
Моем, оттираем... Взгляд прикован мой
только к ней, к Налетовой Милене.
Так оно бывает в медленном кино:
капли останоятся в полете,
в паутине радужной повисая, но...
Но боюсь, меня вы не поймете.
Но боюсь, и сам я уяснить не смог,
чем важны ма-га-новенья эти...
Никакой бородки мокрой между ног.
Только мерзко блеющие дети.
Вот же ты какая – первая любовь!
А потом пойдут одни измены!
Знаю, никогда мне не увидеть вновь
пирожок Налетовой Милены!
.....
Вы ж все время думали, что я вам про еду.
Я и жил, во всем вам потакая.
Я ж не про еду. Я ж вам – про беду.
Ай, беда-беда-беда какая!

Владимир ГАНДЕЛЬСМАН

ПАМЯТЬ

Марине Гарбер

Выудить из речки – в водяных вся лилиях –
дно у берега чуть илистое –
что-нибудь блестящее, извилистое,
исчезающее в водорослях, в их извилинах...

Нет еще ума, ты – из бессильных
и беспамятных и позже приневолишь
жизнь свою. Есть естество лишь.

.....

То в полоску золотистую, то в черную,
пчелка, памятью» случайно нареченная
(полдень с полночью – ее бока),
головой ударилась в бега.
Говорит потом: нет ничего там,
затопило берега,
не с чем возвращаться к сотам.
А помять тебя, как глину, память,
из которой обжигают гончары
вазы и по кругу ваз – миры..
Если не тобой, чем пир приправить?
Говорит: мои дары –
скука детства: сон ли упоенный,
вдоль забора подорожник запыленный.
А найдешь крыло пчелы – там жилки.
Многоглазо смотрит с кроны вишня.
Уличного дурачка ужимки
да белье полощет чья-то жинка.
Что из этого ты выжмешь?
Как на цыпочки встает белье развесить?
Пятки, икры сильные. О чем тут грезить?
Отвечаю: разве так, а не иначе?
Каланча, извозчик с клячей.
Ясли для скота. Тепло животное.
Нет, любовь – дыханье не безродное,
нежности ее – телячьи.
Слово – имя. Вот Песчаная, Базарная.
Стрекоза летит сквозь воздух лучезарная.
Зря ты замирал у мастерских
бондаря ли, кузнеца ли, слесаря?
У витринного окна портних?
А цирюльник в зеркале в тунике цезаря?
Голову даю на отсечение – пшик и пших!

Паровоз-кукушка по узкоколейке.
Удочка через плечо, в улове – три уклеики.

В ПЕРЕХОДЕ

Голоден я, дай еды мне,
вредной, дымной,
подгоревшей, сытной,
побирушечной, постыдной.
Вот она, моя привальная.
Скорбно ль, братец, на душе,
слёз не проливай, проваливай...
Да проваливай уже!
А что сердце мое горе съело,
не твое собачье дело.

* * *

Двадцать лет как ее не стало.
Страх сегодня возник ниоткуда:
нет ее и никогда не будет.
Жалость смертельная сжала.
Разве может быть так непрочно,
оглушительно и бесправно,
чтоб исчезло невозвратно то, что
говорило и дышало явно?
То, что су-ще-ство-ва-ло.
Как суставы, ощупывай слог.
Нет ее, и, если любви твоей мало
воскресить, прочь с дороги.
Страх есть только, пока дышишь.
А потом забудешь бояться.
Так исчезнешь, что не услышишь,
как тебя хватятся домочадцы.

Владимир СОЛОВЬЕВ

POZZO SACRO: ИЗМЕНА – ЭТО ТАК ПРОСТО

Женский сказ на фоне мужской ревности

Окончание. Начало в номере 1 (9) 2019

– Что угодно – только не ложь, – идет он на попятную.

– Даже правдивая ложь?

– Это что еще за оксюморон?

Знаю, но молчу.

– Любая ложь – паутина. Сколько лет я уже в ней бьюсь! Нет, не паутина а пучина.

– Я не виновата, что ты сбрендил – креза на почве ревности.

– Мавр не ревнив. Мавр – доверчив, – который раз цитирует Пушкина про Отелло. – Я – жук-рогач. Чувствую себя рогоносцем, сочувствую всем остальным рогоносцам – от Отелло и Каренина до Свана и Блюма. Сочувствую орогаченному Пушкину, но и тьме орогаченных им самим мужей. Рогачи всех стран, соединяйтесь!

– Ты все опрокидываешь на себя – эготическая мужская логика! – взрываюсь я. – А как же женщина? Мое тело – это мое тело, у меня суверенитет на мое тело, что хочу, то с ним и сделаю, тебе нет до этого никакого дела! Помнишь фильм Годара «Vivre sa vie»? Теоретически, понимаешь, теоретически я отстаиваю независимость моего тела от тебя, собственник с неумным сексуальным аппетитом!

– Да, не хочу делить твое тело с другими. Помимо прочего, не-гигиенично.

– Вот-вот! Тебя бесит не то, что я распоряжаюсь моим телом, как мне вздумается, а одной только малой его частью у меня между ног!

– Ну, не такой уж малой – не преуменьшай.

– Никто не жаловался!

– Снова проговоришься!

Поправимо – выкручусь:

– Тебе назло. Тебя тоже устраивает.

– Нельзя быть собственником вульвы, которая сама себе не хозяйка.

– То, что ты говоришь, – непотребство.

– Ну и ханжа ты! Тебе бы один гламур и шоколад. Я имел в виду не только величину, но и значение. Для тебя.

– Если кто в меня влюблялся, целовал, трогал, даже тискал – тебя не колышет. И стоишь на страже не моего тела, а у его входа. Цербер! Мир у тебя сузился до половой щели.

– Твоей.

– Но ты же сам иногда пользовался другими.

– Чтобы излить избыток спермы. А сейчас жалею. Потому что лишил себя морального права предъявлять тебе претензии, коли сам блудил. Одно оправдание – это всё кратковременные командировочные романы.

– Вот именно – в отсутствие друг друга. Спокойно! Это только в качестве допущения.

– Я тебе во всем честно признавался. Мимолетные, случайные, единичные связи в твое отсутствие. Сплошь одноразовки.

– И я честно во всем признавалась. Хотя не в чем признаваться. Одни трали-вали. Вокруг да около. Всё, что ты знаешь обо мне, ты знаешь от меня, с моих слов.

– А если это не всё? А что ты не говоришь или не договариваешь? В чем еще меня наколола?

– Почему ты раньше не ревновал? А теперь, задним числом... Дегрант! Я была с тобой искренней, а в ответ... Зря разоткровенничалась. Могла бы и промолчать.

– Ты не могла молчать. Тебя распирало от этих трали-вали. А с кем еще поделиться, как не с мужем? Дуэньи давно вышли из моды, подруг у тебя – ни одной, близкий человек – я один. Вот ты и рассказывала мне, не сразу, как в письме из Питера, но месяцы, а то и годы спустя, как с Нодаром. Отпускала мне истину малыми дозами, как диктатор своему народу. И откуда я знаю, что всю? Дозированная правда. Вот меняешь версии. С тем же Нодаром: дал подержать тебе свой член, а ты отдернула руку, то просто показал. А как ты

увидела, когда ночь и в машине было темно? И какой он у него был – эрегированный, или в твою задачу входило возбудить его своими пальчиками? А то и язычком.

– Фу, какая гадость!

– Верю, верю: оралка – не твой жанр, ты даже мужу никогда ее не делала, в отличие от меня – тебе. Но если бы у меня был выбор, предпочел, чтобы жена отсосала кому-нибудь на стороне – только не трах-тарарах! А что было на самом деле? Есть еще третий вариант? И в каком смысле его член похож на мой? На вид? На ощупь? У нас и привычки такой не было, чтобы ты держала меня за член: я всегда был стыдлив, а ты предпочитала прямое действие, а к членам с детства относилась с отвращением – спасибо твоему папаше-хулигану. Если только...

– Ты это уже говорил, – обрываю его.

– Хорошо еще, что у тебя не было брата, мне повезло!

– О чем ты? Я мечтала о брате, чтобы он меня защищал от отца.

– Разные бывают братья, – и тут до меня доходит, о чем он.

– Какое у тебя испорченное воображение!

– Не в том дело. Это я тебя всю там ощупывал, облизывал, обцеловывал. И никого – никогда – больше. Тоже, кстати, эгоистично с твоей стороны. Ладно, сделаем поправку на твоего отца с его эксгибиционизмом и педофилией: ты ненавидела его член, который он время от времени демонстрировал, пытаюсь избавиться от своих комплексов и заморочек – скорее социальных, чем сексуальных, да? Когда его исключили из партии, и он трясся, что арестуют. Но один пенис с другим можно сравнивать только когда он в тебе. Без вариантов. Что еще за пурга? Лучше говорить правду, ложь трудно запомнить. Вот ты и блуждаешь в трех соснах своих выдумок.

– У тебя женская логика: «Лучше скажи правду, иначе я сам подумаю, хуже будет!» Ты, что, думаешь, я с ним спала? – спрашиваю напрямик.

– В том-то и дело, что не знаю. Это знаешь только ты. Но ты поклялась самой себе не говорить мне правду. Всю правду. Никогда.

– Я тебе рассказала всё, как было.

Эта история кошмарит ему теперь жизнь, говорит он. Центральный эпизод в моих рассказах, потому что последний. Не в хроноло-

гическом смысле как приключение, а как мое последнее признание в том, что была тогда влюблена в Нодара. Проговорилась. Думала он и так знает: тайна – то, о чем все догадываются. А тут муж узнает последним, но чтобы от своей жены! Какой скандал он мне устроил!

– Не скандал, а момент истины. Я жил с широко закрытыми глазами, а теперь они вдруг приоткрылись, пелена спала. С твоей помощью. И на том спасибо.

Нодар не дает ему теперь покоя. Главный подозреваемый. Пусть так.

– Между нами ничего не было, – говорю.

– Так только – разок перепихнулись.

Это из анекдота, который я не помню.

Разок или два – разве это измена? А если и измена, что я – его собственность? Ишь чего захотел – чтобы я трахалась только с ним. Нет такого закона, естество нам велит прямо противоположное, все мы по природе блудетьяне – или блудетляне? блудисты! – а все эти словеса о любодеевании – мужское табу, чтобы держать нас в узде. А командировочный трах, да хоть в поезде со случайным попутчиком без имени, а зачем имя? Случайная измена, ситуативная измена, измена по настоянию партнера – да хоть из жалости. Если так настаивает, просит, умоляет: «Ну, что тебе стоит?» – трудно отказать. Легче изменить, чем сознаться в измене. Безотносительно меня. Исходя из чужого опыта, да хоть из книг и кино. Сама-то я не пофигистка, не все мне фиолетово, да и он так себя поставил, что изменить ему трудно – только в крайнем случае.

– Почему ты заикнулся на ревности – мало, что ли, других, интересов в жизни? Ты ревнуешь меня ко всему, что на двоих ногах.

– И на четырех. Точнее – на пяти. Ты – зоофилка. Как на той картине Фрагонара: голая девочка, раздвинув колени, держит в руках собачку, а та машет пушистым хвостиком, прикрывая и одновременно мастурбируя ей гениталии. Или у Валериана Боровчика в «Аморальных историях», помнишь, но там девочка с зайчиком. Или с кроликом. Четвероногие на подозрении, но только самцы.

– А если бы я была лесбиянкой?

– Сколько угодно. Я бы к вам присоединился. Ревность Марселя к Альбертине, что та изменяет ему с другими девушками, – самое непостижное для меня место у Пруста. Я бы мечтал быть у них тре-

тым. Но ты не лесбиянка, ты даже представить не можешь, что это такое, сама говорила. Тебе член подавай!

– А почему тогда ты спрашиваешь меня про Володю, когда он голубой? Вот кто мне нравится. Такой мальчик зря пропадает!

– Почему пропадает? У него есть все, что ему надо: и влюбленный в него муж, и любовники на стороне, к которым муж дико ревнует. Как я тебя. Как бы СПИД не подцепил! Но он говорит, что с превеликими осторожностями – безопасный секс.

– А он активный или пассивный?

– Разве не видно? Конечно, пассивный. Хотя большой спец по этим делам Оден считал, что это условное и чисто американское разделение. На самом деле – продолжаю квотить великого поэта, а ему виднее, – педика часто меняются ролями.

– А к тебе Володя не приставал?

– Ты с ума сошла! Он – нет, зато его муж – да. Скорее предлагал, чем приставал. У мужиков я пользовался бóльшим успехом, чем у фемин. Увы. С детства. В бане вызывались спину потереть и терлись членом, норовя в задний проход. На свиданки приглашали. Почему-то на кладбище. А здесь, на их нудистских пляжах, прохождению не было. Как видишь, устоял. Может, благодаря тебе? Нет, я однозначно гетерофил. А от Володи всего можно ожидать. Юноша без принципов. Да и не друг он мне – встречаемся на проходах. А ты такая субтильная, узкобедрая, грудь маленькая, мальчишеская прическа, как у Джейн Биркин в этом жестком порно у своего мужа «Je t'aime moi non plus». Вот и ты – типичная травестюшка, тебе бы Гавроша играть. Потому Володя и прикипел к тебе душой. Почему не телом? Откуда мне знать, что у них творится на генитальном уровне? А если он двустволка? Будь с ним осторожна. Держись подальше от гомосетины.

– Ты как-то даже упрекнул меня, что мы начали с тобой до того, как женились! – вспоминаю я. – Ты скоро будешь ревновать к самому себе – что я изменяла тебе с тобой самим.

– А почему нет? Ты никого не представляешь, когда мы с тобой трахаемся?

– А ты?

– Вопросом на вопрос? Ну, иногда.

– Квиты.

– Но чаще, что это не я, а другой тебя харит. Представляю себя на твоём месте, когда тебя трахает другой, и ты сама не своя от блаженства, как никогда со мной – и дико возбуждаюсь. А когда тебя нет рядом, я даже дрочу, представляя себя тобой с ним, с твоим целлоломидзе, когда ты первый раз...

– Ну, это уже сюр какой-то. Может, ты гермафродит, коли трахаешь самого себя, как женщину? По любому, извращенец.

– Извращенец на почве любви к тебе.

– Я уж не говорю о твоём вагинальном фетишизме. Кто расчесывает меня там – начал с лобка, а потом между ног?

– Венерин холмик. Срамные волосы. Тебе неприятно?

– Приятно. Щекотно. Стыдно. Возбуждает.

– Я хочу делать с тобой то, что не делал никто.

– Но и ты больше никому не расчесывал, надеюсь! – смеюсь я.

– Ещё чего!

– Даже менструальную кровь у меня слизывал...

– Ты сама сказала, что это самая чистая кровь в мире. Хотя в Библии сказано наоборот: самая грязная, и мужчина не должен прикасаться к женщине, пока она не очистится.

– Ты любил не меня, а свою собственную любовь, а я как объект любви – чистая случайность. А теперь любишь память о своей любви.

– Что ты мелешь?

– А ты? Представлять себя на моём месте, когда я трахаюсь с другим? До этого надо додуматься. У тебя большое воображение.

– А кого представляешь ты вместо меня, закрыв глаза? *Нет, не тебя так пылко я люблю, да?* С кем спала, когда спала со мной?

– Много хочешь знать – скоро состаришься. Чужая душа – потемки.

– Чужая минжа – потемки.

– Моя – тебе – чужая? Хорош!

– Родная все равно, что чужая – потемки. Но до чужой мне нет дела – в отличие от родной.

– Куда ты свернул! У тебя всё на генитальном уровне. Чужая душа – потемки. И не только чужая, но моя собственная. Для меня самой. Ты хоть понимаешь, что ты хочешь? Чтобы я навсегда осталась девственницей, ведя с тобой регулярную, бурную, хоть и ру-

тинную половую жизнь? Как гурии в мусульманском раю. Ты и есть муслим. До чего ты еще дойдешь?

Уже дошел – до ручки. Иногда меняет любовные позы, но не для того, чтобы разнообразить монотон супружеской жизни, а пытаюсь угадать, как меня трахал его соперник или, того хуже, предшественник. Как-то я проговорила, что тогда в Питере Александр поцеловал то ли потрепал меня за ухом – сама уже не помню. Ну, да, эрогенная зона – приятно. Но это до всякого секса, просто так, чтобы меня возбудить – мужская его тактика. А теперь муж, подражая подозреваемому первопроходцу, уже находясь во мне, обнимает меня за шею и ласкает за ухом, слегка покусывая мочку – он, что, хочет, чтобы мне было как тогда, и я выдала себя неосторожным движением? Или я всё это придумываю – он заразил меня своей подозрительностью, а по ряду побочных признаков он сомневается теперь во всем. Что-то гнило в нашем королевстве Датском.

А то всаживает что есть силы, хотя обычно входит в меня медленно, ласково, осторожно. Аж ахаю – хоть непривычно, но приятно.

– Что это сегодня с тобой? – спрашиваю, когда он все еще во мне, но висит на локтях, боясь придавить меня, и не может отдышаться.

– Вот так я должен был взять тебя в юности, когда мы оба этого дико хотели и когда ты, точно, была целкой, а потом – не знаю. А не ходить вокруг да около, боясь испугать или сделать больно. Ты была тепленькая, мокренькая, готовая, а я пошел против природы, сачканул и отпустил тебя в Питер целой. Теперь расплачиваюсь. С изменой могу смириться, но только не с тем, что не я вошел в тебя первый. Вот о чем ретроспективно все время мечтаю.

– Как в первый раз, – шепчу я одними губами, чтобы он не слышал.

– Какое это ни с чем не сравнимое счастье – первым распечатать женщину! Тебя! И как ужасно представлять, что это сделал не ты. Нет, представлять не первопроходца, а тебя с ним – твой страх, упоение, восторг, оргазм – когда в тебя впервые входит мужчина. Не я.

Как я устала убеждать его в обратном!

– Восторг, упоение – да, а счастье – нет. Никогда не испытывала счастья.

– Вот и Пушкин – тоже, – говорит он в ответ на мои ламентации вслух.

– На свете счастья нет, но есть покой и воля?

– Какой, к черту, покой! На свете счастья нет, но есть оргазм и воля. Оргазм ты испытывала?

– Сколько раз!

– Со мной?

– С тобой тоже, – молчу я.

– С тобой, – говорю я.

– Восторг, оргазм, упоение. Вот тебе составляющие счастья. Что еще? Всё тебе мало. Какая ты ненасытная!

– Правда – хорошо, а счастье лучше, даже если его нет, – думаю я о своем.

И тут он вдруг срывается – ни с того ни с сего!

– Тебя нельзя оставлять без присмотра!

– А тебя?

– Я – другое дело. Сама знаешь. Да и тебе по фигу. В отличие от меня.

– Купи мне пояс верности – и всех делов. Лады? – смеюсь я, чтобы уладить нелады или хотя бы разрядить обстановку.

– Анахронизм! Зачем пояс верности, когда есть фаллоимитатор? Или вибратор, я знаю?

– Дидло, – просвещаю его.

– Ты откуда знаешь?

– Книжки читать надо. Да хоть простой огурец, но чтобы подлиннее.

– Девичьи мечты!

– Я сказала длиннее, а не толще. Чтобы в руке держать. А к дилдо или вибратору ты не будешь ревновать?

Мимо – он опять за свое:

– В голове не укладывается. Как ты могла! Скажи, что это неправда, – умоляет меня и плачет.

– Дурачок!

Утешаю его, как могу. Только чтобы ублажить. Засыпает в моих объятиях. Малой смертью.

Сквозь сон:

– Мне снится, что ты во всем признаешься. Было очень больно?

– спрашиваю я. – Нет. – А хорошо? – Да. – С кем лучше – со мной или с ним? – Не знаю, – честно говоришь ты.

Что его так волнует моя дефлорация? Больше, чем измена. Почему?

И опять засыпает.

– А теперь, что достаю канистру с бензином и поджигаю дом, где ты с ним, потом пытаюсь спасти тебя, но спасаю или нет – не помню.

Кричит во сне, я его бужу, он весь дрожит.

– Ну, что ты, что ты?

Я тоже дрожу. Мне ничего не снится или я не помню свои сны, а у него какие-то вещи, я начинаю в них верить.

– Так спас ты меня или нет? – шепчу я.

– Спас? – Он все забыл, один сон у него вытесняет другой. – Мне приснился сейчас кошмар! Что сплю с семидесятилетней старухой, а это ты, и у тебя там седые волосы.

А что если там и в самом деле седые волосы, и он заметил, когда расчесывал? Больше не дам.

Просыпается окончательно и – как ушат холодной воды:

– Мы давно должны были с тобой расстаться, – говорит он. – Жизнь у нас пошла не по резьбе, а то и вовсе наперекосяк, вразнобой. Вопрос: когда и почему это случилось? Следовало разбежаться еще до женитьбы, когда ты вернулась из Питера, возможно, уже продырявленной и затраханной, аспирантишка жалкий! Настоящий питерец различает до двух с половиной тысяч оттенков серого, ха!

– Никакой он не серый! – вступаюсь я за Александра. – И причем здесь аспирант! Главное, он был архитектор-реставратор, Питер знал как свои пять пальцев и гравировал городские пейзажи – очень неплохие.

– Где ты их видела?

Горячо. Про мой визит в его мастерскую, где все случилось, лучше промолчать. Говорить не всю правду – это лгать? Умолчание – это ложь? А выдумка? Вымысел? Зато про Эрмитаж расскажу.

– На выставке.

– У него была персональная выставка?

– Нет. Общая. Выставка петербургских пейзажей в разных техниках – офорт, литография, ксилография, линогравюра, меццо-тинто.

– Меццо-тинто, – передразнивает он меня. – Откуда ты всего этого нахваталась?

– От Александра. Водил по выставкам и музеям и всё объяснял. Два раза были в Эрмитаже. Там на третьем этаже импрессионисты, Ваг Гог, Матисс, Пикассо – обалдеть.

– Помню, помню какая ты приехала обалденная.

– Еще бы! Я была влюблена не в человека, а в город, по которому он меня водил как заправский гид, показывая закоулки, о которых ни слова в путеводителях. А до этого я одна бродила, пока не заблудилась где-то на Пряжке, там Александр Блок жил. Вот его тезка меня там и засек – так мы познакомились. Было полночь, но конец мая, белые ночи, прекраснее города нет.

– Ну, уж нет! Ты все города объездила на свете? Если бы не этот гид-гад Сашка...

– Ничегошеньки ты не сечешь! Я тогда потерялась, а он говорит, что здесь тоже есть что поглядеть, помимо парадного Санкт-Петербурга есть еще вот этот город с черного хода, он как раз рядом делал обмеры дома начала 19-го века для своей кандидатской, так его даже за британского шпиона приняли и сдали в милицию, представляешь?

– Мне, что, еще сочувствовать ему прикажешь?

– Не сочувствовать, а попытаться понять. Романтическая девица, одна-одинешенька, впервые в Питере, а тут появляется настоящий петербуржец, рыцарь, джентльмен, на несколько лет старше – ну и вскружил мне голову.

– Немного тебе надо.

– Ты не понимаешь, я была совсем одна. Я тебе писала. А весной, в чужом городе, да еще белые ночи, такая красота, что сердце щемит от тоски и одиночества. А тебя рядом нет. Все-таки ты бревно – ничего не сечешь. Умный, а такой не тонкий. Ревность тебе глаза застила.

– Еще бы, когда получаю от тебя аутентичное письмо с его теперь уже хрестоматийными словами, что вы хотите одного и того же. Разве не так?

– Но это же он мне говорил, а не я – ему!

– Какая разница?

– А та, что всё было хорошо, пока он не стал давить на меня и всё изгадил.

– В каком смысле давить? Он пытался тебя изнасиловать?

– Еще чего! Какую чушь ты несешь! Пытался меня не изнасило-
вать, а загипнотизировать – разницу сечешь? Мужской такой напор.
И приемчики: «Мы любим друг друга и хотим одного и того же». Тут я не выдержала и укатила на два дня раньше. А такая сказоч-
ная поездка была. Он и сделал ее сказочной, а потом всё испоганил,
испохабил, в труху превратил. Если бы вертануть время назад и
продлить ожидание и томление! А как трудно было достать билет в
Москву – полдня простояла в очереди, а потом четыре часа маялась
на вокзале, присесть негде, кругом один Кавказ, – жалуюсь я, вспо-
миная. Как легко быт вытесняет эмоции!

– Представляешь, он и там меня нашел, – признаюсь я. – Вы-
считал.

– Что было нетрудно.

– Но я была тогда потрясена. С трудом место нашла, дремлю
на скамейке, зажатая между чучмеками, открываю глаза, а он надо
мною стоит и что-то бормочет. Будто сон продолжается. Но тут уж я
была как кремень – показала ему билет и сказала, чтобы убирался, а
то милицию позову. Молча посмотрел на меня, повернулся и исчез
среди таджиков-туркменов. Ты ревнуешь к человеку – невидимке из
девичьих снов в те сказочные белые ночи. Разве я бы ушла от него,
если бы между нами что было?

А он опять за свое:

– Вот потому мы и должны были разойтись, как только ты воз-
вратилась из своей сказочной поездки в Петербург. И уж точно раз-
вестись после поездки в Грузию, где ты меня предала, а это хуже,
чем изменила. Если бы сразу сказала, что была влюблена в Нодара, а
ты молчала, обманывала меня. А, может, и изменила, что уже не так
существенно. Измена что? Отдушина в однообразии брака, прерыв
монотона семейной жизни. По любому, я по уши в говне. Если бы
сказала сразу, мы бы разошлись.

– А как же наш сын?

– О сыне должна была думать ты, когда романилась с Нодаром.

– Я с ним не романилась. Это совсем другое, чем ты думаешь.

– Ты втянула меня в себя, не любя меня и даже не будучи влю-
бленной, по одной физической нужде. Откуда у меня уверенность,
что ты не отдалась кому-то, будучи влюбленной. А влюблялась ты
во всех.

– Неправда. Не во всех. Я виновата, что такая влюбчивая? Люди разные. К примеру, сам знаешь, бывают слезоточивые, как ты, по любому поводу слезу пускаешь, а я, наоборот, – сухоглазка. Но это не значит, что бесчувственная. Скорее, наоборот. То же -- с влюбчивостью. Встретила недавно бывшую одноклассницу, на одной парте сидели, а внеклассное время проводили, играя в докторов – ну да, в гинекологов! – с осмотром и прощупыванием генитальных зон. Неосознанное лесбиянство или онанизм – не знаю, но столько было в тех играх услады. Не ревнуешь?

– Я же тебе говорил про ревность Марселя к Альбертине. Нет, не ревную. А сколько вам было лет?

– Не помню, лет двенадцать наверное.

– А зачем ты мне это рассказываешь? Вы, что, возобновили ваши игры?

– Да нет! Я о влюбчивости. Она говорит, что нет у нее этого в опыте вообще, не знает, что такое.

– Как так?

– Ну, невлюбчивая, и в нее – никто: ни сама, ни в нее. Никогда! Один-единственный раз – в первом классе. И всё! Нет, не фригидка. Парочка бойфрендов, пока не вышла замуж и родила дочь. Но влюбиться не влюблялась – мимо нее прошло. А я влюблялась – и меня влюбляли, сам знаешь.

– То есть хотели тебя трахнуть, а ты – их.

– Как я могла кого-то трахнуть? Для этого нужен сам знаешь что.

– Запросто. Без проблем. Это обоюдный процесс. Ты до сих пор этого не поняла? Могу поставить вопрос иначе: не кто тебя, а кого ты харила? Начиная с Питера.

– Там совсем другое. Я не была в него влюблена. Это он повсюду меня преследовал, а я последние дни бегала от него.

– Зато в первые – не разлей водой, с утра до вечера. Сама мне писала.

– Мало ли что я писала? По-твоему, я с ним спала? Ты не веришь, что ты – мой первый мужчина?

– А кто следующий?

– Не лови меня на словах! Я ничего не говорила о следующем.

– Кто первый? Меня там рядом не стояло тогда в Питере, – не отстает он.

– Может, ради тебя мне пойти на гименопластику?

– Это еще что?

– Восстановление девственной плевы хирургическим путем.

Дашь мне денег?

– А сколько стóит?

– Хочешь еще раз сломать мне целку?

– Чтобы была стопроцентная уверенность, что это я. Чтобы больше не сомневаться в твоей предзамужней целости. Чтобы мне пришлось поработать, лишая тебя этого клятого гимена. Чтобы море крови, а не как у нас – ни капли. И чтобы мой член весь в крови. Но чтобы боль у тебя – как от комариного укуса. И чтобы сладостная, как в книгах. Обещаю быть осторожным, но процесс не затягивать и не отпускать тебя в СПб нетрахнутой.

– А если бы – в качестве одного только предположения, предствавь только! – если бы у нас с тобой все произошло до моего отъезда, но все равно в Питере – уже после тебя – у меня бы случился недолгий роман?

– Не играет роли. После меня хоть потоп.

– А какая разница? До тебя или после тебя? Ладно, ладно, успокойся, ты у меня – первый и последний. Клянусь моим здоровьем.

Что мне мое здоровье теперь?

– Не первый раз клянешься. А между мной первым и мной последним? – не унимается он.

– Что тебе от меня нужно? Как мне быть, если ты мне по-любому не веришь?

– Ни одному слову! Хватит мне голову морочить! Мы оба знаем, что с тобой это как-то стряслось, – убеждает он меня, как когда-то Александр в СПб: что мы хотим одного и того же – что он хочет меня, а я хочу его. Так и было. Ну и что?

– Ты же сам знаешь, что с мной ничего подобного не случилось, – в тон ему отвечаю я. – Мы с ним были на «вы».

– А после? Продолжали выкать друг другу? Ты со мной, как кошка с мышкой, играешь.

– Это ты играешь, потому что жизнь в тебе выдыхается, и ты живешь грязным воображением, перенося свой вымысел в прошлое.

– Воображение, может, ложное, но не грязное. Тебе этого не понять. Я живу в параллельном мире.

- Ты же не ревновал меня раньше.
- Потому что верил.
- Потому что я не давала тебе поводов.
- Еще как давала!

Давала. Но тогда он не замечал. И дать поводы для ревности – не значит дать кому-то на самом деле. Почему он стал ревновать столько лет спустя? Что хуже для ревнивца – воображаемая измена или реальная, если он не отличает одну от другой? Зачем осложнять жизнь больше, чем она есть?

– Прежде верил тебе абсолютно. Именно потому не верю теперь. Абсолютно. Не мог вообразить невообразимое.

– Почему невообразимое? Не обо мне речь. Да хоть обо мне, но гипотетически. А как же я с тобой? У тебя катастрофическое сознание. Не преувеличивай значение секса. Процесс трения, извини. Толчки и фрикции. Это же ровным счетом ничего не значит. Тем более, если секс без всяких там прелиминарий. Как у тебя – на стороне. Перепах ради перепах. Сам процесс, а не причина и не результат.

– Как говорил Бернштейн, а не Бронштейн, хотя приписывают Троцкому: конечная цель – ничто, движение все. Туда – сюда, туда – сюда.

– Это у тебя туда – сюда. У меня совсем другое – мне нужны чувства.

– С чувствами или без чувств – какая мне разница, черт побери!

– Побойся бога – хватит чертыхаться!

– Лучше чертыхаться, чем матюгаться.

– Может, это у тебя возрастное, прости, конечно? Снижение сексуальной активности?

– Это у меня-то? Как стоял на тебя, так и стоит. На любой твой жест, на твой голос, на твой почерк, когда читаю твою мне записку. Когда проносятся в голове кадры твоей сексуальной жизни до меня или без меня.

– Ты – сексуальный маньяк!

– Да, никогда! Ты же помнишь – дрожал от нетерпения, но ни-ни-ни. Пока ты сама не сказала.

– Я тебя пожалела.

– Ты себя пожалела.

– Себя и тебя.

– Какая чушь этот стих *Зачем нас только бабы балуют и губы, падая, дают!*

– А мне нравится, до сих пор волнует. Пусть и камуфляж: поэзия и есть метафора. – Какой, к черту, камуфляж! Вы не нас балуете, а себя. Вам невтерпеж! Настоящий мужчина всегда добьется от женщины того, что она больше всего хочет.

– Одно и то же, как попка-дурак. Тебе же было хорошо со мной? Этого ты отрицать не станешь? Твои сомнения не могут изменить прошлого. Сам говорил, что прошлое неуничтожимо. Пусть оно исчезло из времени, но в памяти у тебя осталось, да? Или время уничтожает память? – пытаю его я.

– Настоящее отбрасывает отблеск на прошлое, подозрения подтачивают его, оно меняется неотвратимо, я не узнаю его. Позитив превращается в негатив. То счастье больше не в счастье мне. Да и было ли оно? Просто я не знал его изнанки. А теперь ты – воспоминание о той девочке, которую я любил. Белой и пушистой. Целочкой. По-нашему, кошерной. Заслоняешь собственный вечный образ.

Тут уж я взрываюсь:

– Почему я должна соответствовать твоим старомодным идеалам?

– Я верил в ту полуправду, которую ты мне скармливала, не рассказывая всей правды. А сейчас я сосредоточился на другой половинке, о которой ты умалчивала. Зал был полупуст или полуполон?

– Какая разница? Словесная эквилибристика. Что я тебе не договариваю?

– Вот этого как раз я и не знаю, но знаю, что не договариваешь. Ты дала себе слово не говорить мне всю правду из-за страха за меня или за себя? Ты не хочешь меня напрягать, но куда больше напрягаешь, не говоря всей правды. Не бойсь – выдержу. И ничем тебя не попрекну. Буду любить, как люблю. Даже сильнее, потому что у тебя хватило мужества сказать мне правду. И все это останется позади нас. Клянусь никогда к этому больше возвращаться. Но мы должны сквозь это пройти. Нет, я не собственник. Просто не могу оставаться и дальше в неведении. Тем более, если за моей спиной, как в Грузии. У меня не осталось времени ждать. Возраст круто забирает. Разменял пятый десяток. Так и умру, не узнавши.

– Не умирай раньше смерти.

– Скажи пока не поздно – пока я не умер или пока не станет по фигу, кто у тебя там был, и я не смогу даже понять, почему меня это сводило с ума.

– Тебе это не грозит. Тебе никогда не будет все равно.

– Может быть. Вопрос, что кончается раньше – жизнь или любовь.

– А ты не говорил разве, что твоя любовь переживет тебя? – обижаюсь я, хотя никогда не понимала этой его формулировки. Абсурд какой-то. А его ревность не абсурд? Дело принципа: мое тело – мой замок. Как не говорят англичане. Почему я должна держать мой замок на замке!

Да, проговорилась: тело. Он все еще любит ласкать, зацеловывает всю, пока пустит в ход главное орудие. Мне ничего не стоит его возбудить – достаточно задрать рубашку и показать титьки, торчком стоят, хорошо сохранились, хотя в то лето, в Питере, были как налитые, майка вот-вот лопнет. Потому и проговорилась: тело. Имела я право распоряжаться своим телом, от которого мой муж до сих пор балдеет? Причем здесь жизнь? Он прав: бессмыслица. Ох уж эти его страсти-мордасти, пунктики, заморочки, навязчивые идеи! А если в самом деле рассказать как есть? Как было? А что было? Чтобы он зря на других не думал. Ведь если я у него на подозрении в измене, то друзья – в предательстве. Каждого отслеживает косым взглядом – как бы совсем не окосел! Сломается на ревности, не дай бог, а выходит, это я спятила ему мозги.

– Как же так: вы с ним знаете, что промеж вас, а я нет? – мучается он, подозревая имяреков в заговоре.

– А ты следуй американскому правилу, – пытаюсь отшутиться я.

– Что еще за правило?

– Моя жена сбежала с моим лучшим другом, и мне его так теперь не хватает.

– Не смешно, – и продолжает свой перечет и скулеж.

Чаще всего – пальцем в небо. Как раз Александра он не знал, хоть тот как-то заявился в Москву, я была уже замужем. С трудом признала. Что я в нем нашла? На всех питерцах какой-то местечковый, захолустный отпечаток – даже на тех, кто выбился в Москву. Петербург – столица русской провинции. Как был, так и есть. Некрополь, но как прекрасен! Потому и прекрасен, что некрополь. А с

Александром в Москве встретились – разбежались. Ничего общего. Зачем я рассказала мужу о его случайно-намеренном визите в столицу? Наверное, хотела похвастать, а он, приняв за аксиому нашу питерскую близость, мучится теперь вопросом: можно ли отказать тому, кому раз дала? Тем более, первопроходцу. Оправдываться – только усиливать его подозрения. Как это говорится? Ты сказал – я поверил, повторил – я засомневался, стал настаивать – я понял, что ты лжешь.

То же разочарование потом с Нодаром, когда он прилетел в Москву: что я в нем нашла? Да еще этот грузинский акцент! Хотя Нодар – совсем другое дело. Сколько мне было в Грузии? Тридцатника не было, да еще я всегда на пару лет моложе выгляжу. Уже не девушка, а женщина, но с девичьим сознанием, от которого не вполне избавилась до сих пор. Ну, что мне делать, если я такая влюбчивая?

А Александра потому и не сразу узнала, что врзалась в память одна его самцовость, которая, да, отталкивала, но и привлекала тоже – его мужской натиск, с которым он преодолевал мой страх, стыд, застенчивость. Если бы только старше, но и, само собой, опытнее – знал, как обращаться с женщинами. Я бы даже теперь сказала, что опытной бабе легче дать отпор таким вот мужикам (если, конечно, она хочет дать отпор), чем неопытной девчонке, хоть и зацелованной, обласканной и развращенной, как я, но все еще не дефлорированной. Разбудить во мне женщину и не взять – эка глупость! Сам виноват. Факт. Хотела я того же, что Александр, или это у него такой прием? Да, хотела. Еще как хотела! Но и не хотела тоже. Боялась. Он не сразу это понял – завалил меня как-то на скамейке в Таврическом саду, я возмутилась и убежала. Тогда он сменил тактику и начал заново, с нуля – разговоры о Питере, в который я влюбилась с первого взгляда: СПб в белые ночи – еще тот афродизиак. Хоть и с каким-то мрачным подпольем город – не без того. Плюс другие эстетические координаты, которые нас с Александром толкнули друг к другу – от Парфенона и Шуберта до Руссо и Пруста. Общность духовных – нет, не интересов, а символов. Так и летали с одного на другое, не углубляясь. Сейчас бы, может, на это и не купилась: джентльменский набор банальностей. В отличие от меня, он был человеком неглубоким – я искала тонкостей, а он плавал по верхам. Хотя оба раза в Эрмитаже он был на высоте: иску-

ство – его стихия, как рыба в воде. Я-то прикипела к модернистам на третьем этаже, а он тащил меня вниз: к Веласкесу, Джорджоне, Лоррену, Рембрандту, «маленьким голландцам», к византийским иконам. До сих пор не разобралась в его предпочтениях – почему одних любил, а к другим дышал ровно? Чем Лоррен лучше Пуссена, а Рембрандт Рубенса? А на третьем этаже мне больше всех понравился Матисс, что его очень удивило – он предпочитал «голубого» Пикассо. Именно Эрмитаж нас окончательно сблизил, несмотря на разноту вкусов. Чтобы за всеми этими именами простые физические флюиды? Пусть так: флюиды похоти – муж прав. Только зачем принижать похоть? Песнь песней – разве не похоть? Или это откровение? Похоть и есть откровение. Белые ночи, наши прогулки, наши разговоры как прелюдия к соитию? Да, нас тянуло друг к другу со страшной силой. Влечение, вожделение, кемистри, либидо, я знаю? Потому и перестала писать в Москву, думать ни о чем больше не могла, так меня закрутило. Если это похоть, то я попала в самую ее воронку. Изнывала от желания.

Каждый раз, когда мы встречались, я не знала, чем кончится. Не знала, до чего могу дойти – поддаться его или своему желанию? Да, иногда дико хотелось, чтобы это скорее уже случилось, дежа-вю, надоело ждать и томиться, хотелось всё отдать – и дело с концом. Но в отличие от него, что-то меня сдерживало. Нет, не только мещанский или физический страх, а тем более стыд. Какой там стыд, когда такие мощные позывы! Никакого удержу. Хотя, понятно, боялась боли и что заделает мне ребеночка – и был таков, ищи ветра в поле. Перед отъездом мамаша предупредила на всякий случай: надо знать, кому давать. Но бывало, все сдерживающие центры отключались, ничего не соображала, как сомнамбула. Борьба шла не между мной и им, а между мной и мной. Между мной и моим телом: кто кого? Потому и проговорилась. Да, тело. Только я этого моему никогда больше не скажу. Пусть думает, что ослышался: глуховат. Распоряжаться своей жизнью – нелепица. Это не я распорядилась своим телом – это тело распорядилось мной.

Душа и тело, а где я? Что такое душа, где она расположена, когда в тебе сталкиваются древние запреты с первобытными инстинктами? А если душа взалкала тела? Оттого и все эти заповеди, чтобы связать человека по рукам и ногам и чтобы он не мог слушаться са-

мого себя. А для женщины – пояс верности. Но кому верности, когда я еще не замужем? А когда замужем? Средоточие женщины – всё оттуда! Кто сказал, что женщина – черновик человека, и ей нечего делать в церкви – ее разговор с Богом не представим? Поэтому мужчина и держал ее тысячелетиями в рабстве: жена да убоится мужа. Мужчина для женщины и был когда-то бог. Ну, представитель бога. А у мусульман до сих пор. Что такое феминизм? Это сексуальный бунт женщины против диктатуры мужчины. На социальном и на индивидуальном, как у меня, уровне. Измена – это борьба женщины за свои права. За равные права. Включая секс. И как он смеет теперь требовать от меня отчета?

Та «я» была не «я» теперешняя. Ту я бы не узнала, а она – меня. Дала Александру тогда в его мастерской или сбежала, какое ко мне имеет отношение та слегка ку-ку девица? Почему муж этого не понимает? Почему я для него всё та же, хотя столько лет прошло? Какое ему дело – первый он или второй? Да хоть третий. Нафталин. «Сколько у тебя было мужчин?» – «Семь». – Значит, я восьмой?» – «Нет, ты четвертый».

Почему он не может или боится представить моей сексуальной жизни отдельно от него и что меня трахал другой? Он меня поправляет: не трахал, а трахались, на равных, по обоюдному хотению, и еще неизвестно, чья была инициатива, напоминая о нашем с ним опыте. Пусть так. Первой его поцеловала, а когда потом бесконечно тянул с соитием, обслюнявив и облапив всю сверху донизу и в обратном направлении – да, включая, – и даже когда дошло до дела, тыкался вздыбленным членом у меня между ног, боясь сделать мне бо-бо, то ли порушить мою целость, да, я сама взяла его член и ввела глубоко в себя. Тогда был благодарен мне за это, а теперь в своих подозрениях-прозрениях относит за счет моего сексуального опыта в Питере.

Зачем ему, чтобы вся моя сексуальная жизнь была матримониальной, только с ним? И почему я сама теперь боюсь потерять этот так дорогой ему статус белой и пушистой? Он, что, разлюбит меня, если узнает, что это не совсем так? Вот его даже смутило, когда я рассказала, что мастурбировала в юности – пальцем, пальцами, всей пятерней:

– А ты разве нет?

– Я – другое дело. Испорченный до мозга костей и рано созревший еврейский пацан, хоть и девственник. Но ты? И под кого ты дрочила, если не секрет?

– Ни под кого. Просто так. Влюбленность – одно, онанизм – совсем другое. Как до тебя не доходит, что девственность бывает телесная, а бывает ментальная?

– А я всегда дрочил под кого-нибудь. Иногда гасил свет и думал, на кого бы подрочить. Выбор, как у царя Соломона, но мой гарем воображаемый. Чем хуже реального? Когда влюбился в одну известную тебе особу – стал дрочить только под тебя. Ни разу не изменял, мастурбируя. От полигамии к моногамии – даже в сексуальных фантазиях.

Что нас возбуждает – слова или воспоминания, думаю я.

Прикрывает ладонью мою промежность:

– Посторонним вход воспрещен! – его частый рефрен.

– Как бы не так! – смеюсь я и как можно шире распахиваю ноги, чтобы ему удобнее было просунуть туда голову.

Делает мне упоительный минет, знак доверия и надежды, что я бы ему не позволила, если там побывал другой, и моя измена – только плод его воображения.

– Это все равно, что целовать чужой елдак, – говорит он, облизывая всю мою промежность и выныривая наружу. – Ты бы тогда мне не дала.

Да? Экий наивняк! А если любя неверную жену, муж бессознательно любит в ней порок взамен невинности? Если родину, то почему не женщину: «Люблю я милую, но странную любовью – не победит ее рассудок мой». Любишь бабу, люби какая есть – со всем ее блудом. У мужиков разные вкусы: одним подавай кошер, другие натруженную минжу предпочтут целочке. Почему, кстати, «сломать целку», а не «порвать»? Мужская драматизация? В самом деле, безвозвратность потери.

Иногда он так увлекается, что еле его отрываю:

– Смотри не съешь ее...

А совет Овидия женщинам – глупый по тогдашнему невежеству: подмоешься потом – никаких следов. У евреев миква, где самая чистая, с неба, от Бога, дождевая вода. Теперь и подмываться не надо. Во-первых, кондом, физически не касаясь друг друга, во-вто-

рых, влагалище сразу же самоочищается от всего постороннего. Сперматозоид, которому удалось проникнуть в матку, – другое дело. Что он от меня хочет? Душевный стриптиз – не мое амплуа. Неверная жена? В каком смысле? Ну, оступилась, но когда это было? Давно и неправда. В другой жизни – не в счет. Зачем ему это теперь знать? Нерассказанная измена как небывшая. Старая английская загадка: если в лесу упало дерево, а никого вокруг нет, раздастся ли треск? Это ничего не значит. А что значит? Пусть пофигистка, всё ничего не значит. Тем более, перед лицом смерти. Что сильнее – ревность к живому или к покойнику?

Скажи я ему всю правду, кто знает, не потеряет ли он ко мне половой интерес, и вместо стоячего и нетерпеливого, который он ежедневно, а то и несколько раз в день, в меня всаживает, – вялый, безжизненный, безжеланный висяк с одной-единственной мочеиспускательной функцией? Ревнуют к воображаемой измене, сводят с ума сомнения и неопределенность, а знание убьет ревность, а с ней и любовь, да? Или рассмеется, узнав про ту мою проходную историю и будет ревновать к другим? Когда мне было по-настоящему крутить романы, когда он меня регулярно затрачивал, я и соскучиться по сексу не успевала? Для настоящего романа нужна свободная и тоскующая вагина, факт.

И чего он тянет на Нодара? Или на Александра? Все равно, на кого. Было дело – оступилась, согрешила. Без особой на то нужды? Влюбленность? Похоть? Не знаю. Не помню. Плохого секса нет, но есть ненужный, точнее – необязательный: ну да, иногда легче дать, чем объяснять имяреку, почему не хочу ему давать. А есть классный, улетный секс, без которого, ну, никак. Знаю, о чем говорю. Я через всё это прошла – и ни о чем не жалею. Кто центральный фигурант этой истории? Он тоже у мужа в черном списке среди подозреваемых – несть им числа. Но не на главных ролях, а так, на всякий случай, чтобы никого не упустить: маргинал. А я никогда, ни за что не проговорюсь – стыдно. Бывает, защитная система не срабатывает. Множество причин. Скажем, от неожиданности. Или по влюбленности – может, мой неглупый дурак и прав.

– Чего ты боишься? – спрашиваю его в очередную сцену ревности. – Мужских комплексов у тебя при твоём темпераменте – никаких. Сравнения? Размер не имеет значения.

– Хочешь сказать, мои пятнадцать сантиметров я восполняю темпераментом.

И дернуло же меня!

– У тебя нет пятнадцати сантиметров.

– Как нет? Я измерял. Хочешь проверить?

Иду на попятную – спутала сантиметры с дюймами. Хотя имела в виду сантиметры.

– Пятнадцати дюймов у меня в самом деле нет. В любом случае, как вытеснить из твоего влагалища воспоминание о другом члене?

– Даже если этот другой – игра твоей фантазии?

– Или твоей? – говорит он с надеждой.

А размер в самом деле не играет большой роли. Сама читала, что там, в глубине нет эпителий – ни возбуждения, ни удовлетворения. Длина – без разницы, иное дело – толщина. Я однажды имела глупость сказать ему в постели на его же настырные вопросы, что мог быть толще: «Могла быть уже», – тут же ответил он. Мало того, вынул и стал выяснять отношения:

– Я исхожу из своего внебрачного опыта, а ты, выходит, из своего?

– Сам спрашивал, я тебе честно и ответила. Причем здесь опыт, когда я там так чувствую. Пусть так: сексуальные грезы. Ты сам рассказывал про приятеля, у которого самый большой член в Москве – как он сидит в парной и поглаживает его: «Мой поросеночек...» Нет, у тебя не поросеночек – не всем же. Я говорю не о мужиках, а о бабах. Но мне все равно хорошо. – И смеюсь: – Мог быть толще, но мог быть тоньше. Толстый, тощий – разве в этом дело? Иди обратно, я хочу тебя, – и он ныряет в мое бездонное влагалище.

– У евреев пенис меньше, чем у среднего европейца, не говоря уже о неграх, – объясняет он мне, будто я сама не знаю! – Какая разница, какой член не в эрегированном состоянии? Главное, какой он в деле. Эрекция – великий уравниватель. Хотя что у женщины на уме, то у мужчин до таких размеров не вырастает, – смеется он, но тут же добавляет: – На моего мальчика никто еще не жаловался. А сколько лет он уже в строю! А какой сексуальный креатив! Качество, а не количество – имею в виду сантиметры. Хотя на размер тоже не жалуясь – когда встает, у меня увеличивается в разы. Зато у негров при эрекции вообще не растет – только твердеет и встает.

– А чего им еще, когда у них и так здоровенная елда! Помнишь, на пляже для нудистов на Лонг-Айленде? Страшно смотреть.

– Страшно?

– Ты совсем спятил? Такая елда для насилия и разбоя, а не для удовольствия.

– Откуда ты знаешь?

– Ладно, проехали. Только не заводись – негров среди моих знакомых не было, нет и не будет. Зато у евреев витальная сила – дай бог! – подмыливаюсь к нему. – Гены с расчетом на вечность.

– Я не об том, – возвращается он к своей лекции. – Только о строении пениса: у негроидной расы – типа флагштока, который встает, но не увеличивается, а у европейской расы – телескопическое строение: выдвигаясь, становится больше и больше.

– При чем здесь длина?

– А толщина? – думаю я. – Многие женщины и вовсе ничего не чувствуют, когда член трется о стенки их ножен – как будто и не их трахают. Я как раз чувствую. Всегда чувствовала – и до сих пор. Могу подзавестись – хоть на стенку лезь. Особенно когда в сильном ритме, крещендо, по нарастающей – его оргастические крики и последние содрогания меня еще больше возбуждают и, как не он сказал, делю, наконец, его пламень поневоле.

Честно, когда делю, а когда – нет. Возбуждает, но удовлетворяет не всегда. Не знаю, что лучше – когда долго, одна движуха туда-сюда, без божества без вдохновенья, или когда он все глубже и быстрее, доходя до апогея страсти? Оргазм у меня то есть, то нет.

– Где твое самое-самое чувствилище – точка “G”? – спрашивает он. – Секс у тебя влагалищный или клиторный?

– Начитался! Разве в этом дело?

– Ты трахаешься одной минжой, – упрекает он меня.

– А ты разве не одним членом?

– Воображением, – объясняет он, – потому я иногда быстро кончаю, а ты меня не догоняешь.

А что он воображает? Что его возбуждает? Тайна? Измена? Что в этот момент я не с ним, а с его соперником – ну, поскользнулась, зато какой для него мощный заряд! Вот что ему дает ревность! Без ревности ему любовь не в любовь. Это его сексуальное вдохновение. Так он давно бы меня – если бы не разлюбил, то расхотел. Пусть тог-

да ревнует к моей измене, воображаемой или реальной, а скандалы – плата за его неугасимое пламя и каменеющий член.

Выходит, сама его поддразниваю, подзуживаю, подзавожу – мне самой это надо?

Проверку минетом выдерживаю, да и кайф ловлю: пенисуальный акт – человеческий, а оральный – божественный. А тут еще – в сочетании: обалденно! Стыдно немного: оралка-аморалка, но зато хорошо как! Таю от восторга. Да и ему, видимо, в кайф: языком, говорит, он лучше там у меня все чувствует, чем тупым членом. Только я бы не назвала член тупым, хоть он и не змеится, как язык. У него самый ласковый, самый нежный, самый чувственный и самый чуткий член на свете. Так и тянет ему это сказать, но он тут же решит, что мне есть с чем сравнивать. Даже если так – в его же пользу! Как в том анекдоте, где супруги смотрят телепередачу по психоанализу о феномене смешанных эмоций, и муж говорит: «Что за чешуя! Можешь ты мне что-нибудь такое сказать, что расстроило меня и в то же время осчастливило?» – «Из всех твоих друзей у тебя самый большой член».

Говорит, что никого больше там не трогал, а когда случайно вляпался, чуть не стошнило от брезгливости – слизь, мерзость, скверна, нечистоты какие-то.

– Я тебя умоляю!

И сразу, без передыха:

– А у меня?

– Pozzosacro, – говорит он.

– Это что такое? Латынь? Вроде твоей вагины дентаты?

– Да нет! Зубастая, кусачая – это в переносном смысле. Ну, *la femme fatale*. Страх мужика перед бабой – что она после соития его съест, как богомолка богомола. Не буквально, конечно, а типа того кастрирует, лишит воли, подавит. Страх невротика или подкаблучника. А *rozzosacro* – совсем наоборот. По-итальянски, священный источник. Это для меня – священный источник, а для других – дыра. Резервуар для слива спермы в твоё тело. Есть разница? И какой он священный, если им пользовались другие? Вот причина моей ревности.

– Безотносительно к твоей метафоре, почему священным источником не могут пользоваться другие? Он от этого, что ли, иссякнет? Помнишь, мы были в Лурде, где паломники со всего света...

– Нашла с чем сравнивать! При чем здесь Лурд, когда мой священный источник у тебя меж лядвей?

Ну что за высокие словеса! Как мне надоело стоять на его пьедестале, а он мне объясняется в любви каждый божий день. Женщина – чудо, но ты – чудо из чудес, говорит. Благодаря тебе, я преодолел в себе животное и отвергнул всеобщий принцип удовольствия – то есть берег мне целку, в существовании которой до генитальных отношений с ним теперь сомневается и жалеет, что не трахнул меня раньше, когда оба давно уже были к этому готовы. Может, в самом деле, зря: чего беречь-то было, что за предрассудки? На то и целка, чтобы ее ломать, а время – самый раз. *Я люблю тебя больше, чем ангелов и Самого* – слегка перевирает он нашего мишпушного гения, к которому тоже ревнует, но по мне, стиховая патетика – гений существование Бога допускал, но ни обрезан, ни воцерковлен не был. У моего формула лучше: любил, люблю и буду любить. Или это тоже цитата?

– Люби, люби, если не лень, – отшучиваюсь я. – Любить – не работать.

– Ну, не скажи. А вот в чем я уверен, тебя туда никто больше не целовал, – шутит он.

Целовать не целовал: он – единственный. И не только туда. Я вообще считаю поцелуй более интимным делом, чем секс: смешивать свою слюну с чужой – еще чего! Так что, в этом смысле я ему уж точно верна: ни с кем больше не целовалась взапас – только с ним. Поцелуй – чисто человеческое изобретение, в животном мире его попросту нет. Умоляю, не надо мне про голубей – они трутся клювами из сугубо гигиенических соображений. Только моему и давала – облизывал меня всю, а я тайком стирала следы его слюней. А затяжной поцелуй туда? До него я и не подозревала, что есть мужской минет, да и о женском – самые смутные представления.

– Что-нибудь не так? – спросил он, когда первый раз. – Неприятно?

– Приятно. Но стыдно.

А теперь сама иногда прошу, хоть и стыдоба: «Сделай минет» – и его это умиляет. Или когда он уже во мне, задираю рубаху, чтобы ласкал мои девичьи груди, целовал сосцы. Или когда вспоминает, как на заре нашей сексуальной жизни я сама попросила, чтобы глуб-

же, а он боялся, что мне будет больно, школота! Не может спокойно смотреть, когда я лежу к нему спиной, согнув одну ногу и напоминая ему позой веласкесову Венеру с зеркалом, которая сводила его с ума в детстве, как меня микеланджелов Давид: млеет от нежности и набрасывается как зверь. Или плавали голые в диком понде, а когда вышли на берег, я ему напомнила другую Венеру, ботичеллиеву, уложил меня на траву, просунул голову между ног, «Там озеро» – шепчу, так он чуть с ума не сошел от умиления: заласкал, зацеловал, затраха-хал. Как-то поссорились, он ушел, но я не выдержала, догнала: «Не могу без тебя» – вижу, плачет: «За такие слова можно жизнь отдать». До сих пор влюблен в меня, хоть и задолбал своей ревностью. Чтобы успокоить и утешить его, клянусь ему, что он у меня первый и последний, уже не моим, а его здоровьем, но как-то, в пике скандала, пожелала ему скорее умереть, что его потрясло: «Натренировалась на отце, сучка!» – и не общался со мной недели полторы. А потом, помирившись – опять-таки через секс, долго жить без которого ни он, ни я не можем – снова заводит свою волюнку.

– Но это же всё я сама тебе рассказала! – повторяю в деревянное ухо. – А так ты бы ничего не знал и ни к кому не ревновал.

– А я и не ревную, – говорит он. – Зачем ты мучаешь меня? Сколько я от тебя натерпелся!

– А я – от тебя. Еще вопрос, кто кого больше мучает. Представь, что я тебе не изменяла...

– Ну да! Дездемона!

И чуть не плача:

– Как мне смириться с тем, что ты сношалась не только со мной, а тем более со мной не с первым?

– Смирись, гордый человек! – смеюсь я. – Посоветуйся со своим учителем.

– Фрейд здесь не в помощь. Хочу знать правду: когда и с кем. Заранее прощаю, камень в тебя не брошу и больше к этому не возвращусь.

Простить – простит, побанит да простит, но вот забыть – забудет? Никогда!

– Ты вся изолгалась.

– Как ты не понимаешь! Это не брехня. Сам знаешь, не от мира сего. Воображаемый мир, который редко соприкасался с реальным,

а любое столкновение этих миров приводило к краху, и я пробуждалась.

– В койке с кем?

– Не в том дело. Пелена с глаз. Разбитое сердце. Жить не хочется.

– До очередного эмпирея? То есть мужика? До следующей влюбленности?

– Ты невыносимо груб. Жить с тобой просто опасно.

– А с тобой? Когда я весь извелся от сомнений. Ты имела право распоряжаться своим телом – до замужества, после замужества – когда угодно, но имею я право знать, как ты им распорядилась, – не слышит он меня и талдычит свое. – Так водится в порядочных семьях. Правду, только правду и ничего, кроме правды. Я помешан на правде, это мой пунктик. Воспитан на русской литературе и еврейских традициях. А ты лжешь, как дышишь. Не отличая лжи от правды. Ты вся взошла на лжи, сызмала, да и могло ли быть иначе у вас в семье? А теперь ты переносишь атмосферу своего детства в нашу семью. Я устал играть роль твоего отца. Тебе придется теперь самой исполнять эту роль.

– Что ты городишь? Это ты установил атмосферу домашнего террора. Хуже моего отца. Вы оба – садисты. Но его скандалы были против мамы, хотя и мне перепадало, а твои – лично против меня. Повезло, нечего сказать.

Что он имеет в виду? Да, ложь – родной язык. Он прав: ложь во спасение. Без нее я бы не выжила. Отцу, мамаше, в школе, на улице – всем лгала. Я виновата, что так сложились семейные и советские обстоятельства? Вруша до мозга костей, зато свято верила всем и всякому, особенно мужикам, на чем и обжигалась.

Иногда вру просто так, не зная даже зачем, без надобности. А теперь вот ему, зная зачем. Для этого тоже есть какой-то термин, типа нимфомании, но мне совестно по такому пустяку тревожить дедушку Фрейда и шнырять по его бесконечным текстам – его книги занимают у моего мужа почетную полку. Вселенский учитель, ха-ха! А умный дурак знает его назубок и шпарит наизусть. Не всегда к месту. И не всегда в помощь. Некоторые явления так и остались дедушкой необследованными. Скажем, я. *Tabula rasa*. Вот муж и ломает голову столько уже лет. Это для него я загадка, но не для себя.

Вспомнила: мифомания – неспособность говорить правду. Ну, не до такой же степени. Нет, это не про меня.

Тут я вступаю за мою несчастную мамашу, на которую он не первый раз наезжает, выскакиваю из-за стола, не доев этого высушенного безвкусного противного омара. Он хватает меня за руку, всхлипывает. Зачем мы доводим друг друга? Он говорит, что уверен в моей измене. Даже если так – что с того?

– Если ты так уверен, что теперь тебе от меня надо?

– Есть разница между твоим и моим знанием. Когда и с кем?

– А зачем тебе это?

– А потому что у меня теперь все на подозрении. Ты ввергаешь меня в пучину, в паутину, в лабиринт невнятицы. Я блуждаю в потемках. Заколдованный круг сомнений и подозрений. Зачем мне на кого-то напраслину возводить? На кого-то из моих друзей или знакомых. Один говорил тебе сальности в Питере, другой назначал свиданку в Москве, третий тащил тебя к себе в номер в Вильнюсе, а ты ему сказала: «Ты же сам этого не хочешь...»

– Ну да. Только чтобы тебе отомстить. Вы с ним оказались в противоположных идейных лагерях – ты назвал его холуем. Вот он и хотел подложить тебе свинью. В последний день нашей командировки. Я ему и сказала, что он сам этого не хочет. Что здесь не так?

– А если бы он хотел тебя по-настоящему? Почему, Христа ради, ты не сказала ему, что ты этого не хочешь? Или, пожелав спокойной ночи, просто ушла к себе в номер? А на следующий день встречаю тебя на вокзале, и ты как-то слишком уж поспешно уволокла меня с платформы, не дав мне даже поздороваться с теми, с кем знаком. Не только с твоим искусителем. Чего ты стыдилась? Меня? Его? Что ты скрываешь? Что было между вами на самом деле?

– С ним - ничего, клянусь!

– А с кем? В том-то и дело, что они не только тебя кадрили, но потом намекали мне на связь с тобой. Спать с женой друга – все равно, что инцест, но это как раз их и возбуждало. Помнишь нашего крученого «подпольщика» – пусть земля ему не будет пухом! Как он гордился, что похож на героя Достоевского, и всё в себе оправдывал? Почему он бросил мне, что нет ничего слаще, чем спать с женой друга, нарушая табу, и вскочил на подножку уходящего троллейбуса, а я вспомнил, как ты бегала к нему в больницу во Внуково,

когда я был в Москве, ты жила там на даче с моими родаками и пасла нашего сына? Забыла? Даже те заподозрили неладное и выгнали тебя в город – чтобы сохранить то ли мою честь, то ли нашу семью. Он и без того делал мне много дурного из литературной подлянки, и я так и не понял, к чему относилась его фраза, когда он прилетел ненадолго в Нью-Йорк и позвонил: «Повесь трубку, если не хочешь со мной разговаривать». А потом вы пошли с ним выбирать ему какие-то шмотки, и, дотронувшись до твоей груди, он сказал: «Не изменилась». Сама рассказывала, а допытываться дальше я не стал. Унизительно как-то. Но вопросы остались – к самому себе: в него ты тоже была влюблена? Трахалась с ним? Если да, то он-то – не по влюбленности, а по гнуси. Они все были моими друзьями, а ты – по касательной. А те, кто хотел тебя отхарить, то опять-таки ради меня, а не ради тебя: чтобы сделать мне гадость или из мести. Ты была всем до фени – не в их вкусе.

– Эгоцентрист! Всё крутится вокруг твоего «я». Пойми, наконец, что не только ты существуешь на белом свете. Ты, что, не можешь представить, что я могу вызывать какие-то чувства сама по себе, и в меня влюблялись вовсе не как в твою жену?

– Потому что предполагали, что ты слаба на передок.

– Что за идиотское выражение: передок – это же лобок. А то, что ты имеешь в виду, находится между ног, посерединке между передом и задом.

– Что ты несешь? Какую это играет роль? Это же образ, метафора, идиома. Что мне говорить «слаба на середок»? Ты уже как-то пыталась переиначить поговорку: не «бодливой корове бог рог не дает», а «бодливой корове бог рогов не дает». Почему один говорил тебе, что ты сама его хочешь, другой совал тебе член в руку, третий просто тащил тебя в койку.

– А кто тащил меня в койку? Что-то новенькое.

– Да этот с пошлой фамилией Певцов. Шапочный знакомый – впервые познакомились на чьей-то днюхе. Но стоило мне уехать в Малеевку, он тут как тут.

– Это ты - пошляк! Он не тащил меня в койку, а просто предлагал встретиться.

– А для чего? Святая простота. Чтобы жениться на тебе? Жена у него уже была и двое детей.

– Я виновата, что он мне позвонил? Что у тебя такие приставучие приятели?

– Почему он другим не звонил?

– Откуда ты знаешь? А если он Дон Жуан? Мимоходный эпизод – я тут же тебе рассказала. Я не несу ответственности за чужие мысли.

– А за свои? Улица с двусторонним движением. То, что ты называешь влюбленностью, есть похоть. Я в полном дерьме.

– Ты это уже говорил. Повторы сокращают жизнь.

– Ты тоже в дерьме. Коли тебя так воспринимали.

– Как?

– Как всеобщую давалку.

– Как ты смеешь!

– Почему к другим женам не подваливали?

– Почему я знаю? А не потому, что я более привлекательна, чем они? За кого ты меня принимаешь? Как тебе не стыдно!

– Это тебе должно быть стыдно. Стыд, срам и позор. Ты меня компрометировала всюду. В Грузии, в Москве, в Питере, в Вильнюсе, где еще? Так низко, как тогда в Сванетии, ты еще не опускалась никогда.

– Да?

– Я стал жертвой заговора. Нас рассадили, а потом разлучили и встретились мы только на следующий день в Тбилиси. Шел дождь, а приятель Нодара, который должен был везти меня обратно в Тбилиси, сказал, что у него дворники свистнули – такие, мол, здесь у них нравы. Наутро дворники, понятно, нашлись. Настоящая интрига, ты участвовала в заговоре против меня. Пусть и пассивно. Хотя теперь, прокручивая диск нашей жизни назад, я уже ничего не знаю. Сознательно или бессознательно – какая, к черту, разница! Всем было ясно, куда вы с ним отправились. Кроме меня: да, муж узнает последним, но чтобы спустя столько лет! Нодар – карьерный интриган, но я никак не думал, что его козни, когда он уже проиграл главную интригу своей жизни, будут направлены против меня, гостя. Как-то не по-грузински. Если он тебя не поимел, то уж меня сымел точно, на глазах у всех, никто из наших хозяев не сомневался, для чего нас с тобой разъединили, а вас с ним соединили. Правильно Кремль сцапал у них территории. Нодар – поц, козел и задница.

А тогда я в упор ничего не видел – был наивен, чист, доверчив. Так бы и помер в неведение, если бы ты сама не призналась, незнамо почему, что была влюблена, хоть я на тебя не давил, а генитальной демонстрации значения не придавал – ты сама говорила, Нодар был вдрызг. Было – и былшем поросло. Но коли теперь раскололась, колись дальше. А тогда я совсем не ревновал, с ума сходил, думал, ты погибла на этих крутых сванских дорогах, где одна семья ездит в разных машинах, чтобы не все погибли.

– А я, думаешь, за тебя не беспокоилась? Ты же сам упросил свезти нас в Сванетию. Вот и добился, чего хотел. Если тебя так терзает тот грузинский эпизод, то для меня он тоже был унизителен.

– Эпизод? Ты называешь заговор эпизодом?

Была ранняя весна, деревья стояли голые, снег стоял, дороги в Сванетию только-только открыли, но все равно были смертельно опасны, круто забирали высоко в горы, нас заносило на резких поворотах, а под нами обрывы: смотреть невозможно, голова шла кругом, я поменялась местами с Нодаром, отсела от окна, закрыла глаза. Он взял мою руку, успокаивал: спасибо. Что Кахетия, что Сванетия, что Иберия – я была влюблена в Грузию целиком, пока моя географическая влюбленность не сфокусировалась и сосредоточилась на одном человеке – Нодаре. Да, он напоминал мне того университетского профессора, так же приволакивал ногу и так же был деликатен, осторожен со мной. Та же возрастная, а точнее, поколенческая разница, а я всегда предпочитала сверстникам людей пожилых, вот и запала сначала на одного, потом на другого. Муж сказал бы: тоска по отцовской фигуре, а у меня в самом деле вместо отца был антиотец: ненавидела и ненавижу до сих пор, хоть он и умер. Есть за что. Пусть нет – да нет и вспоминаю его громадный член с каким-то смешанным чувством страха, ужаса и экстаза. А теперь еще муж говорит, что любит меня отцовской любовью и даже его ревность того же свойства: как бы со мной чего не стряслось. То есть я – папина дочь под отцовским присмотром.

– Папочка! – не выдерживаю я.

– Дура!

– Мы разминулись во времени, – сказал тогда Нодар в автобусе, сжимая мою руку. – Я старше вас не на годы, а на целое поколение.

Еще один папа? Я ответила на его рукопожатие и успокоилась.

Думаю, мы оба были влюблены, но была разница с университетской влюбленностью: тогда – девчонка, а в Грузии – замужняя женщина с некоторым любовным опытом, что отрицать? Присутствие супруга? Нет, не мешало. Наоборот! Хорошо, что был рядом – две недели, за исключением всего одной ночи. А что было бы, будь я в Грузии одна? Когда мы с мужем оставались вечером вдвоем и занимались регулярным супружеским сексом, я представляла – да, да, да! – на его месте Нодара. Закрываю глаза – Нодар, открываю – муж. А мой умный дурак ничегошеньки не сечет.

Сама не знаю, как мы миновали, наконец, эти ужасные скалы и въехали на плато, как оказались с мужем в разных концах огромного свадебного стола во дворе под навесом то ли от солнца, то ли от дождя. Нодар рассказывал о нелюдимых сванах, которые, в отличие от более-менее цивилизованных жителей равнины, живут дико, изолированно, сами по себе, любой долгий взгляд расценивают как вызов, а на их женщин смотреть и вовсе не полагается. Тамада, алаверды, вино лилось рекой, кувшин за кувшином, Нодар мне все время подливал, и когда тосты за живых были исчерпаны, стали пить за покойников – согласно здешним фольклорным представлениям, мертвецы живы, пока их помнят и за них пьют. А когда пошли мужские танцы, я и вовсе обалдела: в жизни такого не видела и больше не увижу. Как будто на машине времени перенеслась на много столетий назад. А тут еще Нодар шепчет мне что-то в ухо, не сразу доходит.

Здесь надо уточнить: хоть я пошла по другому, тоже филологическому, но более банальному пути, а работала и вовсе завлитом в театре, однако по образованию – классицистка: изучала древние языки, и любовь к греческой истории и особенно мифологии – навсегда. А Сванетия – это и есть древняя Колхида, куда прибыли аргонавты во главе с Ясоном и, с помощью влюбленной и коварной Медеи, похитили вожденное золотое руно. Ну, не фантастика ли? Я не о самом мифе, а о том, что попала на место его действия, и сваны – колхидцы, околдованные во времени. Вот что шепчет мне Нодар, фливорно комментируя древний сюжет:

– Пусть фиванский цикл с царем Эдипом и женой-мамой Иоакастой и глубже, но расхожее после Фрейда клише, зато в «Аргонавтах» такой разветвленный сюжет предательства и измен: любовь

преступает через всё. Медея обманывает отца, убивает брата, а потом собственных детей – и все из любви.

Что он имеет в виду? На что намекает? Ну и надралась я. Потом я пытаюсь найти мужа, Нодар мне вроде помогает, но моего нигде нет – оказывается, один из наших гостеприимцев повез его по соседним селам: «Встретитесь в Тбилиси», успокаивает меня Нодар, мы оказываемся с ним в машине на заднем сиденье, за окнами хлещет дождь, меня клонит ко сну, Нодар снова берет меня за руку, и я чувствую в ладони теплую, живую, подрагивающую плоть, точь-в-точь, как у мужа, приятно. Так и есть, наверное: при опьянении организм считает, что близок к смерти и инстинктивно стремится к продолжению рода – причина пьяного, бессознательного блуда как мужского, так и женского, едино. Но тут я просыпаюсь, прихожу в себя, отдергиваю руку. Адюльтер по пьянке или по случайности, по любому, бессознательно – этого еще не хватало! Вместе с хмелем и сном исчезает аура всей нашей поездки, Грузии, Нодара, который мирно похрапывает или делает вид, что спит, а я делаю вид, что верю ему. Или мне самой всё это приснилось?

Потом шофер выводит Нодара на свежий воздух – то ли отлить, то ли отблевать. Возвращается и уж точно засыпает по-настоящему. Меня отвозят в гостиницу, шофер предлагает проводить, но я отказываюсь и взлетаю по лестнице. Меня всю трясет. Засыпаю под утро, а моего все нет. С ума схожу от страха, в голове самые дикие картины. Уверена, что погиб. Что теперь делать? Вся вина на мне. Как я могла? Да, заговор, чтобы оставить нас с Нодаром одних и чтобы я ему отсосала. Ненавижу Нодара с его хером люто. Но ловлю себя вдруг на том, что когда он положил на него мою руку, я ее, кажется, слегка сжала. Машинально. Была пьяна и как во сне. Но тут же проснулась, отдернула руку и отсела от него как можно дальше, насколько позволяла теснота салона. Все равно – участвовала в заговоре уже тем, что влюбилась. Ощущаю гадливость к самой себе – при чем здесь Нодар: он ответил на немой призыв, который исходил от меня. Если с мужем что-нибудь случилось, это плата за мое предательство, никогда себе не прощу. Но он является после полудня, весь трясаясь от страха за меня. Его увезли по близлежащим селам, а потом ливень, дворники, заночевали в избе, где их обильно поили и угощали, хотя он умолял поехать в Тбилиси несмотря ни на что. Ни-

какой ревности, никаких подозрений – один только страх за меня, как у меня – за него. Мы оба так изнервничались и изголодались друг по другу, что, не успев даже раздеться как следует, занялись любовью, и так до самого вечера, а в ресторан пришли еле живые, сильно припоздав. Нодар был комильфо, как ни в чем не бывало – будто ничего вчера ночью не произошло. А что произошло? Зря все-таки спустя столько лет я сказала моему об этой интрижке. О других же помалкиваю.

О том же Володе.

Честно, нравился он мне очень. Именно тем, что не мужчина. Ну, не настоящий мужчина. Мальчик. После brutального отца, который ко мне приставал, я мужиков с ярко выраженным мужским началом за версту не выношу. Муж это чувствовал и долго приручал к себе – спасибо. Медленный такой процесс привыкания. А Володя шутил: «Я тебя люблю в качестве исключения. Как сорок тысяч братьев». С шуток и началось. Мне уже было двадцать семь, а ему лет двадцать, вряд ли больше.

– В известном смысле я девственник: не знал ни одной женщины. Можно тебя хотя бы коснуться?

Это когда мы, так случилось, остались одни.

– Тебе можно всё, – рассмеялась я, уверенная, что касанием дело и ограничится. Пусть касается – жалко, что ли?

Осторожно просунул руку в вырез блузки и бережно взял в руку мою титьку, словно взвешивая:

– Какая маленькая. Размер?

– Третий.

И тут вдруг такой нежданчик! Без всяких предупреждений, привычным таким жестом, другую руку засунул в мое сырое место, не успела опомниться, так всё было неожиданно:

– И тут совсем малюсенькая. Детский размер! – удовлетворенно сказал он.

– Потому что нерожалая: кесарка.

– У меня самого маленький. Ты ничего не почувствуешь. Будешь моей первой и последней.

– *Festina lente*, – и силой вынула его руку, хотя, честно, ничего против не имела да и слегка выпила. Даже любопытно: до чего женщина может довести гомика?

– Что, что?

– А то! Торопись медленно. Ты, что, совсем латынь не знаешь?

Он подумал и вдруг выдал:

– *Bisdat, qui cito dat.*

Тут перевод понадобился мне – у нас в голове засели разные латиницы.

– Вдвойне дает тот, кто дает быстро, – сказал он. – По-быстро-му, ОК? И никто никогда не узнает.

– Но мы-то будем знать?

Не уловил:

– Мы не в счет. Клянемся.

Ну, мы и поклялись.

Обошлось без поцелуев – только с мужем!

И еще сестренкой почему-то назвал. Как я могла ему отказать? Вот я его и пожалела. Всю инициативу взяла на себя. Даже кондом ему натянула, когда он расстегнул ширинку и вынул пенис – не такой уж маленький, зря прибеднялся. Зато раздеться мне не дал – женская обнаженка, боюсь, погасила бы его любовный пыл. Только платье задрал, а трусы я сама сняла. Тыкался, как слепой, а потом попросил:

– Помоги мне, – и я ввела его член по назначению.

Застенчивый такой, пугливый, ненужный разврат – не разврат, а так, развратец. Немного струхнула, но потом успокоилась. А что было? Ничего, считай, не было.

Так Володя потерял со мной девственность, а я – когда и с кем?

В Питере? Профессиональный мужской напор и томление девичьей плоти. Вот именно: нетерпение плоти, а не сердца. Причем здесь сердце? Совсем другой орган. Уже само предвкушение секса – это такое раскрепощение плоти, вспоминать сладко. Сладко и стыдно. Потому и сладко, что стыдно. Как там сказано в теории относительности: за притяжение влюбленных гравитация не отвечает. А тут никакая влюбленность не ночевала – одно тяготение друг к другу, зато какое мощное, влюбленности такое не снилось. Гравитация, но на сугубо индивидуальном, телесном, плотском уровне. Полная дестабилизация личности.

Да, я не была замужем и вправе делать со своим телом, что хочу: как бы я им не распорядилась – мое дело. Не рассказывать же мне

теперь, как Александр привел меня к себе в мастерскую и стал показывать свои линогравюры с питерскими ведутами – и что было дальше. Откупорил бутылку шампанского – пробка в потолок, как сигнал к действию. Чтобы это у него была такая сексуальная стратегия – спойть меня и ослабить девичью оборону? Даже если так! Ну и что? Как-то ему надо было ко мне пробиться сквозь весь этот треп о литературе и архитектуре. Понимаю и оправдываю. Теперь. Шампанское кстати – оба охмелели и осмелели. Может, он не только меня, но и себя спаивал? Соблазнитель, искуситель, но и влюбленный тоже – как нам с ним хорошо было! Когда расправились с шипучкой, выставил на стол початую бутылку «Столичной» – такой ерш вышел, ну, впрямь, русская рулетка. Обжимались взасос, упоенно, но без поцелуев из-за моей брезгливости к чужой слюне – изнемогала от желания, в полной отключке, ничего не соображала. Знала только, что не уйти мне от него, обжималками дело не ограничится. Вот тогда он и сказал, что мы оба хотим друг друга, и повел себя круто: полез ко мне между ног всей лапищей, порвал колготки и, когда добрался до промежности, оттуда текло, как из крана, забытого закрыть. Нет, он сказал это после того, как его рука вторглась, как завоеватель, в мое мокрое место – вот он и убедился. Не мужской прием и не наступательная стратегия, а простая констатация факта: «Ты хочешь этого не меньше, чем я». – «Больше! Больше!» – молча кричала я, заласканная, размятая, разогретая, возбужденная, подготовленная, но так и не трахнутая в Москве, а здесь, в Питере, это было неизбежно, входило в программу, как апогей наших с Александром бесконечных прогулок по чудному, таинственному, умышленному городу. Вот наше соитие и было тайным умыслом Петербурга, мы оба знали это и хотели одного и того же, и я даже сильнее, чем он, потому что у него был сексуальный опыт, а у меня – ничегошеньки, никакой разрядки, вся истекала теплой влагой, по ногам текло. Первый в моей жизни коитус!

И все бы так и случилось, как мы оба хотели, если бы я вдруг разом не пробудилась, не протрезвела и – нет, не испугалась, а мигом, по ассоциации, вспомнила, как ласкал и заласкивал меня там мой будущий муж. Очень осторожно и нежно. Здесь по-другому: Александр на этом не остановится. По мне пробежала этакая мнемоническая искра! Вот я и сказала, что мне в нужник – в тех услови-

ях это было естественно: лицо горит, между ног потоп. Быстро подмылась, обрызгала водой лицо – и свалила. Может, зря? Нет, не на того муж думает: порча – да, но до блуда не дошло. Хоть и закрутило меня тогда, но как-то выкрутилась, бог свидетель. Сама не знаю как, удержала себя под контролем, не раскинула ноги, не впустила в себя. Да и влюблена не была. Если что и было, то снизу шло: либидо было впервые целенаправленно.

Возможны, конечно, альтернативные, то есть гипотетические варианты: что было бы, не достань я билет на поезд и задержись в Питере? Честно, не знаю. В самой себе не уверена. Именно поэтому мне так трудно моего убедить, что ничего такого – этакое со мной в Питере не стряслось. Чуть не стряслось, но ведь не стряслось! Сама не знаю, как мне удалось тогда этого избежать, тем более, шампанское с водкой на меня шибко подействовали, первый раз так назююкалась. В подробности лучше не вдаваться – про историю в мастерской: рука его там была, но не член. И рука была другой, чем у мужа: пальцы длинные, как у пианиста или хирурга. Сильные, властные, как у папаши, когда он ко мне приставал, а мама в роддоме, еще одну девицу рожала себе на горе – после уроков я специально в школе задерживалась или шла к подруге, только чтобы с ним вдвоем не остаться, а тут маму в больнице на ночь оставили. А у мужа пальцы маленькие – детская ручонка. Может, из-за папаши и удрала – с детства психически ушиблена на этом. Зато флешбэк на всю жизнь – как будто это было полчаса назад, всю трясет, когда вспоминаю. Честно, теперь немного жалею, что сделала ноги: семь бед – один ответ. Все равно мой никогда мне не поверит: лучше страдать за то, что было, чем за то, чего не было. Чистая правда: муж у меня первый. Хоть доказательств никаких: ни страха, ни кровинки, ни боли. Так только – чуть-чуть. Может, и показалось. Не в счет. Сама силой втянула его в себя, слишком долго он осторожничал – считай, изнасиловала. Шутка, конечно.

А с Володей почти ничего не почувствовала – как, оказывается, 14% статистических женщин. Нет, не фригидки – что-то другое. Асексуальные? Трудился-трудился, да так и не кончил – женщины не для него. Просто попрыгали на диване. Гимнастика, а не секс. Но вынуть я ему сразу не дала и чувствовала, как его член скукоживается у меня там от страха и чувства вины, что нарушил какое-то

страшное для них табу. Если бы его муж узнал, убил бы, наверное: не просто измена, а с женщиной! А если бы мой муж узнал, с кем я ему изменила? Пока был во мне, было приятно, хорошо, щекотно. Не выдержала и рассмеялась. Он – тоже. И тут же вынул свой увядший член, оставив во мне пустой презик. Сама вытащила его, сидя на стульчаке – и он исчез в водовороте в унитазе. Чем не символ? Конец связи.

Можно ли утратить девственность, не будучи девственником? Но с женщиной он впервые, и я удовлетворила – нет, не похоть, а любопытство: выходит, они все-таки не совсем безнадежны. А для меня какая ни есть, пусть пустячок, анекдот, смех да грех, а все-таки первая измена, выход за пределы матримониального опыта. Расстались друзьями – никогда больше. Да, сестренка – теперь он мне как младший брат. В чем мне теперь признаваться? Тем более, мы с ним поклялись друг другу молчать. Клятва есть клятва. Не подводить же его. А ревновать здесь ни к чему. Не к кому. Что было? Да ничего не было! Легкая интрижка, проходной эпизод, ничего не значит, один разок трахнулись через резинку, да и то не дотрахались! Разве это траханье? Чуть только возбудилась, а потом с мужем добрала. Моногамия без супружеских измен – такая же патология как девственность.

А как же Ларошфуко: есть женщины, не изменяющие мужьям, но нет изменивших только однажды? Стоит только начать, да? То есть перейти Рубикон. Тогда я легким испугом отделалась – угрызений совести никаких. На то и вечные эти афоризмы, чтобы проверять их каждый раз наново. Вот пусть муж и проверяет, коли неглупый дурак – сомневается, мучается, сходит с ума от невнятицы, сам себе и мне кошмарит жизнь. Я ему не в помощь. Всё лучше, чем знать правду. Слишком долго объяснять – что к чему, когда и с кем? У него крыша поедет. Это же мои секреты – никакого к нему отношения. Как можно в любви без вранья?

Что может быть прекраснее любовной лжи? Разве только сама любовь.

Не ложь, а тайна любви.

Ложь и есть тайна любви.

Тайна за семью печатями. Любовь, как и женщина, рождается запечатанной, но девственность – за одной печатью, а любовь – за семью. Это тебе не целку ломать, прошу прощения за грубость.

Кто это из британских франкофобов сказал, что Ларошфуко повторяет избитые истины? Когда как. Насчет женщин, которые либо не изменяют мужьям, либо изменяют им не один раз – так и не так. Но об этом лучше молчок. Даже самой себе. Амнезия – инстинкт самосохранения. Пусть мой умный дурак путем индукции, дедукции, интуиции и психоанализа высчитывает сам – когда отгадывает, когда пальцем в небо. Если бы он сосредоточился и не расплылся, отбросив побочные варианты, угадал бы. Ну, не оторва же я, чтобы спать со всеми, кого он подозревает! За кого он меня принимает? Он говорит, что замужки, с которыми он имел дело, тоже вполне порядочные дамы, их не представить с чужими мужиками, даже с собственными мужьями трудно вообразить за этим делом. То есть с виду ни одна из них не шлюха, но по сути шлюха – каждая. «Чем ты лучше или хуже других?» – вопрошает. – «Статистическое исключение? Если ты одинока, то у какой-то женщины враз два любовника».

И вдруг переходит на английский и шпарит наизусть, как по писаному:

– *But my dear sir, if men have affairs with a certain amount of women each, women must be there for those affairs. It cannot be the one and only woman for all of them. It would seem logical, therefore, that there would be roughly the same amount of women having affairs, as there are men. Otherwise, there would be no women for men to have their affairs with.*

– Откуда это?

– Да есть здесь один умница из Аляски по имени Eugene Solovuyov. Точное наблюдение. Ты не согласна?

Что он от меня хочет? И хочет ли? Признание – проверка любви? А выдержит? Может, рассказать ему для отвода глаз про мое невинное, через резинку и без оргазма, сношение с голубым девственником Володей? Хоть какой прорыв.

– Сказать или не сказать? – думаю я, когда под вечер, помирившись, мы отправляемся в Монток-Харбор и ждем рыбаков, чтобы купить голуборыбицу, которая хороша только в самом свежем виде: оба ее обожаем, и в Нью-Йорке я приготовлю шикарную жаренку с грибным гарниром – пальчики оближешь. Но первым приходит пароходик с охотниками за морским окунем, и мы приобретаем одного гиганта, обкладываем его льдом, кладем в походный холодильник и в мотеле с видом на океан восстанавливаем наши постельные

отношения. Ни слова ревности. Выпустил пар. С ним так сплошь и рядом.

Нет, влюбленность – не похоть. Бери выше: страсть. Похоть обезличена, все равно с кем, с первым встречным, с кем попадая, ни с кем, невыносимый зуд, который никак не утишить самой, сколько не онанируй, хоть до потери сознания, а я была неистовой мастурбанткой. Так случилось у меня в Питере, Александр просто под руку попался. Только я от него сбежала – испугалась его мужской напористости и собственной девичьей необузданности. Может, зря. А с Нодаром и вовсе ничего не было, рутина семейной жизни наскучила, какие-то смутные ассоциации с моей студенческой влюбленностью, вот и шевельнулось что-то во мне под занавес моей женской жизни, но стоило Нодару сунуть мне в руку свой пенис, всё тут же и прошло: тоже мне невидаль! В руку, в руку – и никуда более. Хмель как рукой, мигом с неба спустилась на землю: Нодар возбуждал меня в штанах, а с расстегнутой ширинкой – нет. Из-за папаши у меня с детства идиосинкразия на их детородные органы. Обычно мне туда руку суют, а здесь впервые наоборот: на кой мне его вялый член, который я еще должна приводить в кондицию, когда у меня всегда в наличии и наготове стоячий член мужа. Страсть – совсем другое дело. Страсть целенаправленна и всеобъемлюща. Это и есть любовь: физическая, душевная, духовная, какая угодно.

Один гений не любит другого: Толстой – Шекспира, Набоков – Чайковского. Будучи гением, он тоже не любил Чайковского – нет, не из моды, а за прямоговорение: что у того, всё открытым текстом. А я люблю как раз за то, что открытым текстом. Не любить Чайковского такой же банал, как любить Чайковского – разве в этом дело? Пусть патетика, а страсть не патетика? Амок – не похоть, а страсть. У кого еще в музыке так прямо, открыто про любовь мужчины и женщины? Даже странно, что Чайковский гомосек, любил мальчиков – и совращал их: вот бы их с Володей свести. А Пруст? Какие там девушки в цвету, когда юноши в соку! Но Пруст нет-нет да выдавал себя, а Чайковский – никогда. И я себя не выдам – ни себя, ни нас. Жена музыканта – это я? Зачем он рассказывал при муже? Чтобы замести следы? Или чтобы поддразнить других мужей, моего включая? С него станет. Даром, что ли, сам себя монстром называл?

Не знаю, искренно ли он жалел о нашем быстротечном романе,

но я – нисколько. А чего жалеть? Звездный час в жизни женщины. Такой классный секс не грех, а в радость. Какая там седьмая заповедь! Это случается раз в жизни, разве можно от такого отказываться. Наоборот, жалела бы, если бы этого у нас с ним не случилось. Может, и переживала бы как моральное падение, если бы не предыдущая игрушечная измена с голубым Володей, которая ничем не кончилась ни для меня, ни для него. А здесь по большой страсти, пусть любовь-безнадега, хотя он тоже подзавелся, ручаюсь! Ну да – был влюблен в меня. Не так, как я, конечно, – никакого сравнения. Такого секса у меня никогда не было – ни до, ни после. А у него?

Гений и есть гений. Он и в постели был на высоте – буря и натиск. Ураган! Вкалывал без усталости, вдохновенно, как будто стихи слагал. Но и я не отставала. Ну, чисто, нимфоманка. Маленько себя даже сдерживала, чтобы не спугнуть его – чувствовала, он из тех мужиков, которых гиперактивные женщины не под заводят, а смущают: он – Мэн, от него должна исходить вся инициатива. Пусть так думает, пусть обольщается. Мужики – сплошь наивняк.

Дымил непрерывно, прикуривая от огарка, и много потел. Потел, когда трахался, и курил в перекурах. Стишок мне по вдохновению выдал – суперский! На ходу сочинил и мне посвятил: так и не решаюсь нигде его тиснуть, хотя готовится дополнительный том его посмертных сочинений – «Несобранное». Письма, черновики, шуточные автографы, рисунки – и стишки. А который мне – отличный стих, но если опубликуют, муж все поймет. А сколько у него еще таких тайных любовных экспромтов, сочиненных на случай? А вдруг – тещу себя – такой стишок, как мне, единственный?

Мелькнуло у него тогда чувство неловкости – или мне только казалось? Из-за моей прыти либо по причине табу? Не успевал вынуть, как у него опять дыбился, и он набрасывался на меня снова. И я под стать: два сексуальных автомата. Запретный плод сладок: сексуальный энтузиазм от морального табу – жена приятеля? Похоть выше морали либо за ее пределами. А я? По любви, да? Муж прав: на седьмом небе. Безостановочный секс, оргазм за оргазмом. У обоих.

И что поразительно – никаких там поцелуев, а харились кустарно, никакого разнообразия, никакой Камасутры, в одной и той же позе – пасторской. А зачем разнообразие, когда и так хорошо? Ну и осел этот доктор Джонсон: поза смехотворная, удовольствие

мимолетное, а расплата суровая. Категорически не согласна: поза прекрасная, удовольствие можно повторять до бесконечности, пока сама не выдохнешься или партнер, а расплата – да, что делать, случается, того стоит.

Когда кончала и готова была вопить, он закрывал мне рот ладошью и шептал: «Соседи». А потом перестал: он умел глядеть на всё это со стороны, и ему нравилось, что способен принести женщине *неизъяснимы наслажденья*, как сказал его предшественник: гордился собой как альфа-самцом. Мен! Один раз только, еще лежа на мне, прошептал, еле дыша: «Приступы синхронной эпилепсии». – «Отдышись сначала», – сказала я, сама еле живая от взятого нами темпа.

Классический случай, да? Либидоносный муж в командировке, любовная с ним переписка по мылу, вынужденное воздержание, я простаивала, испытывая физиологический голод и дискомфорт. Форс-мажор. Bedazzled, ослеплена желанием. Хотела, как простая баба, все равно кого. А чем я отличаюсь? Под одеждой мы все голые. В самом деле, не превратилась ли моя детская членофобия во взрослую членоманию?

«И эта лошадь снова ржет несыто» – стишок не про то самое? Зверь между ног, да? По-французски женского рода – фильм про женскую похоть у Валериана Боровчика так и назывался «Labête». Оголодала. Долгой разлуки с мужем не выдерживаю – да, хочу не его, не только его, все равно кого, на любого кидаюсь: мысленно. Желание в сочетании с влюбленностью. Первая измена все равно, что первое соитие? Не знаю. К тому же, не первая. А голубой Володя не в счет? Не то, чтобы всё позволено, но Рубикон перешла. Но то была не настоящая измена, а так, понарошку, зато эта – самая что ни на есть. Наоборот, жалела бы, если бы ничего тогда меж нас не случилось и ушла бы не солоно хлебавши.

Работала тогда завлитом в театре, главреж пытался пробить его пьесу, которую он с горя сочинил оттого, что его отпадные стихи не печатали. А театр – на Малой Бронной, в нескольких кварталах от его дома, вот и забежала, экземпляр с режиссерскими поправками, которые он потом все учел, но пьесу все равно не разрешили – не судьба. Могли курьера послать, я сама вызвалась. Моя инициатива. Знала, зачем и на что иду? А он – знал? Догадывался? В окно меня выглядывал, буравил, наверное, глазами пустое пространство, а

когда увидел, что я его вижу, довольный осклабился. А я – ему, и вприпрыжку по ступеням: какой там лифт! Открыл дверь до того, как я позвонила. И повел – не просто в свою комнату, а напрямик в кровать. Неправда, что сама затащила его в койку – он тоже на меня запал: желание, а не просто «не прочь». Нас давно тянуло друг к другу, ну да – флюиды. С тем хорошо..., с кем и без – хорошо. Точка.

А я так торопилась, что запуталась в своих шмотках, раздеваясь. На одной ноге скакала – никак трусы не снять. А он уже голый стоит – во всей своей рыжей красе и весь в веснушках: лыбится. И – понеслось. Какое там прыгали – летали. Полет валькирий. У меня до сих пор музыка в ушах, когда вспоминаю тот улетный секс. Захлеб. Никогда больше такого со мной не было и не будет.

У него был свой амок – та самая зазноба, которую он любил больше, чем ангелов и Самого, которого вряд ли любил: так и не воцерковился. Прикипел к своей музе-путане на всю жизнь, до самой смерти, и даже его мстительный антилюбовный стишок под занавес жизни, когда его снова потянуло на поэзию, а то со стихами полный застой, как он говорил, на самом деле любовный, последний, предсмертный: всё не шла из его больного сердца, как заноза. Иногда мелькает в мужниных проскрипциях. К счастью, не на главных ролях. А тогда я просто не могла не подзалететь: какой там безопасный секс, когда я набросилась на него, как шальная. Музыка без слов – одни только с трудом сдерживаемые стоны: мои. Хотя не из крикливых, а тут повизгивала, как поросенок. Трахались в лом, сделались по полной программе. На работу в тот день не вернулась, домой пришла за полночь. Единственный раз в жизни почувствовала, как мужской спермий проник в мое яйцо.

Как это муж не заметил, что на этот раз обошлось без семейных скандалов, которые обычно у нас этим делам сопутствовали? Или заметил, но считает кощунством свои подозрения? Тогда он был не при чем, но не устраивать же мне скандал гению из-за аборта. А рожать от него в надежде на клон и вовсе пустое дело: на детях гениев природа отдыхает. Он самолично это доказал, родив от своей зазнобы дауна, которого стыдился. А охотницы за спермой Нобелевских лауреатов? Результат: все их бэбички – сплошные заурядности и разочарования.

На этом мой роман кончился – так же внезапно, как начался. Роман в никуда, без никакой перспективы. А любовь? Я говорю про

теперь. Не знаю. Можно ли любить мертвеца? Но вспышка была такая сильная, до сих пор дрожь пробирает и тоска берет. Подфартило. Апофеоз моей любовной жизни.

А муж пусть еще спасибо скажет, что я к нему вернулась, а не осталась сама по себе. Честно, трудно было к нему после этого привыкать.

Почему я хочу остаться в его глазах невинной? Хочу умереть невинной? Зачем? Может, рассказать ему всё как есть? Или хотя бы об одном моем любодеянии?

О каком?

Вот в чем вопрос.

Молча мчимся в Нью-Йорк, а позади нас лежит рыба-кит во льду. Знаю, о чем он молчит. Не выдерживаю первой. Ну что ж, пора. Правду, только правду и ничего, кроме правды.

– Хочешь знать правду?

Тихо, как в гробу. Может, мы давно уже умерли?

– Нет, не хочу, – говорит он.

Владимир Соловьев – русско-американский писатель, эссеист, журналист, мемуарист и политолог. В одиночку и в тандеме с Еленой Клепиковой напечатал сотни статей в престижных СМИ по обе стороны океана – от «New York Times» и «Wall Street Journal» до «Московского комсомольца» и «Независимой газеты», и издал немало книг. Среди них «Yuri Andropov: A Secret Passage Into the Kremlin», «Inside the Kremlin», «Boris Yeltsin: Political Metamorphoses», «The Paradoxes of Russian Fascism».

Острые и парадоксальные, на грани фола, произведения Владимира Соловьева – такие, как написанная еще в России горячая исповедь «Три еврея», роман-биография «Post mortem. Запретная книга о Бродском» и исторический роман о современности «Семейные тайны» – неизменно вызывают шквальную полемику в среде читающей публики.

В последние три года выпустил в Москве десять книг, включая мемуарно-исследовательское пятитомное «Памяти живых и мертвых», предсказательную книгу о Трампе задолго до его победы на выборах и «США – pro et contra. Глазами русских американцев».

Постоянный автор журнала «Времена».

Марина ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР

В ОБЪЯТИЯХ ЭРОСА

ОДНИ СУТКИ

Вечер
прикосновение
притяжение
поцелуй

Ночь
объятие
обладание
одинокчество

Утро
грёзы
грусть
голод

День
завтрак
заботы
забвение

ШОК

Мой Бог –
то был волшебный шок
когда прижав свои ладони
к твоим
я ощутила ток

идущий сверху в трюм бездонный
и потому ступивши в лифт
слились в протяжном поцелуе
создавшие манящий миф
любви – ликуя и тоскуя
и позже пело песнь свою
всевластье тел соотношенья
на невозможности краю
достичь предела сокрушенья
опять в объятиях твоих
плыву в пленении незваном
и чувства пламенный триптих
рисует уровень нирваны

Я НА ПЛАМЯ ЛЕЧУ
распластав свои крылья по боку
я чего я хочу
не известно и Господу Богу
заметалась в тоске
по любви
все сомненья отбросив
как душой ни криви
подступает коварная осень
буйством красок разит
наповал
обнимая нарядом
а в ресницах сквозит
холодок
ворожа снегопадом
но объятий замок
жжёт огнём ниоткуда не жданным
поцелуя клинок
отзывается стоном желанным
и истомой пьяня
плоть твоей покоряется силе ...
как же долго меня
на руках не носили!

СЛОЯТСЯ В НЕБЕ ОБЛАКА
обозначая берега
ещё невиданной реки
воспоминаний и тоски
по силуэтам прежних дней
ушедшей юности моей
что сохранили божий дар
души немеркнувший пожар
и передали его мне
по той несмолкнувшей весне
когда моя просила грудь
принять
любить
кого-нибудь
Адонис сверзился с небес –
а что любовь?
И Бог
и бес ...

НАВЕРНО Я СОШЛА С УМА –
я умираю от желанья
тобой – на вдохе – обладанья
в вечернем сумраке
зима
меня оставила в тот день
смятеньем одурманив тело
оно оттаяло и млело
поднявшись на весны ступень
как животворный солнца луч
в траве цветок пригреет бледный
и тот раскроется победно
и встанет – ярк и пахуч
так и от рук твоих тепло
меня вернуло к жизни прежней
и лёгким облаком надежды
в стихов пространство уплыло

СПАДАЛО ТОНКОЕ БЕЛЬЁ
и в одночасье обезумев
я тело отдала своё
без сожалений и раздумий
в твою пленительную власть
что нам готовил день грядущий?
но мы тогда любили всласть
и пребывали в райских кущах
развязки нам не избежать
она маячит на пороге
колосья страсти не пожать
и здесь бессильны даже боги
червлёной сладостью измен
не залатать чужие раны
что ты оставишь мне взамен
восторга близости желанной?
стихов раскованный полёт
смятенья позднего мерило
когда разбуженная плоть
во мне опять заговорила

МЫ БЫЛИ ВМЕСТЕ ВСЕГО ТРИ ДНЯ
и в эти дни ты любил меня
сплетались в экстазе наши тела
и музыка песней любви плыла
Тебя больше нет – остывает кровь
и вечный вопрос – была ли любовь?
Но память рук до сих пор хранит
прикосновенье твоих ланит...

НУ ВОТ И ВСЁ
мир опустел
в слепополуденном объятье
и оказалось не у дел
обворожительное платье
на сцену действие снизошло
и буйно расцветали краски

а сердце пламенем цвело
и не хотело жить без сказки
и сказка
руку протянув
его коснулась неслучайно
и чувство
до поры уснув
поверилось всевластьем тайны

Марина Тюрина-Оберландер – поэт, прозаик и переводчик. Член Союза писателей XXI века. Родилась в Ленинграде в семье выдающегося ученого-почвоведца, академика И.В. Тюрина. По образованию филолог-скандинавист. С 2000 года живет в Вашингтоне.

Переводы печатались в «Литературной газете», журналах «Иностранная литература» и других, альманахе «Поэзия», антологиях «Современная датская поэзия», «Современная норвежская поэзия». Книги «На остром рубеже пространства» (Водолей Publishers, 2008 г.), «Музыка слов» (Водолей, 2013 г.).

В 2014 г. на стихи Тюриной-Оберландер вышел альбом романсов и песен «Когда врывается любовь», музыку к которым написал композитор Виктор Агранович.

В 2018 году Тюрина-Оберландер за многогранную творческую деятельность была удостоена международной премии Леонардо да Винчи.

Она – член редсовета журнала «Времена».

Ефим ГАЛЬПЕРИН

БЛЮМА

Ну, это, граждане-товарищи, совсем никуда! Вся Москва снегом завалена, да не чистят ни хера! Кроме как в центре, на улице Горького и на Красной площади. Да ещё на Арбате для проездов Вождя. А ведь как-никак 1953-й начался, восьмой год без войны... Ну, никакого тебе порядка! Короче. Пру я, значит, между сугробами по натоптанной народом за день тропке. Уже трижды поскользнулся, мать их дворников! Вечер поздний. Мороз. Метель метет так, что за пару шагов ничего не видать. Вокруг ни души. И тут на тебе:

– Стоять! Ко мне! Кому говорю! – нарисовались передо мною двое. Светят фонариком прямо в глаза. Жирный в кожаном пальто корочкой своей тычет. Мол, «старший лейтенант такой-то». А второй, чую, за спину мне заступает. Во, бля, думаю. Залетел ты, Вася. Это ж какая сука меня заложила?! Может этот, новенький? Заика? Больше некому.

– Ты чего тут ночью шастаешь?! – Так ведь, учитель, – леплю я на ходу, – засиделся в школе, проверял контрольные.

– Учителей всю жизнь не люблю! С детства! – гнусавит второй. Я оглядываюсь. В полушубке. Нос длинный, и он его все время грязным платком вытирает. Сопливый!

– О, да ты, паря, я вижу, инвалид, – оглядывает меня Жирный, – Где правую руку потерял? – На фронте. – Не «самострел» часом? – Никак нет! Ордена имею. – Тогда ладно, учитель. Проехали. Ты, я так понимаю, левой рукой протокол подписать сможешь?

– Какой такой протокол, товарищ майор? – говорю я Жирному.

– Не товарищ, а гражданин... – поправляет он. А вот про майора не поправляет, хотя ведь в ксиве у него однозначно «старший лейтенант». Значит, тешит его, суку, майором зваться...

Но я то ведь по званию старше буду. На фронте капитаном был. Командир разведроты. Ростом я не вышел, но для разведки самый

размер. Языков на счету имею больше двух десятков. Однажды полковника-штабиста на себе притащил. Такой боров в центнер... К Герою представили. Но дали второй орден «Красной звезды». А девятого апреля сорок пятого в районе Кенигсберга... Выходили мы под утро из рейда, дошли до передовых позиций и тут, на тебе, угодили под минометный обстрел. Мина справа, мина слева, мина впереди... Очнулся уже в госпитале. Там и встретил победу. И медсестричку Дашу... Поженились. А домой вернулся... Сами понимаете, молодой, образование семь классов, да трехнедельные курсы младшего командного состава. И ещё руки нет. А ведь жена, дочка Любаша...

Короче, прибился я к... Бригаду сколотил и пошли мы «ломать» склады, магазины... Жить-то надо. Тем более что ещё сын Митька родился. Ну, с ним отдельная история...

– Да не бзди за себя, инвалид, – говорит Жирный. – Просто нам понятой для обыска нужен. А дворник, блядь, с женой лыка не вяжут. В зюзю упились!

– Дворников, сука, с детства не люблю! – гундосит Сопливый из-за спины.

– Так что, учитель, пойдешь с нами! – командует Жирный.

Ой, чую, завис. А ведь в трёх кварталах отсюда через полчаса должен стоять такой себе фургон. «Молоко». С корешами... Базу продуктовую брать в полночь должны. Консервов туда завезли сегодня немерено... И охрана там у нас в доле...

– Гражданин майор, мне это... Жена ждет. Волноваться станет.

– Давай-давай. Топай!

Понимаю, что в бега мне никак. Скользко. И метрах в десяти их автомобиль притулился. Фарами светит.

– Шевелись, инвалид! – Сопливый меня в спину, как последнего шныря из подворотни, подталкивает. – У нас на сегодня еще два ордера.

Зашли в подъезд. На третий этаж поднимаемся. Жирный звонок крутит «Дзинь-дзинь!»:

– Открывайте! Органы!

Дверь открывается. Жирный вваливается. Сопливый следом. И меня за собой втягивает. Квартира нехилая. Обставленная. Картины в рамах по стенам. Люстра старинная. Стол скатертью малиновой накрыт. Диван кожаный... Вазочки всякие. Ковёр на полу... Да,

думаю, будет этим крысам чем поживиться. Сейчас прошмонают. Колечки, камушки, серебро... Часть в протокол занесут, а часть зажухают. Но не моё это дело. Не моё... Хозяин квартиры такой... Евреец. Вроде молодой – лет тридцать пять – а уже лысоватый... И нос у него, будь здоров. Похож на нашего начальника штаба полка майора Махлевича. Жена такая себе... Симпатичная... Евреечка. И деток двое. К матери жмутся. Перепуганные. Лет восемь-девять. Мальчик и девочка. И больше на мать похожи.

– Гражданин Розенблюм? – рычит Жирный.

– Да, — отвечает хозяин квартиры.

– Самуил Абрамович? Тот кивает, а сам бледный как стенка.

– Вот тебе ордер на обыск, – суёт ему бумагу в лицо Жирный. – Этот инвалид за понятого будет. А ты, женщина, с выводком своим на кухню! – командует он жене хозяина. – И носа не показывать! Сейчас обыск сделаем и повезем вас... Ро-зен-блюм! «Убийца в белом халате», бля! Мало того, что ты врач-вредитель, так ты ещё и агент мирового сионизма, твою мать! – выдает он этому еврейцу.

– С детства врачей не люблю! – гундосит Сопливый.

И тут до меня доходит... Это же не ментура, Вася! Что же я с перепугу совсем нюх потерял?! Эти ж падлы не из МУРа! Эмгэбэшники, блядь! Те ещё волчары! Хуже СМЕРШа. Для них вообще закон не писан! У братвы нашей твёрдое правило – обходить их десятой дорогой. Ну, тогда оно, конечно... Эмгэбэшный старлей – это как раз по общевойсковой субординации на майора тянет. Только отчего же Жирный тогда повёлся, когда я его повысил в звании. Видать, недавно старлеем его сделали. А вот это вот... Про сионистов, я уже месяц слышу. Во всех газетах и по радио косточки им моют. Как там... «Подлые шпионы и убийцы под маской врачей». А ещё триндят, не затихая, про этот американский... Как его... «Жонт» или «Понт».

– Приступаем! – Жирный снимает пальто. На стул бросает. Пальто кожаное, немецкое трофейное на кроличьем меху. А ведь сразу видно, что он, гад, на фронте и дня не был. Даже в СМЕРШе не крутился.

– Ну, чего, гинеколог сраный! – Жирный рукава свитера закатывает. А свитер ведь тоже трофейный. Эсэсовский. Офицерский... Сопливый, смотри, тоже полушубок расстегивает...

– наших баб щупал... Нагрёб на абортах, – наворачивает истерику Жирный. – Небось, не рублики брал! Золотишком тебе платили бабы за вычистку... Лопатой грёб, Са-му-у-ил! Давай, показывай, что где прячешь, сука!

Ну, все, думаю я, запрессуют мужика. Размажут. Вон уже стоит этот интеллигент Розенблюм ни живой ни мёртвый. Губы дрожат... Неровен час, кондратий хватит... Ладно, Вася, говорю я себе, в конце концов, это их дело. А у меня своё – побыстрее отделаться и валить. Там ведь кореша ждут.

И тут меня молнией шибает! Аж дыхание сперло. Розенблюм! Гинеколог! Как же я не признал?! Ну, да. Просто я его тогда в белом халате видел, да в белой шапочке. А тут... Так. Охуел ты вконец, Василий! Мышей совсем не ловишь. Значит, это тот самый доктор! А это его семья! И эта срань привалила по их души. Сейчас паковать будут. Повезут... Ну...

Тут застило мне! И понимаю я, что, выходит, моё это дело. Перемечаюсь, значит, я за спины этих мандавошек и ватник свой растегиваю... А там у меня за поясом «вальтер» греется. Потому как на дело я без ствола не выхожу. И не простой «вальтер», а «Вальтер РРК» 7,65 калибр, короткий патрон. Как бы карманный, но с глушителем. Конечно, это не тот глушитель, которые сейчас в кино показывают. Но по тем временам неплохо. Звук – как чашка упала. Я такой вот пушечкой впервые обзавелся под Минском. Снял с собственноручно убитого ээсовца. Но командир полка косился, косился... Отжал он этот «вальтерок» у меня. Мол, ты себе ещё раздобудешь... На хера? Ему игрушка, а нам самое то – снимать часовых, не входя в прямой контакт. Но комполка есть комполка. А когда уже тут на гражданке на дело стал ходить, заказал я пацанам точно такой же «вальтер». Так вот...

Переступаю я тихо за спину этим особистам-эмгэбистам... На носочки привстаю... Потому как здоровые вымахали эти сучары. И Жирному в затылок шарах! Сопливый успеваает обернуться. Так ему я в лоб. Трах-тарарах. Вроде как две чашки уронил. Не ожидали, твари?! Думали, «инвалид-инвалид» А я ведь по жизни-то левша! Значит, лежат они тихо.

И тут... Оп-па-на! Доктор рядом с ними на пол укладывается. Белый, глаза закатились. Но жилка, смотрю, на виске бьётся. Сердце

стучит. Стало быть, просто обморок. Ну, я его по щекам... Хлещу-отхлестываю. Наконец-то розовеет. Глаза открывает.

– Ау, доктор! – говорю ему тихо. – Розенблюм любезный. Ты меня не помнишь. И не надо. А я тебя хорошо помню. Ты ж год назад жену мою Дашку с того света вытащил, когда она Митьку рожала. Живы они. Оба. И за это, спасибо Богу и тебе. Так что должок за мною... Короче, давай очухивайся поскорее. Своих собирай. Линять надо по-быстрому. Но по-первах... Мне с одной рукой никак... Давай оттащим это говно с глаз. Не хер детям и жёнке твоей на жмуриков глядеть.

Ну, отволакиваем мы этих гнид в кладовку, которая в коридорчике между прихожей и комнатами. Доктор бегом на кухню, где семья его, как мышки, притаились. А я, пока суть да дело, устраиваю шмон. Револьверы, ксивы... У Жирного в кармане кисет. Колечки с камушками и червонцев – царских золотых – целая жменя. Видать, не первый в этот вечер обыск с арестом у них был.

Из кладовки выбираюсь. А семья уже в прихожей по-походному... Стоят и на меня во все глаза глядят. У доктора и жены его по маленькому банному чемоданчику, а у детишек за спиной котомки... Ох, видать, уже давно готовились они к аресту. Жили и ждали... Как кролики, бля, перед удавом... Нет чтобы в бега податься? А-а-а. Одним словом, евреи.

Короче, свет везде потушили. Все двери закрыли и чёрным ходом... А там дворами дошли до места встречи моей с корешами. В подворотне фургон «Молоко». Подельники все в сборе. Ну, понятно, я доктора с семейством им не светил. В подъезд завёл переждать. А сам в фургон...

– Шухер, – говорю, – ребята! Сегодня никак не канает. Мусора на хвост сели. Отбой! Разбегаемся...

Ну, ребята растворяются... А Саня-водила, верный человек, из моей разведроты ещё, на своем фургоне «Молоко» везет меня с Розенблюмами до моей хавиры. Я жену с малыши, Любашей и Митькой, прихватываю, и гоним в Мытищи. Там на ночную электричку. И до Ярославля. Потом на поезд до Новосибирска. Ох, доложу вам, холода в тот год были... Птицы на лету падали... Поезда промёрзшие... А мы забуриваемся все севернее и севернее...

Стоп! Дорогой читатель, переводим дыхание. Оглядываемся. Жарко. Пальмы над головой. Средиземное море шумит. Лето. И вокруг страна Израиль. Да-да! Позвольте уточнить. Я тут не автором прохожу, не сочинителем. Я тут записыватель. Обычно, если дела заносят меня в город Нетанию – рай для русскоязычных репатриантов, – и вдруг выпадает свободный часок, я иду в сквер, что на углу улиц Гордон и Каплински. В шахматы поиграть. Там столики вкопаны, и пенсионерский брат-эмигрант тусуется...

В этот раз у меня в партнёрах оказался невысокий дедуля с совершенно русской внешностью. И без правой руки. Но, когда я ему попробовал помочь шахматы расставить, он сказал «не тупи!» и проворно сам справился. Пошла игра. Ходу на десятом из-за самоуверенности, мол, дедуля ветхий, зеванул я коня. И мой противник не преминул его снести. а3:b4. После чего привстал и представился:

– Радашев. Василий Александрович.

Я тоже привстал и тоже представился. Потом бросился прикрывать фланг. Пошёл слоном f8:c5. И тут Василий Александрович взял да и разговорился. Так что его это история, читатель. Его!

... Потом пересели мы в поезд до Красноярска. Но в сам город ни ногой. Вышли на ближайшем к нему полустанке и уже оттуда на перекладных до поселка Большая Мурта. Там после фронта брат моей Дашки, Степан, егерем служил. Свалились мы на него в ночь. Так, мол, и так. Надо пересидеть. Без подробностей, конечно. Брательник у Дашки суровый и понятливый мужик. Сибиряк. Отвез он нас на самую дальнюю заимку. Пару мешков картошки, сало, мука... Ружьецо оставил. Если там волки или медведь-шатун... И зажили мы...

Не поверишь, но это было самое лучшее и самое спокойное время в моей жизни! Дашка с Розалией Семеновной сразу поладили. На себя хозяйство взяли. Еда, постирушки. Пельмени стряпают и на мороз... Так чтобы на неделю хватило... Детишки подружились. Ещё спорили – кто за годовалым Митькой смотреть будет. А доктор им школу устроил. Грамматику, математику, физику. Того добра в кисете, который я с Жирного снял, хватить должно было надолго. Так что продукты брат Дашкин привозил.

А ещё приспособились мы на зайцев ходить. Арончик, сын докторский, заряжает, а я стреляю. У них с дочкой моей Любашей

из-за этого споры были. Девке семь, а за горло брала: – Дай и мне зарядить!

А потом Арончик, хоть ему всего одиннадцатый годок шёл, настропалился. Сам начал добычу приносить. Да и доктор наловчился и стрелять, и дрова колоть. А ещё он Митьке моему массаж делал. От тех непростых родов остался у малого этот, как его... Ну, мышечный тонус того... Вот доктор его разложит и каждую косточку проминает и песенки ему поёт.

Митька, вообще-то, орать любил, но тут тихонько лежал. Да чего там... Говорить-то он начал в год. И раньше, чем «папа» или «мама», сказал «Блюма». Видно, слышал, что мы все время «Розенблюмы» да «Розенблюмы» говорим. Так и пошло... Блюма, да Блюма...

Да что там! Речушку, что рядом протекала, стали звать Блюма. Так и говорили – пошел на Блюму рыбу ловить или там, воды набрать... Думаю, это потому, что доктор любил по вечерам там ходить или сидеть. Хоть тебе мороз, хоть что... Ну и я навязывался к нему. Разговоры разговаривать.

Про что говорили? Да, про всё понемногу. По жизни он, конечно, дитё сущее. Зато по знаниям... А ещё мудрец. Так все разложит. Для меня тогда мир открылся... А ведь он всего на семь лет старше...

Да и брату Дашкиному Блюма сильно подмог. У них с женой всё детей не было. А тут доктор чего-то насоветовал и...

Да, так про что я говорил... В начале марта братан Дашкин привозит газету. А там, батюшки мои! Сдох Усатый! Окочурился! Коньки отбросил «дорогой товарищ Сталин»! Отец, бля, наш родной! А к апрелю совсем попустило. В газете пропечатывают: «Закрывается дело врачей. Восстановление законности...».

Доктор письмецо корешам в Москву со всеми предосторожностями через проверенных людей отослал... Своему учителю. Этого, его профессора, вроде как раз из тюрьмы выпустили. Ответ пришел – мол, приезжай. Я ему талдычу: «пересидеть надо» Но осенью, как картошку выкопали, собрался Блюма и подался в Москву. Правда, сам! Семья с нами осталась. И я ему тогда строго-настрого... Чтобы твердил одно и то же... Мол, уехали они тогда ещё днём поездом в Ташкент. Мол, не было никого в тот вечер в квартире.

Прислал доктор весточку. Дескать, его на работе в больницу восстановили, да ещё доцентом в мединституте сделали. И никто

на доктора не выходил и ничего у него не выпрашивал. Видать, в органах перетряс шёл большой. И тех эмгэбистов просто списали подчистую. Да, что там, квартиру ему ту самую вернуть хотели, Но он ни в какую. Так что другую выделили.

А к зиме, к новому пятьдесят четвертому... Как раз когда жена Степана... Ну, брата моей Дашки... Сына она, наконец, родила... Так вот, доктор семью вызвал. Всё чин чином. Официальное письмо-запрос. Уехала Розалия Семеновна с детками. И на нас он вызов тоже тогда сделал. Ну, а я сильно не рвался. Потому как это в газетах писано-переписано. Восстановление законности, восстановление законности... А потом вдруг «Лаврентий Палыч Берия вышел из доверия». Так что ветер переменный...

– Не поспешай, Василий, – говорю я себе. – На тебе как-никак два жмурика. И не простые жмурики-то.

Стало быть, остались мы сами на вторую зиму у Дашкиного брата. И с деньжатами ещё все в порядке, но заскучал я. Да так, что ой-ой-ой... Подался в Свердловск. Вышел там на братву. Подломили мы пару баз. Одну шмоточную. Одну продуктовую. А вот когда брали склад потребкооперации, накрыли нас. Хорошо, что я успел «вальтерок»-то сбросить. Жаль его, конечно. Но зато «вооруженное нападение» не пришили. Пошли мы просто по статье «за взлом». Лично я огрѐб пять лет лагерей.

А доктор, как меня закрыли, всё-таки семью мою в Москву вытаскил. Комнату в коммуналке выбил. Дашку на работу. Она ведь медсестра со стажем. Любашу в школу, Митьку в ясли. Тут через полгода случилась амнистия. Их тогда много случилось... Откинулся я и поехал в Москву.

Ну, там осторожненько поспрашивал... Вроде, само это министерство, которое «государственной безопасности», приказало долго жить. Разогнали блядей... А доктор к тому времени сильно развернулся. Учитель-то его, профессор тот, вскорости помер. Видать, те сволочи на допросах здоровье ему напрочь подорвали. Так что стал наш Блюма главным специалистом. В клинике цѐковской партийных жѐн и дочек лечит... Да ещё нормальных людей в двух городских больницах... Да какое там... По всей стране мотается. Нарасхват доктор Розенблюм. Тут тебе и Дальний Восток, и за Северный полярный круг. Везде бабы рожать хотят...

А меня он устроил в медицинский институт, где был профессором и заведующим кафедрой. Начал я трудиться в отделе снабжения. И пошла жизнь. Детки растут. Уже в институты поступали. И все на врачей учатся. И я при деле – в условиях кромешного дефицита раздобываю всякие клизмы, колбы, пробирки...

А тут сынок докторский Арончик и моя Любаша сюрприз преподносят. Оказывается, они малыши, там, на берегу речушки Блюмы, слово друг другу дали, что когда вырастут, то поженятся. Тогда у евреев ещё было принято жениться только на своих. Ну, тут любовь... Да, и Люба в красавицу выросла. Просто загляденье...

Короче, вышло так, что породнились мы с доктором. И живём дальше дружно. Одно только не получалось. Уже никогда не сидели мы вечерами с любезным моим Блюмой, как тогда на заимке...

Зато он любил на застольях всяких, как подопьёт, шутить:

– А вот расскажи им, сват, как ты меня по щекам хлестал. Ну, я в глухую несознанку. Как-никак профессор. А потом, вообще, в академии меднаук его выбрали. Как это, чтобы я его да по щекам. Так что мнусь я и мямлю, что не было такого. А тут ещё один вираж случается. Митька, сынок мой... Он, между прочим, когда вырос, стал чемпионом СССР по плаванию среди юношей. Хорошо, видно, его доктор отмассировал. Так вот... Случилась у Митьки с племянницей доктора, симпатюлей Фаиной, большая любовь. И как опять не артачилась родня докторская, – мол, еврейки должны замуж за евреев выходить – сыграли свадьбу. Так я с доктором еще раз породнился. Как шутили мои приятели: «Ну, вконец ты объевреился, Вася».

А потом... Потом... Помер Блюма. Неожиданно так. Вот взял и помер... А я, видишь, остался...

Тут эта перестройка, бля, случилась. Бардак. И детки наши лыжи наострили. В Израиль. А мы с Дашкой... Ну, куда денемся?! Понятное дело, с мишпухой. За детьми, да за внуками...

И тут, буквально материализуя эти слова, возле нашего столика возник мальчишечка лет шести. Шустрый израильский пацан. Курносый славянский нос только добавлял очарование его проказливой рожице. Быстрым взглядом он оценил расстановку на доске. Поморщился, дескать, скучно играете, старичьё.

– Йялла саба, хабайта! Охэль мэхакэ! (Деда, домой пора. Обе-

дать), – сказал он, – Савта Даша, ротахат квар (Вон уже баба Даша из терпения выходит).

Пронзительный свист пронесся над сквером. У входа в скверик в тени деревьев свистела в четыре пальца старушка в соломенной шляпке.

– О-о-о, – мой визави замялся, пожал плечами, – ну, что, сойдемся на ничьей?

Я, конечно, вошёл в положение. Мы встали, и я пожал ему руку.

– Правнук? – спросил я.

– Бери выше. Пра-правнук! Самуил Розенблюм.

– Хай! Ма нишма? (Привет! Как дела?), – спросил я у мальчугана.

– Хай! Сабаба. (Привет! Всё в порядке), – ответил тот.

Обычно дети в этом возрасте стесняются, тупят глаза долу или отводят их в сторону. Этот сорванец взгляд держал. Я протянул ему руку. Представился. Он пожал руку и тоже представился:

– Блюма.

– Наим меод лэнакир. (Очень приятно познакомиться).

– Адади. (Взаимно). – Им коль һакавод (Моё почтение).

Василий Александрович подмигнул мне. Вдвоём с мальчиком в три руки они проворно сложили шахматы в коробку и направились к выходу из сквера.

Ефим Гальперин родился в Днепрпетровске. Режиссёр, сценарист кино и телевидения, продюсер, журналист, писатель.

Работал на студиях им. Довженко (Киев), Свердловской киностудии (Екатеринбург), Студии имени Горького (Москва). Член Союза кинематографистов СССР. Член Союза кинематографистов России. Член Киевского Комитета драматургов. Член Московского Комитета драматургов.

С 1992 года живёт в США. Был ведущим и продюсером русско-американского телевизионного канала WMNB.

Автор сценариев и режиссер более десяти документальных и художественных фильмов. Его перу принадлежат три книги на русском и английском языках.

Дмитрий СТОНОВ

В ДВА ГОЛОСА

Повесть

Почти все важнейшие исторические события XX века как бульдозером прошли по судьбе писателя Дмитрия Мироновича Стонова (настоящая фамилия Влодавский).

Он родился в 1898 году в большой еврейской семье купца первой гильдии в поселке Бездеж близ Гродно, Западная Беларусь. Революцию он встретил на Валдае, в 19 лет вступил в партию большевиков, затем примкнул к «Рабочей оппозиции Шляпникова». Довольно скоро он разобрался в сути нового режима и порвал свой партийный билет.

Свои первые рассказы он написал в Полтаве в двадцать лет (1918 г.) и отправил их Короленко. Великий писатель, к тому времени уже старый и больной человек, нашел время ответить неизвестному молодому автору. В дальнейшем судьба еще не раз сводила их.

Короленко оказал большое влияние на становление Стонова как писателя и гражданина.

В начале 20-х годов Стонов, тогда еще Митя Влодавский, познакомился и подружился с уже известным к тому времени писателем Юрием Слезкиным и еще молодым и начинающим Михаилом Булгаковым. Оба они охотно помогали молодому писателю, говорившему с детства на идиш, польском и белорусском, осваивать русский литературный язык.

Вскоре все трое решили переехать в Москву. Для Мити Влодавского это было особенно необходимо, т.к. в это время «Рабочая оппозиция Шляпникова» была разгромлена, многие ее члены расстреляны или репрессированы, и находиться в Полтаве было опасно для его жизни. Взяв псевдоним Дмитрий Стонов, он переехал в Москву, где его никто не знал, кроме Слезкина и Булгакова. С этого времени началась литературная биография писателя Дмитрия Стонова.

В довоенные годы в Москве Стонов опубликовал несколько повестей, сборники рассказов, автобиографический роман «Семья Раскиных» (готовится к изданию на английском языке в 2019 г.) и многочисленные корреспонденции по заданиям газет «Известия» и «Гудок». Кроме писательской деятельности, он еще преподавал в



Дмитрий Миронович с женой Анной Зиновьевной

Литературном Институте. Дмитрий Стонов был одним из первых, кто получил членский билет Союза Писателей из рук Горького. В 1935 году он послал Горькому повесть «В два голоса» (публикуемому в данном номере). Горькому повесть понравилась и он передал ее для публикации тогдашнему редактору альманаха «Год XVII» Петру Павленко. Однако Павленко, гораздо лучше, чем Горький, ориентированный в сущности советского социалистического режима уловил в повести антисоветский дух и категорически отказался ее публиковать.

Сегодня, в условиях путинской России, повесть звучит более чем актуально.

С начала Отечественной Войны Стонов активно сотрудничал с Совинформбюро; ранней весной 1942 года он был мобилизован и работал в армейской печати 4-го Украинского Фронта. В 1944 году после тяжелой контузии он был демобилизован и вернулся в Москву к своей прежней деятельности.

В марте 1949 Дмитрий Стонов был арестован и приговорен к 10 годам заключения по статье УК РСФСР, 58.10 за т.н. антисоветскую агитацию и пропаганду. Почти 5 лет Стонов отбывал «наказание» в тюрьмах и лагерях Красноярского края. Он был освобожден и реабилитирован в августе 1954 года. Этот страшный опыт своей жизни и жизни страны он талантливо описал в сборнике лагерных рассказов «Прошедшей ночью» (издан также на английском языке в 1995 г.).

После освобождения он продолжал ездить по стране и много писал. Наиболее значительными произведениями этого периода являются повести «Раннее утро», «В городе наших отцов», «Цветы на могиле», «Текля и ее друзья» и др.

Дмитрий Стонов умер в 1962 году. Похоронен на Введенском кладбище в Москве.

Авторское предисловие

Девять-десять мимолетных встреч – вот все, что связывает меня с Виктором Булыгиным. Знал ли я его? Нисколько! Об этом говорит мышинового цвета скоросшиватель – «Дело В. Булыгина», об этом говорит более чем странная записка, об этом, наконец, говорит чудовищная свадьба; на ней – в роли близкого знакомого Булыгина – мне довелось присутствовать...

Тем не менее, я хочу, чтобы читатель, который будет листать бумаги, собранные Товстуну, для начала пробежал мои показания – несмотря на то, что они односторонни и, как теперь выясняется, «далеки от истины».

Мстительному Товстуну ничего бы не стоило заглянуть и ко мне. Когда это могло случиться? Скажем – в любой из десяти дней марта 1931 года, накануне получения записки.

В начале марта ко мне мог бы явиться молодой незнакомец.

Товстун, студент Текстильного института. Коллектив учащихся просит меня рассказать все, что я знаю о Булыгине. Для какой цели? Но разве человеку, сумевшему допросить целый ряд людей, раскопать богатый и всесторонний материал, трудно ответить на мой вопрос?

...Вот что я мог бы сообщить Товстуну в начале марта 1931 года.

Мои показания

– С Виктором Булыгиным я познакомился в тридцатом году, если не ошибаюсь, в январе. С исполнительным бюро вашего института я был связан и раньше; организаторы литературных выступлений бесконечно меня подводили. Сколько драгоценных часов потеряно в холодных аудиториях, в полутемном клубе студенческого общежития! («Вечер, извините, придется отложить. Нашу публику... разве соберешь?») Сколько раз я засиживался до поздней ночи, пешком брел с Усачевки! Трамваи давно ушли в парк, автомобиль, видите ли... («Черт его знает, – шофер обещал, дал честное слово – и не явился».)

Но вот за организацию вечеров взялся Булыгин, и безобразиям, как пишут в наших стенных газетах, «был положен предел».

К этому времени относится мое знакомство с Виктором.

Если Булыгин говорил: «Будьте в без четверти восемь», это значило, что вечер начнется в восемь.

Если он говорил: «Автомобиль обеспечен», то о транспорте можно было не беспокоиться.

Маленькое отступление. Осенью двадцать первого года меня посетил взъерошенный парень. За несколько дней перед этим он приехал из южной провинции и поступил в университет. На моем столе лежала незаконченная статья – «Артист Чехов – Хлестаков». «Кто такой Хлестаков? – спросил студент, заглянув в рукопись. – Знакомая фамилия... где-то я слышал ее!»

(Провинциал не читал «Ревизора».)

С тех пор прошло десять лет – десять наших лет! – эпизод с Хлестаковым звучит неправдоподобно. Отношение к литературе какой-то части нашей молодежи не удовлетворяет меня по сей день. Величайшие произведения искусства до сих пор еще не читаются, а «прорабатываются». Интерес к современной беллетристике ограничен двумя-тремя – отнюдь не первосортными – книжками.

В прошлом году Булыгин пользовался моей библиотекой. Не было случая, чтобы он просил «интересный роман». Его выбор радовал меня. Он не только читал – он великолепно усваивал Бальзака, Флобера, Стендаля, Мериме.

Любимым его автором был Стендаль. Целые страницы из «Красного и черного» он цитировал на память.

Что еще? Было бы невозможно восстановить наши краткие беседы. От них осталось хорошее, свежее впечатление. Приходится лишь жалеть, что встречи с Булыгиным мимолетны, от случая к случаю. Впрочем, это уже не относится к тому, что вас интересует...

Записка

11 марта 1931 г.

«...Человек человеку – волк... Чудак, придумавший эту истину, очень плохо знал зверей и еще хуже к ним относился. Дружба, товарищество, солидарность, любовь... Какие фальшивые пустые слова! Верьте мне – я убедился в этом!

...Как жаль, что я не могу постучаться в вашу дверь, прийти по делу и заодно беседовать о своем, о сокровенном! Явиться же так просто – я не решаюсь отрывать вас от работы. Почему я вам пишу? Сейчас, когда я вижу озлобленные рыла, слышу яростный вой – давно ли я избавился от всего этого? – мне кажется, что вы были бескорыстно внимательны ко мне. Я часто думаю о наших беседах и я убежден... (зачеркнуто). Вряд ли я ошибаюсь, рассчитывая на ваше внимание.

Как бы то ни было – лишь к вам одному я могу обратиться с убедительной просьбой, она очень мала.

Пятнадцатого марта состоится мое, если можно так выразиться, бракосочетание с Диной Корноуховой, выпивка по поводу нашей свадьбы. Дина очень простая и милая душа, и я не сомневаюсь, что мы будем счастливы. Она – настоящий человек, а не умничающая дура с прописной моралью вместо горячего сердца. В самый трудный для меня момент моя будущая жена протянула мне руку, стала рядом со мною. Мог ли я не уступить ее желанию, желанию ее родных и близких – отпраздновать начало нашей совместной жизни? Кто утвердил закон, по которому молодежь должна сходиться под забором? В лучшем случае посещать грязный загс, где рядом с

браком регистрируется смерть? Я никогда так не думал, не думаю и сейчас.

У Дины большая родня, много близких. Когда они спросили: кто будет на свадьбе с моей стороны? – я мог назвать только вас. Простите за вынужденный обман, я сказал, что вы – мой дальний родственник, на свадьбу непременно приедете. Надеюсь, вы не осудите, просьба будет выполнена. Тем более поездка отнимет лишь несколько часов.

Свадьба состоится в двадцати километрах от Москвы, в Тарасовке, по Северной железной дороге. Там живут родители Дины.

Я очень жду, я убежден в вашем приезде, – настолько, что заранее приношу вам сердечную благодарность. От трех до четырех буду на Тарасовской платформе.

Дружеский привет!

В и к т о р Б у л ы г и н»

Свадьба

... Я рассказываю об этом спустя три с половиной года, в моем распоряжении «Дело В. Булыгина», освещающее его жизнь: до сих пор я не могу понять, какую цель преследовал Булыгин, пригласив меня в Тарасовку. Или в самом деле отсутствие родственников смутило его и он, на все махнув рукой, решил мне написать? Но – с другой стороны – не мог же он сомневаться в том впечатлении, какое произведет на меня сборище в доме Ивана Гавриловича Корноухова!

* * *

Грохот поезда, шум деревьев, зимняя тишина. По снегу, усеянному сажай, клубился паровозный дым. Сквозь деревья прорывалось красное солнце. Прорвалось – и дым стал розоветь,

Булыгина я заметил погодя – он стоял у выхода, беспокойно всматриваясь в лица прохожих.

– Что с вами, Виктор?

Казалось, он перенес тяжелую болезнь, – так резко заострилось лицо, увеличились его ищущие глаза. На удлинненную шею больно было смотреть – беспомощно-юно торчала она из просторного полушубка. Горячими пальцами он схватил мою руку и, оглядываясь, долго жал ее. Растерянная улыбка поднимала верхнюю губу, об-

нажала зубы, это делало его похожим на загнанного зверя. Он излишне суетился, заметно был смущен. Тихо посмеиваясь, он сказал:

– Я ваш родственник, не забудьте... Вы на меня не сердитесь?

Я молчал. Мне не понравилась записка, не нравился придушенный смех, блеск его глаз, излишняя суета.

Точно догадываясь о моих мыслях, еще более смущенный моим молчанием, Булыгин внезапно произнес:

– Я ушел из института... временно, конечно. Не сомневаюсь, что вновь поступлю в какой-нибудь вуз... Высшее образование я обязательно получу!

– Кажется, вы были в комсомоле? – Я и сам не знаю, почему так спросил.

Пальцы Булыгина дернулись под моим локтем.

– Почему – был?

– То есть... состоите...

Он посмотрел на меня с недоверием.

– С комсомолом я не рвал, из организации меня не исключили, и я думаю... Смотрите, как здесь красиво!

Мне предлагалось смотреть. За Тургеневскими и Некрасовскими улицами шли новые – Советские, Октябрьские. Пахло холодной сыростью, днем на солнце таяло. Щетинистый снег лежал на изгородях, на густых сосновых лапах, на трубах нетопленных дач. Вороны копались в помойках. Насытившись, они излишне шумно свистели крыльями, садились на ветви и долго еще, отяжелевшие, каркали, брызгали прозрачными хлопьями снега. Веселые – душа нараспашку – дачи разноцветными верандами подходили к дороге, сквозь узорные стекла хвастливо показывали свое нутро. Любители прекрасного сохранили серебряные и алые, точно набитые пламенем, шары. В них отражался пылающий или залитый белизной мир. Угрюмые дома прятались за частыми соснами, настойчиво предлагали: «Не входить без звонка», пугали злыми собаками. Попадались беспечные коттеджи с забытыми, твердыми от мороза гамаками; осторожные коттеджи – предусмотрительно убогие снаружи и отличные внутри; дома-коллективы, соединившие разноречивые черты своих владельцев: алчность и благодушие, скрытность и безразличие, расчетливую хозяйственность и легкомысленную беспечность.

Высокий сплошной забор окружал участок Корноухова. Над за-

бором – три ряда колючей проволоки. Форт, крепость в тарасовском масштабе. Уже во дворе стиль дачи резко менялся. Вдоль расчищенной аллеи на широких тумбах возвышались статуэтки. Гипсовая пейзажная приподнимала юбку. Толстенький, в купеческом кафтани, Наполеон с обрывистой скалы смотрел вдаль. Легкомысленно одетая – крепкие полушария наружу – нимфа лежала у края зеленой чаши – вместительной пепельницы. Раскрашенные мальчишки склонились над круглым, полным снега аквариумом.

Хлопнула стеклянная дверь, из дома выбежала светловолосая девушка. Повела носиком, понюхала воздух. Она была в длинном разлетающемся платье, в игриво наброшенной на плечи шелковой шубке. На морозном воздухе крепко запахло пудрой, духами.

– Наконец-то... – Девчонка сощурила глаза, надула губы. – Как вам нравится ваша будущая родственница? – И, не дождавшись ответа: – Не правда ли – очень оригинальны эти статуэтки?! Моя выдумка! «Аллея мечты!»

Взяв под руку, Дина Корноухова повела меня в дом. Многоголосый шум, звон посуды. Раздвижной стол уставлен тушеной телятиной, заливной рыбой, холодным мясом, гусиными потрохами в застывшем – белом сверху – соусе. Наполовину опорожненные бутылки с мадерой, портвейном и хересом, графины с водкой. Гостей обслуживали дамы и розовые насмешницы – из близких. На правах хозяек они пошучивали с мужчинами. Какую-то гостью облили вином. Она солью посыпала колени, злыми глазами смотрела на молодого, бледного от алкоголя соседа по столу. «Извиняюсь, если что не так», – раскачиваясь, бормотал сосед. Мужчины говорили о заработках, о делах – еще недавно они процветали! «Катушки, – жужжали они. – Чулки! Артели! Патенты! Обложения!» «Пожалуйста, без политики, – умолял их сонный еврей с красными веками. – Вы же на свадьбе!» Тучный гражданин в ярком жилете, без пиджака, тянулся, не попадая, вилок к блюду с холодным и через стол кричал своим визави: «Мой отец поставлял мясо самому Льву Толстому!» «Ох, убил, – всем нутром смеялся рыжий парень во френче. – Толстой ел одну простоквашу! Исторический факт!» Бледный молодой человек в конце концов не выдержал. Держась за голову, он неверными шагами подошел к стене и, раскрыв рот, просунул палец в самую глотку. Дамы – из близких – потащили его в уборную. Он мотал головой и

извинялся. Хозяйка с недовольным видом сидела во главе стола, ей надоели расспросы угодливых соседей: где раздобыла она столько продуктов? Плотненький человек в крахмале и галстучке бабочкой пытался произнести тост. «Минуту внимания, – кричал он. – Наполняйте ваши стаканы! – И голосом, полным торжественности: – В этот святой час, когда два существа решили слиться...» Ему мешали, выпив, он валился на диван, чтобы спустя немного времени вновь начать свою речь. «Ох, убил, – грохотал рыжий. – Уже слились! Горько! Ура!!!» – И пробками швырял в соседку. «Какой нахал, – фыркала невеста, не очень злая. – Пьяный нахал!»

Я сидел рядом с нею. Усиленно угощая, она развлекала меня по мере сил. Маяковский? Он дурачил людей, вряд ли его можно признать нормальным. Как угодно, она не склонна считать его поэтом! Неужто Есенин бил Айседору Дункан? В общественных местах? «Ты жива-а еще, моя стару-ушка!»

Я терпеливо дал ей растратить все свои литературные познания, наконец спросил: давно ли знакома с Булыгиным?

– С Витей? Семь лет.

– Семь лет?

Рассказ Дины

Кивнув, она стала рассказывать... «Вы не поверите – это настоящая поэма»... И расцвела поэму предчувствием, безысходной тоской, сердечным трепетом, волнением душевных фибров, – без всего этого, как известно, любви не бывает! Карамельное производство ее отца находилось в том же доме, что и стереотипная Рабиновича. Семь лет тому назад Булыгин приехал в Москву, начал работать в стереотипной. Виктору было семнадцать лет, ей шестнадцать. Вряд ли Булыгин догадывался, что Корноухова «обратила на него внимание, влюбилась, извините, с первого взгляда». Наоборот, он как бы избегал ее. А она? Она страдала от того, что юноша жил в душной мастерской, получал грошовое жалованье и, по-видимому, нуждался.

Любовь... она бредет своим путем, никогда так не бывает, чтобы «любящие существа сразу соединились», не правда ли? Едва ли Булыгин замечал Корноухову. Она же готова была «упасть в его объятия и объясниться в любви, как пушкинская Татьяна!».

Потом наступила разлука. Булыгин ушел от Рабиновича. «Кошмарные» слезы по ночам, исхудание, беспокойство родителей. «Ты должна поехать в Крым!» – «Ах, мне нужен был иной Крым, он находился в Москве, вы это, конечно, понимаете».

Случайные встречи – с промежутками в три месяца, в полгода. Равнодушие «гадкого мальчишки». Все погибло! «Будь другое время, я ушла бы в монастырь, в ущелье, честное слово! Знает ли, на какие хитрости я пускалась, чтобы видеть его, встречаться с ним? Вечера, литературные диспуты, прогулки около института... Внутренний голос не переставал говорить, что он будет моим».

И вот радостный конец, встреча, решившая «наше счастье». Это было месяц назад, когда у Вити произошла неприятность в институте.

– Какая именно?..

– Подробно не знаю. Как бы то ни было – я довольна, что мой Витя не будет жить на стипендию в тридцать рублей, морить себя голодом и работать по шестнадцать часов в сутки. Довольно!

Через пять дней – «мы встречались ежедневно» – Булыгин, наконец, понял, что любит Корноухову, любил ее «всю жизнь».

Через семь дней он переехал к ней «совсем».

– Между нами говоря, мне пришлось выдержать бой с родителями...

Корноухову нужен собеседник

– Что это ты о родителях?

Иван Гаврилович стоял над нами. Как и гости, он успел выпить и, красный, пахнувший зверем и вином, нуждался в собеседнике. С ловкостью четвероногого он хватал меня за плечи. Отстранил дочь: «Идем, покажу свое добро!»

Сначала он принялся уверять, что его дача построена из вечно-го леса. Согнутыми пальцами мы стучали по бревнам, прижав уши, долго слушали.

– Чувствуете?

Я чувствовал.

Тут, окончательно со мной подружившись и обняв за талию, Иван Гаврилович стал доказывать, что он не так глуп, как полагал фининспектор, желавший его разорить. Еще два года тому назад

Корноухов понял, что «каши с большевиками не сварить». Он ликвидировал карамельное производство, расквитался с казной и отошел в сторону. Знакомые считали, что он рехнулся. «Ну-ка, голуби, кто спятил?» Где они – умники, смеявшиеся над ним? Одни разорены, другие и того хуже... «Сами полезли в петлю, сами веревку намылили...»

Он широко распахивал двери, обращал мое внимание на добротность своих вещей. Подошел к огромному, как музыкальная машина, умывальнику, наступил на педаль. Машина грохнула, заворчала, механизм со старческой медлительностью исполнил волю хозяина. Прошло немало секунд, прежде чем из львиной пасти потекла хилая струя воды. За умывальником следовал набитый бельем – «на всю жизнь хватит», комод, просторная кровать, на которую – «это вам не теперешние пружинки» – Корноухов меня усадил.

Над кроватью висели картинки – киноартисты в блестящих цилиндрах, фотография Дины Корноуховой – на фотографии она была обнажена, сквозь прозрачный газ виднелась грудь, – белокурый ангел с голубыми, в блестящих, крыльями.

– Душкины причуды, – сказал Корноухов и пренебрежительно махнул рукой. – Дура, девчонка! – Он оглянулся, зашептал: – Дело конченное... Но если говорить правду – я был против свадьбы. Какой он, между нами, жених?

– Почему же? Все-таки студент...

– Какой он, к собакам, жених, – настаивал Корноухов, – такие разве к Динке сватались?

Вздыхая, он поделился своими горестями. На дочке хотел жениться кустарь-чулочник, стоящий человек. Его, правда, успели потрепать. Все же хорошие тысячи и зимнюю дачу он сохранил. Что имеет Булыгин? В чемоданишке у него («Я полюбопытствовал: а ну, что ты принес в дом?») три рваных рубахи и несколько учебников. Как говорится, пиджак, манишка и записная книжка! Сейчас он поступил на типографскую работу – специальность у него. Утешил! Пятнадцать червяков в месяц – на хлеб и воду! Без службы, конечно, теперь неудобно, надо служить, но ведь про запас-то у него ни шиша! Привела в дом голодранца! Небось пожалеет. Студент!

Как медведь – лапами, он обхватил голову и загрузил; впрочем, через минуту он уже храпел.

Я нашел Булыгина и сказал ему, что мне пора домой. Было бы неплохо, если бы он меня проводил...

Видно, Виктор сообразил, что я хочу с ним объясниться.

– Я пойду вместе с Диной, – ответил он, не задумываясь.

Через три с половиной года

Три с половиной года я не был в Москве.

Осень 1934 года – как обычно – началась литературными выступлениями, дискуссионными вечерами, театральными докладами. Университеты и институты соревновались. Разумеется, кое-кто перестарался, а обманутые посетители, подписав свои «письма в редакцию» инициалами или просто «Разочарованный», недоумевали, зачем было объявлять выступления Эренбурга и Толстого, когда известно, что первый уехал за границу, второй – в Ленинграде.

... В одной из клубных комнат Текстильного института с пристегнутой к дверям запиской «Помещение для т.т. выступающих» – тесно, накурено, пахнет самоваром. Новые лица – ни одного знакомого, – годы бегут.

– Скажите, что случилось с Булыгиным?

Все эти годы я часто думал о Викторе, мысль о бывшем студенте возникала помимо желания. То небольшое, что я знал о нем, было противоречиво, возбуждало любопытство.

Оказывается, никто не слышал этой фамилии.

Позвали старожилов: секретаря комсомола, уполномоченного профессионального союза, председателя ячейки Осоавиахима.

– Вы об этом субчике? – спросил осоавиахимовец, не совсем, видно, понимая значение последнего слова. – Он исчез, сгинул, забыв попрощаться.

Уполномоченный союза, как ни напрягался, о Викторе ничего не мог вспомнить. За четыре года в институте перебивали тысячи студентов – можно разве всех держать в уме?

И только секретарь комсомола сказал:

– У меня в архиве «Дело Булыгина». Его должны были судить на открытом собрании ячейки. Но он удрал, скрылся. Если не ошибаюсь, это связано с историей Товстуна – тоже бывшего студента.

– Нельзя ли познакомиться с «Делом Булыгина»?

– Есть. Завтра оно будет у вас.

...Он сдержал свое обещание. И вот мышинного цвета скоросшиватель на моем столе...

История с Товстуном*

«Протокол отряда легкой кавалерии Текстильного института. Слушали: сообщение тов. Булыгина о Товстуне»...

.....

Когда легкая кавалерия приступила к обследованию социального происхождения студентов, Виктор Булыгин заявил, что берет на себя проверку самых тихих, ни в чем не заподозренных, Товстуна в том числе. Начались споры. Булыгину – одному из лучших активистов – хотели поручить большую часть обследования. «Тихих» мог одолеть кто угодно.

– В том-то и дело, что нет, – отстаивал свою заявку Булыгин. – В том-то вся и суть, что работа, которую я беру на себя, и есть самая значительная!

Не руководствовался ли Булыгин – в отношении Товстуна – личными интересами? Даже сам пострадавший на этот вопрос вынужден был ответить «нет». Вряд ли у Товстуна могли быть столкновения с кем-либо из студентов. Представьте себе молчаливого парня, нелепо высокого, с красными, торчащими из слишком короткого пиджака руками, с красными же ушами, туповатого на вид. Таких в средних школах называли «камчадалами», забрасывали снежками, в тяжелую минуту у одного из них брали займы пяточок. Вздыхая, он лез в карман, доставал допотопный кошель и, шевеля губами, отсчитывал просимую сумму – копейками. «Ты ж смотри, отдай», – говорил он и при этом имел такой напряженно-постный вид, что прятавшему монеты стоило большого труда не крикнуть: «Плакали твои денежки!»

Зачетная книжка оттопыривала его боковой карман (чтоб не потрепалась, Товстун заворачивал ее в две газеты). Зачетная книж-

* История с Товстуном не имеет прямого отношения к «Делу Булыгина». Секретарь комсомола не зря, однако, прислал мне протокол отряда легкой кавалерии. Не будь инцидента с Товстуном, «Дело Булыгина», возможно, и не всплыло бы на поверхность...

ка – вот все, что интересовало студента в стенах института. Не было случая, чтобы Товстун переносил какую-нибудь дисциплину на другой год, просил об отсрочке. Он не пропускал ни одной лекции. Он садился за парту – всегда на одно и то же место – и, как говорится, «глазами ел» профессора. Едва ли он понимал шутки, которые – дабы не утомить студентов – позволяли себе преподаватели. Подперев голову кулаком, он ждал, когда лектор вновь приступит к занятиям.

С мужицкой настойчивостью Товстун спустя несколько месяцев после поступления в институт исходатайствовал стипендию и койку в общежитии. В те дни он не покидал студенческий комитет, профессиональную секцию, ячейку. Писарским почерком этот сын крестьянина-бедняка пространно излагал свою просьбу. «Я числюсь, – писал он, – во всех добровольных обществах, аккуратно посещаю студенческие собрания, своевременно плачу членские взносы»... Он чуждался людей, ни с кем не дружил, никогда не выступал, даже товарищи по общежитию о нем не знали.

«Старательный парень», «книжный червь», «байбак», «деревенщина» – могли ли все эти и многие другие слова хоть сколько-нибудь его охарактеризовать?

И вот на нем-то, проверяя студентов, сосредоточил внимание Виктор Булыгин.

Чистка Товстуна являлась ничем иным, как преследованием, и началом преследования послужила справка, выданная сельским Советом и обнаруженная в бумагах института. В справке значилось, что Товстун, умерший в 1921 году, «имел всего три четверти десятины земли, каковая находилась у станции железной дороги».

Б у л ы г и н. Сколько километров было от участка твоего отца до деревни?

Т о в с т у н. Одиннадцать.

Б у л ы г и н. Вот как. Где же находился жилой дом?

Т о в с т у н. На участке.

Б у л ы г и н. Почему же твой отец жил вне деревни?

Т о в с т у н. В пятнадцатом году мы бежали от немцев. Мы жили тогда в Сувалкском уезде...

Б у л ы г и н (быстро). Чем занимались?

Т о в с т у н. Крестьянством. Мы переехали в Тамбовскую губернию. Нам предоставили участок у станции.

Молчание.

Т о в с т у н. Все? Можно идти?

Б у л ы г и н. Да. Конеч. Можешь идти.

Первый допрос никак нельзя было назвать концом. В столовой у вешалки, в уборной, на лестнице – Булыгин изо дня в день продолжал допрашивать Товстуна. Это походило на месть, на истязание. Казалось, что Булыгин удовлетворяет тайную свою страсть. Он прибегал к разнообразнейшим приемам: то внезапно обрушивался на жертву, то подбирался к ней с нехорошей медлительностью, – дом Товстуна-отца как бы невзначай называл особняком, участок – помещьем, фермой. Однажды он принес толстую книгу в красном переплете – «Список имений Российской империи», что-то в этом роде. В присутствии Товстуна перелистывал книгу, говорил, что в ней значится помещик Товстун, его имение находилось на том именно месте, где жил отец студента.

Преследуемый спокойно выслушал Булыгина и повторил ему первое показание.

Б у л ы г и н. Может, твой отец был начальником станции?

Т о в с т у н. Мой отец – крестьянин.

Б у л ы г и н. Да, он вынужден был заняться крестьянством после семнадцатого года. В Сувалкском же уезде...

Т о в с т у н. Отец всю жизнь крестьянствовал.

Он отвечал однообразным голосом, переминался с ноги на ногу. Он не протестовал, не возмущался, ни разу не одернул зарвавшегося кавалериста. Но, видно, стойкость Товстуна подзадоривала Булыгина, он с новой силой набрасывался на жертву, задавая вопросы, не имеющие никакого отношения к делу. Так, например, он спросил, как, по мнению Товстуна, должен себя держать в стенах советского института «сын чуждого класса»?

Т о в с т у н. Не знаю.

Б у л ы г и н. Не знаешь?

Т о в с т у н. Не знаю.

Были вопросы и другого порядка. Как-то любопытствовал Булыгин: не сердится ли Товстун на то, что его «так тщательно» проверяют? Не собирается ли он жаловаться?

Т о в с т у н. Нет.

Б у л ы г и н. Почему же?

Т о в с т у н. Тебе поручили – ты и проверяешь. (Пауза.) Все?

Б у л ы г и н. На этот раз действительно все. Я лично полагаю, что тебя можно считать проверенным. Так я и сообщу комиссии.

Студент ушел. Поверил ли он Булыгину? Или догадывался, что слово кавалериста – очередной прием? Лицо Товстуна, как всегда, было непроницаемо – ни радости, ни улыбки.

Три недели Булыгин не тревожил Товстуна. Потом «собеседования» – так называл их кавалерист – начались сызнова, стали прозрачнее намеки. Самое любопытное – эти последующие допросы были уже ни к чему. В руках Булыгина находился ответ районного исполнительного комитета на запрос легкой кавалерии... Отношение Булыгин получил 19 октября 1930 года, доложил же об отношении 30 октября. Десять дней длилось бессмысленное – ибо Товстун отстаивал первоначальное показание – издевательство...

.....

... «Товарищ Булыгин говорит, что враг всячески маскируется. Прошли те времена, когда он наступал открыто и его легко было разоблачить. Студент Товстун называл себя сыном бедняка-крестьянина. Институт поверил справке сельсовета. Так как от Товстуна ничего нельзя было добиться, товарищ Булыгин запросил районный исполком, который в своем отношении за № 197 от 15 октября сего 30-го года сообщает, что Товстун, отец нашего студента, служил жандармом на станции железной дороги. После Октябрьской революции означенный жандарм неоднократно подвергался аресту. Умер в 1921 году. Мать студента – Пелагея Товстун живет в деревне. Где находится ее сын, она не знает...»

.....

За сокрытие своего происхождения Товстун в первых числах ноября был исключен из института. Вскоре он уехал из Москвы. Накануне его отъезда он у ворот института очутился рядом с Булыгиным, окликнул его – Виктор возвращался домой. Темнело, Булыгин узнал Товстуна по голосу. «Ты что – драться хочешь?» И, насторожившись, сжал кулаки.

– Подожди, я тебя не трону, – ответил исключенный и руки положил в карманы пальто. – Я хочу заявить, что ты подлец!

– Все? – несколько оправившись, спросил Булыгин. – Чудак ты, Товстун, честное слово! Ты сам говорил: тебе поручили, ты и проверяешь. Должен ведь знать рабочий класс, кто обучается в его университете! При чем здесь я?

– Так ты можешь говорить на общих собраниях, там тебе похлопают, а не со мной. Я еще раз заявляю: ты подлец. Это – во-первых. Во-вторых, знай, я непременно, непременно отомщу!

– Ты что, угрожаешь?

– Зачем? Ты почувствовал меня, я чувствую тебя... Так ты знай, – я отомщу!

И скрылся.

Несколько дней Булыгин опасался нападения. Об этом, пошучивая и смеясь, он говорил товарищам по втузу. «Если я завтра не приду в институт, – знайте, ребята, меня Товстун убил. Хороните с музыкой, выступайте с речами...» Товарищи и друзья не в шутку забеспокоились. Катя Иващенко – Булыгин был с ней близок – не спускала с него глаз, браунинг торчал из кармана ее кожаной куртки. Охрана любимого человека доставляла ей удовольствие. Злая морщина укорачивала брови, волосы в беспорядке, на щеках румянец – в эти дни она была прекрасна...

Два месяца Товстун не подавал о себе вестей. В середине января он прислал заявление, удивившее секретаря комсомольской ячейки. В заявлении, присланном из Днепропетровска, Товстуном сообщалось, что он «собрал на Булыгина материал», материал этот в скором будущем лично доставит в ячейку. Спустя две недели Товстун пришел в институт. «Ну-ка, где твой материал?» – спросил секретарь. Товстун ответил, что ему нужны очень важные дополнительные сведения – их надеется получить в Москве. «Для этого я и приехал». – «Так ты хоть одну бумажку покажи!» – «Не могу». Было ясно: Товстун хочет скомпрометировать честного комсомольца-активиста.

«Не дело, не дело ты затеял, Товстун»... Сын жандарма зло усмехнулся: «Рабочий класс должен знать, кто обучается в его университетах». – «Уж не ты ли собираешься помочь рабочему классу?..»

Через месяц Товстун принес и подрасписку передал ячейке скоршиватель с бумагами, именно тот, на котором спустя несколько дней секретарь комсомольской ячейки сделал надпись «Дело

В. Булыгина»... Несмотря на то, что секретарь до поры до времени никому о бумагах не говорил, слухи о «Деле» быстро распространились по втузу. И в первую очередь – на беду свою – узнал Булыгин...

Показания Ольги Русановой*

«Допрошенная мною Ольга Русанова, дочь рабочего Днепропетровской махорочной фабрики, соседка Булыгиных, дала следующие показания...»

.....

События личной жизни Леонид Сергеевич Булыгин любил связывать с историческими датами. В его трехкомнатной квартире висели портреты государственных и общественных деятелей, картины, изображавшие похороны, убийства, железнодорожные катастрофы, – все они имели двоякое значение. Пациентам и знакомым зубного врача было не по себе от тяжелого взгляда какого-то восточного короля в каракулевой шапке, грудь в орденах. Год удушения короля совпадал с годом, в котором родился Леонид Сергеевич. Над двумя рядом стоящими кроватями, на том месте, где обычно помещается Джоконда, или розового тела женщина с распущенными волосами на голой груди, или баядерка с монистами на шее и бубном в руках, высился «Эпизод разрушительного землетрясения в Италии» – землетрясение произошло в год окончания Булыгиным зубоврачебной школы. На письменном столе в кожаной рамке стояла вырезанная из журнала фотография близнецов – женитьба Леонида Сергеевича.

Когда жена Булыгина забеременела, зубной врач купил портреты Куропаткина, Стесселя и адмирала Макарова. Год знаменательный, нельзя сомневаться, что звезда сына – в том, что родится сын, Леонид Сергеевич не сомневался – поднимется высоко, ярко засияет. Но беременная поскользнулась, на отполированном тротуаре остался кровавый ком – звезда погасла, не успев разгореться!

Несчастье огорчило Леонида Сергеевича.

* Ольга Русанова, член партии, лаборантка беконного завода в Днепропетровске. (Примечание Товстуна.)

– Виноват-с, – говорил он больной жене, сидя на ее кровати и теребя одеяло. – Это как понимать? Символ? Я не суеверен, я окончил зубоврачебную школу!

Спустя два года Нина Васильевна родила сына. В том сером году ни одно событие не привлекло внимание зубного врача. Все же из желания видеть сына знаменитым, выдающимся и успевающим в жизни, отец назвал сына Виктором.

– Опоздал ты, Победитель, – не раз говорил сыну Булыгин. – Опоздал ты, Витя, родиться! Год твой, он не такой, не этакий... Эх, ты – Невпопад Невпопадович!

Эти слова Виктор запомнил надолго.

С малых лет мальчик должен был отвечать на вопросы родителей: какой именно деятельностью он будет заниматься?

Ни отец, ни мать не были довольны своей судьбой, они хотели, чтобы сын не повторил их ошибок. Но в то время, как Булыгина имела в виду мирную карьеру – адвоката, банкира, заводчика, – Леонид Сергеевич видел Виктора полковником, генералом, Наполеоном, – не был ли французский император мальчиком средней руки?

– Главное, не женись рано, это, брат, губит, – поучал отец.

– Главное – не женись на мещанке, – в тон мужу говорила жена.

– Губит не звание, а тупость, – убежденно замечал зубной врач.

Мать рассказывала о замечательных партиях, они в состоянии обогатить способного, старательного и красивого молодого человека. Надо только прилежно учиться, усваивать хорошие манеры, не якшаться с детьми ремесленников и рабочих, выбирать достойных товарищей. Отец говорил, что жизнь героя складывается из двух элементов – личных качеств и счастливого случая. В ожидании этого случая он советовал закалять здоровье, тренировать волю, драки с мальчишками доводить до победы. Мать затыкала уши и спешила увести ребенка.

Во время войны отец еще раз напомнил Виктору, что он опоздал родиться. «Война родит героев, – говорил Леонид Сергеевич, – а тебе, Невпопадушка, только десять лет...»

Последние наставления, последние заботы. Наступила революция, семнадцатый год, жизнь заново пересмотрела не только судьбу Виктора, но и судьбу родителей – зубного врача и его жены, давно махнувших на себя рукой...

.....

На одно обстоятельство жаждавший мести Товстун обратил особое внимание. Речь идет об известном поступке зубного врача, вызвавшем в свое время много толков и пересудов.

Допрашивая Ольгу Русанову, Товстун еще не знал, что дальнейшие показания дадут достаточный материал для суждений о Викторе Булыгине, и подробно изложил скрытый студентом факт – принятие Леонидом Сергеевичем сана священника...

Товстуну хотелось изобразить дело таким образом, что семья Булыгиных все время была религиозна, мальчик получил чуть ли не духовное воспитание. «Квартира зубного врача была, вероятно, увешана иконами, Булыгины часто посещали церковь, водили туда Виктора, в дом приезжали священники?» – допытывался Товстун и отрицательные ответы Ольги Русановой ставил под сомнение. Ему важно было установить, что отец Булыгина давно готовился стать попом, «действовал с определенными намерениями и в полном согласии со всеми членами семьи».

Впрочем, исключенный из института студент был достаточно честен, чтобы не извращать показания Русановой. С ее слов он записал, что в «девятнадцатом году, неожиданно для семьи и соседей, Л. С. Булыгин стал священником, осудил братоубийственные распри, взывал к всепрощению и любви».

Видно, этому факту Ольга Русанова не придавала большого значения.

Т о в с т у н. И вы, дочь рабочего, считали для себя возможным продолжать знакомство с сыном попа?..

Р у с а н о в а. Что же тут особенного? Мы росли в одном дворе, мне было пятнадцать лет, ему – тринадцать...

.....

В восемнадцатом году Ольга Русанова поступила на рабочие курсы, они открылись при гимназии, в которой обучался Виктор Булыгин. Мальчик поражал ее своей начитанностью, часами не разгибаясь, он сидел над книгами. Он много и часто говорил о революции и выражался так замысловато, что в те годы свидетельница вряд ли понимала его. Ей, например, запомнилась непонятная тогда фраза, сказанная Виктором в девятнадцатом году, когда Мах-

но занял Екатеринослав. «Революция, – сказал он, – это колоссальное зрелище, все дело в том, чтобы на представлении быть не зрителем, а одним из главных участников». Эту мысль, как и другие, он, вероятно, вычитал в одной из своих книг. Подведя итог всем его тогдашним высказываниям, Ольга Русанова говорит, что «грохот революции, ее удары пришлось не по голове Виктора, не по сердцу его, а по ушам, пожалуй – по зрению». Он был необычайно честолюбив. Он чувствовал себя на много голов выше окружающих. Он был уверен в своих способностях и не раз говорил о том, что в конце концов займет положение, которое заслужил по праву. Революция поможет ему.

По словам свидетельницы, поступок отца огорчил Виктора. (Примечание Товстуна: «Так ли оно было в действительности?..») Он часто утверждал, что ряса священника является единственным препятствием на его пути. В какой-то мере он был прав. В двадцать первом году наробраз выдал Булыгину бумажку об окончании средней школы. «Выходит, в шестнадцать лет я должен признать свою карьеру законченной и записаться в инвалиды, – недоумевал Виктор. – Но я не желаю, начав жить, чувствовать себя выброшенным из жизни!» Русанова посоветовала ему идти на завод, – в том году набирали рабочих. «Мой совет, – говорит Русанова, – оскорбил его». – «Благодарю покорно... иллюстрация к политграмоте: сын искупает вину родителей... Через десять лет курносые гении – товарищи по станку – с глубокомысленным видом, вытирая нос рукавом, будут меня спрашивать, изжил или не изжил я свою сущность. И почему я – способный, начитанный, культурный – должен стать рабочим, ограничиться физическим трудом? Разве я не имею права на лучшую судьбу?..»

Свидетельница заявляет, что он утомлял ее своими желчными придирками, он был зол и раздражителен, чаще, чем следует, говорил о себе. Порою она думала, что, отчаявшись, он выкинет штуку вроде отцовской. Как-то она высказала ему свои опасения. Булыгин рассмеялся ей в лицо: «Нет, нет, я не дурак!»

Так продолжалось до двадцать третьего года.

Однажды...

.....

...Новость распирала Булыгина, слова подступали к горлу. Припав к окну, он всматривался в лица прохожих. Несколько раз почудилась белая шапочка – и он выбегал на улицу. «Нет, не она!» Не доверяя глазам, он прыгал через ступеньки, спешил в подвал. «Оля не пришла?» – «Нету». Наконец в дверях он столкнулся с Русановой. «Тише... Что с тобой?» Не обращая внимания на крик девушки, на недоуменный взгляд ее матери – жены рабочего, он схватил Ольгу на руки и отнес ее в комнату. Оставь... с ума сошел», – как можно строго сказала Русанова и стала собирать рассыпанные на полу книги.

– Оля... Олечка, только ты меня поймешь, – усаживая ее на табурет, произнес Виктор. – Через три дня я еду в Москву!

– Опять фантазия? – Ольга нахмурила лоб и холодно посмотрела на Булыгина.

С некоторых пор она усвоила манеру – высмеивать слова Виктора, вскидывать плечами и все, что бы он ни говорил, называть «фантазией». Ее одинаково огорчало положение Булыгина и возмущало его безделие. Она переоценивала возможности Виктора, ее бесило то, что «в момент, когда страна нуждается во всех живых силах, он ропщет и занимается черт знает чем».

Под холодным взглядом Ольги Булыгин несколько успокоился. Широко шагая по комнате, он еще раз повторил, что через несколько дней едет в Москву. Зачем? «Работать, жить, лезть вперед, несмотря ни на что – лезть и лезть вперед!» Позже он сообщил, что его мать списалась с неким Рабиновичем, когда-то она оказала ему услугу. В девятнадцатом году Рабинович уехал в столицу и быстро пошел вверх. Кажется, у него была кустарная мастерская, он обещал устроить Виктора...

– Значит, ты все же идешь на производство, но – к частнику, – перебила его девушка.

– Это еще видно будет, – нисколько не смущаясь, ответил Виктор. – Все покажет будущее.

Этому будущему Виктор посвятил немало времени. Давно уже зажгли свет. Ольга листала и листала учебники, брала в руки карандаш – надо было готовиться к завтрашнему дню, Булыгин не уходил. Свою дальнейшую жизнь он сравнивал с чистым листом бумаги – на листе он напишет все, что ему заблагорассудится! Человек без

прошлого! «Наконец-то, как ящерица хвост, я потерял проклятое наследство!» Он заново будет создавать свою жизнь. Увлекаясь, он говорил о том положении, которое сможет занять в столице. Наступило время, когда людям дано развиваться, делать все, что им заблагорассудится. «Надо завоевать место в Москве... Завоевав место, я этим самым завоюю Москву!..»

Ольга рассмеялась.

– Ты опоздал родиться, Виктор, ты опоздал родиться! Что касается Москвы – она уже завоевана...

Булыгин рассердился:

– Поздравляю тебя, ты заговорила словами моего папаша – глупца и неудачника... Не беспокойся, дружок, ты услышишь обо мне – и очень скоро!

.....

Т о в с т у н. Известно ли вам, что родители Виктора Булыгина лишены избирательных прав? В исполкоме мне обещана официальная справка...

Р у с а н о в а. Да, я это знаю... Его отец – служитель культа.

Т о в с т у н. Приезжал ли Виктор Булыгин за все эти годы в Днепропетровск? Слышали ли вы что-нибудь о нем?

Р у с а н о в а. Он обещал писать – и не сдержал слова. Даже его родители ничего не знают о нем. Полагаю, что, порвав с семьей, расставшись с мальчишескими мечтами, окунувшись в жизнь Москвы, он мог стать полезным человеком, членом нашего общества...

Т о в с т у н (иронически). Предположения нам не нужны... Нет ли у вас каких-либо фактических данных?

Р у с а н о в а. Как будто все...

Показания товарища Ледащева*

Осенью 1923 года в Москву приехал молодой человек по фамилии Булыгин. Было бы трудно во всех подробностях вспомнить все, что произошло с ним в то далекое время. Свое будущее Булыгин рисовал даже не в образах, а в звуках, и это была такая торжествен-

* Тов. Ледащев с 1921 по 1925 год работал в стереотипной Рабиновича. Ныне – рабочий 15-й цинкографии. (Примечание Товстуна.)

ная, полная высокого дыхания музыка, что у него темнело в глазах и хотелось прислониться к стене. Так представляя будущее, молодой человек мог мириться с каким угодно настоящим. Его не удивил ни убогий вид стереотипной, к дверям которой он подошел с бьющимся сердцем (Виктор был уверен, что Рабинович обладает огромным предприятием), ни сам хозяин, к тому времени достигший полного расцвета.

Мастерская находилась в подвале, три ступеньки вели вниз. Подвал был сырой – горячий туман висел здесь, как в прачечной. Пахло керосином, оловом. Освоившись с туманом, Булыгин увидел два больших стола, они были завалены марзанами – чугунными закладками, шурушными ключами, щетками для промывки набора, чурками для выколачивания типографских форм. Над столами на полках лежали подрумяненные матрицы. В углу, накаляя тесный, с полукруглыми сводами, подвал, помещался пресс-бандурка. Пресс был открыт, в котле серебряно блестел расплавленный гарт (смесь олова и других металлов, употребляемых в стереотипном деле).

Куча деревянных четырехугольников в противоположном углу – к ним прибывали готовый стереотип.

Когда-то Илья Рабинович – до НЭПа (не без основания) считал себя неудачником – три года провел в Америке. В свое время он об этих годах вспоминал с горечью и отвращением: Новый Свет измытарил его. Теперь же все удачи Рабинович приписывал своему пребыванию в Соединенных Штатах, той деловитости, которую он оттуда вывез. Он и спецовку сшил на американский фасон, надо не надо – произносил американские слова, восхвалял заокеанскую аккуратность, систему труда – не она ли обогатила его? Он представлял себе, как на его месте поступил бы американец, и подражал этому воображаемому янки. Он был придиричиво требователен к рабочим; сейчас, с приездом Булыгина, их у него было двое.

– Очень хорошо, – сказал он, прочитав слезливое письмо Булыгиной и пряча роговые очки (тогда они только входили в моду). – Что такое личные отношения, молодой человек? Это чепуха, цена им грош! Если я уважил просьбу миссис Булыгиной, то только потому, что мне нужен подросток-ученик. Ты, должно быть, думал, что я сижу в отдельном кабинете и по телефону отдаю распоряжения? Посмотри на мои руки – они не отмываются даже по праздникам.

Чему тебя учили в гимназии – тригонометрии, французскому языку? Мне твоя ботаника не потребуется – можешь выбросить ее из головы. Мне нужен паренек, который умеет делать все, что я ему прикажу, – мне нужен рабочий, и мне нет дела до того, как ты жил у своих родителей.

Тут он сделал передышку, прищурившись, посмотрел на Булыгина и деловито потер черные от типографской краски ладони.

– Миссис Булыгина пишет о квартире для тебя... – Рабинович усмехнулся, лоб покрылся морщинами. – Не думаешь ли ты, что я отведу тебе отдельную комнату и по утрам, в постели, тебя будут поить горячим молоком? Если ты только рассчитываешь на это, то – вот деньги на обратный поезд, возвращайся в Екатеринослав. Я разрешу тебе ночевать в мастерской – заодно будешь ее охранять. Услуга за услугу, плата за плату. Жалованье? Оклад я назначу тебе через три недели, когда увижу, какой ты работник. Итак, не будем терять рабочее время на пустяки – по рукам?

Он сказал «по рукам», но руки не протянул. Булыгин утвердительно кивнул головой. Он тотчас же определил свое место под сводчатым потолком. Он был рад, что хозяин не обратил внимания на его белые, не привыкшие к физическому труду руки. Он рвался в драку с жизнью, он заранее предвидел, что она будет трудна. Он готов был на все, путь в родной город отрезан. В тот же день ему пришлось перетащить несколько тонн угля – для бандурки. Лежа на каменном полу, он раздувал огонь, уголь стрелял, искры летели в лицо. Чувствовал ли он ожоги? Он сообразил, что жалованье получит лишь через полмесяца, и оставшуюся от дороги мелочь разделил на пятнадцать частей. В лавочке он узнал цены на продукты. В день приходилось ему полтора фунта черного хлеба, двести граммов камсы – невкусной, колючей дряни. По воскресным дням можно роскошествовать – камсу заменить чайной колбасой. Что ж, для начала неплохо!

Работы было много, Виктор старательно трудился. Он подавал инструмент, растапливал гарт, выколачивал наборные формы... Гарт Рабинович покупал на рынке – тяжелые бруски Булыгин тащил на спине с рынка в мастерскую. Он разносил заказы – в каждом было по пуду и больше, бегал за ними в типографии – государственные, кооперативные, артельные. Таким образом он открывал Москву – ее

районы, ее площади, улицы, переулки и тупики. При всей своей придирчивости Рабинович не мог на него пожаловаться. Через две недели Виктору назначили жалованье. Хозяин не особенно скупился: дела процветали. На свои средства он купил юноше складную кровать, матрац, волосяную подушку. Булыгин на рассвете убирал постель, прятал ее за кипами папиросной и промокательной бумаги. Там же хранился его чемодан, десятка два книг – по вечерам он занимался.

К его книгам Рабинович относился со снисходительной усмешкой. Разумеется, свободным временем юноша мог располагать как заблагорассудится. Рабинович часто говорил об этом, чтение не противоречило американской системе труда. Наоборот, американизм как бы не позволял вмешиваться в личную жизнь молодого рабочего. Все дело в том, чтобы выполнять требования хозяина. Выполнил ли их Булыгин?

Было уже сказано, что к работе Виктор относился аккуратно, при всей своей строгости Рабинович не мог к нему придраться. Существовала, однако, мелочь, которой хозяин не был доволен. Увлекаясь книгами, Булыгин, должно быть, забывал вовремя тушить котел. Часто, приходя на работу, Рабинович обнаруживал, что бандурка не успела остыть.

– Ты только не ври, – горячился хозяин, его шея раздувалась и краснела (в эти минуты он вряд ли напоминал деловитого американца). – Только не ври: ты опять забыл потушить бандурку?

Булыгин и не думал оправдываться. Работая во всю мочь, он точно отстаивал эту маленькую оплошность. Впрочем, беспрестанные упреки хозяина подействовали на него – на очень короткий срок. Он стал своевременно тушить бандурку, наутро она была холодна.

Прошло немного времени, упреки Рабиновича возобновились. Ворчливые упреки, ими начинался день. По-прежнему стоял он у теплой бандурки, гудел, недовольно вскидывал плечами.

.....

...От приятеля Ледащев возвращался навеселе, в том состоянии, когда человек полон энергии, по-новому представляются отношения с людьми, зорче глаз. Была гололедица, стеклянно блестел бульвар. Ледащеву доставляло удовольствие осторожно ставить ноги, держаться, не скользя, прямой линии. Навстречу шел суровый ста-

ричок, бережно, за локоть, держал веселую даму. Фонарь полосами освещал ее лицо, она пробовала кататься.

– Крепче держи, дед, – посоветовал Ледащев, предупредительно уступая дорогу. – Удерет она – молодая. Ей жить охота!

– Не твое дело, пьянчуга, – огрызнулся старичок и угрожающе поднял палку. – Пошел бы спать!

– Чего лаешься? – с недоумением спросил рабочий. Он посмотрел им вслед, pokrutil головой: замечание правильное, непонятно, почему старик так окрысился. – А спать я не буду, не-ет! Какой интерес – спать? Сам ты иди... спать!

Он кружил по бульварам, все больше отдалялся от своей квартиры, хмель покидал его. Куда бы сейчас? Тут он подумал о Булыгине, поднял указательный палец и, держа его у прищуренного глаза, стал беседовать с товарищем по работе: «Ты, браток, того... Ты, браток, не особенно старайся... горячий! Кому служишь? Капиталу. Какому? Частному. Гнет... Понимать надо!»

Рассуждая таким образом, Ледащев неожиданно для себя очутился у стереотипной. Подвал освещен, окно занавешено, дверь заперта изнутри. «Грызешь науку? Грызи, друг, грызи, это тебе не наше черное дело. Ну-ка открой!»

Он постучал, ему не ответили. Постучал еще раз. Не случилось ли что с парнишкой? Ухом прижался к двери, стал стучать. В мастерской шла возня... Ледащев подумал, что книгам и учебникам молодой рабочий предпочитает любовь. Мысль развеселила его. «Скажи спасибо – Рабинович не знает, он тебе такое задаст, – бормотал он. – Ты от меня не скрывай, девицу я не съем. Я, может, с ней поздороваться хочу – душевно. Имею полное право...» – и застучал изо всех сил.

Прошло немного минут, дверь внезапно открылась. Булыгин был смущен – это сразу заметил трезвеющий Ледащев, – он стоял съезжившись, руки в типографской краске. Ледащев обошел мастерскую – никого. Оглянулся. Бандурка раскалена, как во время работы. На полу расплеснутый гарт – спеша открыть, Булыгин опрокинул ковш.

– Кой-чего соображаю, – ничего не понимая, сказал Ледащев. – Очень даже соображаю!

Тогда, заикаясь, от страха повысив голос, Булыгин стал говорить, что Ледащев давно следит за ним, он только и думает, как бы

выслужиться перед Рабиновичем! «Доноси, доноси, гадина, – крикнул он в исступлении. – Пускай меня гонят на улицу».

Ледащев обиделся – до того, что забыл взять Булыгина за шиворот. «Вот, значит, как ты меня понимаешь... Хорошо!»

Булыгин понял, что хватил через край, и пошел в открытую. Мгновенно успокоившись, он заговорил о том, что трудная работа «ученика», подручного, получающего пять червонцев в месяц, не удовлетворяет его (надо ведь и о будущем подумать... Для того ли я приехал в Москву, живу в подвале, товарищ Ледащев?). Ледащев кивнул: «Сам понимаю... валяй!» И вот по ночам, тайно от хозяина, Булыгин стал изучать стереотипное дело... (Ледащев взял себя за нос, прыснул в кулак: «Теперь ясно, почему не остывала бандурка!») У Китайской стены Булыгин купил учебник по стереотипу. По ночам он занимался практической работой, лепил матрицы, отливал стереотип – чтобы на рассвете и то и другое сжечь, растопить в котле.

– Ну и тип! – Обида испарилась – как и водка, глаза у Ледащева блестели. – Покажи-ка... что ты там натворил?

Булыгин поднял пресс и вытащил теплый еще стереотип. Ледащев попятился. Без чьей бы то ни было помощи, за короткий срок, Булыгин изучил стереотипное дело!

– Ах, ты... сукин сын! – Ледащев ударил себя по коленям и протянул прямую, как доска, руку для пожатия. – Ты – вот ты какой! Ну... поздравляю! Теперь плюнь Рабиновичу на порог, ищи работу стереотипщика. Хочешь – помогу?

– Погоди, – довольный похвалой, ответил Булыгин. – Уйти от Рабиновича я всегда успею. Стереотип у меня получается грубый, мне не дается обработка. К тому же у меня нет угла...

– Стой, – крикнул Ледащев. – Чего не знаешь – спрашивай! Буду тебя учить по ночам! И не думай отказываться! Я от души!

Т о в с т у н. И вы его обучали?

Л е д а щ е в. А как же! Понятное дело – учил.

* * *

Л е д а щ е в (продолжает показание). Все мы растем, товарищ... не знаю, как вас по фамилии, у каждого в голове дерьма этого, темноты то есть, достаточно. Вот, к примеру, брат у меня – партизанил. Колчака гнал. Приезжаю к нему в отпуск, – все в колхозе – он в сто-

роне. «Что ж ты, говорю, в колхоз не идешь?» Носом ворочает. «У меня, говорит, на плечах одна голова, сам работаю, семью, детей, то есть, кормлю...» Что хошь с ним делай, он – свое!..

Т о в с т у н. К чему это вы?

Л е д а щ е в. А вот к чему. Я хочу сказать: хоть Булыгин и сознательный был, книжки читал, а все ж таки спасовал разок. Вот у нас какое дело получилось.

В двадцать пятом году у меня с частником, с Рабиновичем то есть, конфликт вышел. Заболел я воспалением, жену за жалованьем послал, а он не дает. «Я, говорит, за работу плачу, у меня, говорит, не собес...» Вот тебе и американец! Поправился я, иду в союз, мне союз объясняет: обязательно вас страховать надо. Сказал я Рабиновичу, а он – ни в какую. Что прикажешь делать? В союзе говорят, бастуйте, товарищи, мы вас поддержим. Поговорил я с Булыгиным, объяснил: «Видишь, мол, какое дело, нам, говорю, частный капитал учить приходится, теперь не старый режим. Наша задача, объясняю, сообща бастовать, других рабочих, штрейкбрехеров то есть, не допустим. Неужели, говорю, мы в Советской стране не добьемся правды?» А Булыгин ваньку валяет. «Я, говорит, никак не согласен, мне, говорит, работать надо, а не бастовать»... Ах ты... сукин сын! Так ты меня поддерживаешь?

Т о в с т у н. Это очень важный момент... Что ж, он так и не согласился?

Л е д а щ е в. Не согласился! Я его добром, объясняю все как есть, я его злом – не помогает. Заладил свое – ни с места!

Т о в с т у н. Вы же могли рассказать Рабиновичу, что Булыгин занимался по ночам...

Л е д а щ е в. Ну... губить парня мне тоже неохота, Рабинович мне не товарищ! Подумал я, подумал и плюнул-растер, ушел то есть на государственную работу – в цинкографию. «Ладно, думаю, будь ты трижды наказан, хоть ты, Булыгин, и свинья, а свой, придет время – разберешься...»

Т о в с т у н. Когда это было?

Л е д а щ е в. В двадцать пятом году.

Т о в с т у н. Встречались вы после этого с Булыгиным?

Л е д а щ е в. Нет... То есть – разок его встретил на улице. Хотел подойти, а он – шмыг на другую сторону. Совесть, значит, заела...

Показания Лели Рабинович*

...Леля Рабинович несколько дней отказывалась беседовать с Товстунуном по интересовавшему его вопросу. «С отцом, – заявила Рабинович, – я порвала весною двадцать девятого года, за пять месяцев до его смерти. Никакого отношения к стереотипной никогда не имела». В подтверждение своих слов она показала вырезку-объявление из «Вечерней Москвы»: «Я, Лия (Леля) Рабинович, порвала со своим отцом – Ильем Рабиновичем и живу самостоятельно с 23 марта 1929 года». Товстун попытался разжалобить ее. «Враги Булыгина, – сказал он, – подали на него жалобу, собрали компрометирующий материал, парню грозит исключение из института. Ваше чистосердечное показание может его спасти». – «А хоть бы ему дали минус шесть, сослали в Карелию – мне дела нет», – зло ответила девушка. Тогда, догадавшись, что Леля Рабинович враг Виктора, Товстун намекнул ей о своем столкновении с Булыгиным... «Он подлец, верьте мне, он – подлец». – «Я это знаю», – сказал Товстун и заметил, что к делам бывшего, ныне покойного, кустаря показания Лели никакого отношения иметь не будут, – дел стереотипщика можно не касаться... «Я расскажу всю правду, я ничего не скрою, если вы обещаете, что моя фамилия нигде не будет фигурировать». Товстун уверил ее в этом...

К Виктору Илья Рабинович относился с подчеркнутой сухостью. Владелец мастерской хотел показать Булыгиным (а заодно и всем екатеринославским знакомым), что вот наконец пришло его время – время таких, как он, – людей настоящего дела – ему ничего не стоит покровительствовать землякам, помогать им. Много раз Рабинович готов был спросить у Виктора: что говорят о нем, бывшем бедняке, в родном городе, достаточно ли там осведомлены о его успехах? Стереотипщик был бы рад удивить юношу своей квартирой, обстановкой, вещами. В то же время представлялось (он убеждал себя в этом), что людишки булыгинского типа – мамины сынки, обучавшиеся в гимназиях, вскормленные детской мукой и рыбьим жиром, – ни на что теперь не способны, они только и думают, что о прошлом, метая, чего доброго, в нахлебники. Не полагает ли сын Булыгиных, что Раби-

* Леля Рабинович, дочь Ильи Рабиновича – владельца стереотипной мастерской. С 1929 года работает счетоводом в кооперативе «Красный Октябрь». (Примечание Товстуна.)

нович остался все тем же несчастным, жалким евреем, который брался за какие угодно поручения, лишь бы заработать «рубль на шабес»?

Несколько недель хозяин заставлял Виктора трудиться сверх мер и сил. Он был груб, придирчив, требователен, он как бы старался унижить юношу непосильным трудом. Булыгин мужественно перенес испытание.

Тогда лишь – спустя месяц – Рабинович решился пригласить к себе на квартиру молодого рабочего. Этот шаг окончательно рассеял сомнение стереотипщика. Булыгин был предупредителен, вежлив, подобострастен; о прошлом – ни слова. Он хвалил расположение комнат, поражался шифоньерам, озера и закаты в золоченых рамах привели его в восторг. Он долго отказывался сесть за общий стол, выпить стакан чая. У жены и дочери Рабиновича он поцеловал руку, причем с таким видом, точно просил извинить эту дерзкую смелость.

В дни еврейских праздников Рабинович не посещал мастерскую, с бархатным мешочком под мышкой он отправлялся в синагогу. В таких случаях, закончив работу, Булыгин приходил с отчетом. Присев на краешек стула, он, с несвойственной молодым людям деловитостью, докладывал о всех заказах – поступивших и выполненных. Не раз, без излишней, однако, назойливости, он выражал хозяину свою благодарность за то, что тот вытянул его из провинциального болота, помог стать на ноги, – никогда в жизни он этого не забудет! Хозяин довольно мычал, хлопал Виктора по плечу.

Так, постепенно, менялись отношения между Рабиновичем и Булыгиным. Прошло два года, случай изменил их еще резче...

.....

Как-то (Ледащева не было, Рабинович собирался уходить) Булыгин, оглянувшись, шепнул стереотипщику, что ему нужно переговорить с ним с глазу на глаз. Было бы хорошо, если бы Рабинович уделил беседе несколько минут.

– Приходи чай пить, – насторожившись, ответил хозяин. Он был убежден, что Булыгин заговорит о прибавке жалованья, и до появления Виктора успел обдумать свой ответ. В Америке «ученики» никогда не осмеливались просить об увеличении заработка... Он решил отказать Булыгину, а через месяц повысить оклад.

– Я тебя слушаю, – сказал Рабинович, когда – по своему обык-

новению – Виктор сел на кончик стула и, обжигаясь, маленькими глотками, пил чай.

– Простите, что я вас беспокою... – Булыгин с трудом перевел дыхание. – Мой долг сообщить вам, что за вашей спиной готовится забастовка...

Рабинович удобнее сел в кресло, достал роговые очки и внимательно посмотрел на молодого человека.

– Так, — проговорил он. – Забастовка. Дальше?

Булыгин растерялся.

– Я тебя слушаю, – продолжал Рабинович. – Дальше?

– Ледащев собирается бастовать, – все больше теряясь, говорил Булыгин. – Уговаривает меня присоединиться... из солидарности...

Он тянул слова, у Рабиновича было достаточно времени – принять решение.

– Можешь не затрудняться, – произнес хозяин, усмехаясь в стриженные усы. – Хочешь, я за тебя договорю? Одним словом, господин Рабинович, прибавьте нам жалованья, и я подействую на этого дурака Ледащева, чтобы он не смел бастовать – так, что ли? Шутишь, Булыгин, я умнее тебя, из твоей затеи ничего не выйдет... Пожалуйста... – Рабинович привстал, руками описал полукруг. – Пожалуйста, бастуйте на здоровье, посмотрим еще – кто выиграет. А тебя я попрошу подыскать себе квартиру...

– Вы меня не поняли, – быстро ответил Булыгин и осторожно притронулся к локтю Рабиновича. – Илья Соломонович, вы меня не поняли, – повторил он с мольбой. – С Ледащевым я не согласен, я лично бастовать ни в коем случае не буду... Вы ведь знаете, что я доволен работой... Я считал лишь своим долгом...

Он жалел о затеянном, он не смел поднять глаз, хотя в глубине души был уверен, что неприятная беседа с Рабиновичем принесет свою пользу. Какую именно? Он делал много предположений... И когда через несколько дней Ледащев покинул мастерскую и на его место Рабинович назначил Булыгина, Виктор лишь внешне удивился и обрадовался: он предвидел решение хозяина.

– Вот только справишься ли ты с работой, – беспокоился Рабинович. – Я тебе буду показывать, ты вникай!

Булыгин обещал стараться и удивил Рабиновича своими редкими способностями... Стереотипщика он понимал с первого слова...

Теперь положение Булыгина упрочилось. Прибавка шла за прибавкой, к праздникам Рабинович делал ему ценные подарки: отрез на костюм, серебряный портсигар, часы... Людей со стороны Рабинович решил не нанимать, ограничиться Виктором. С утра до вечера Булыгин работал с еще большим, чем прежде, старанием.

.....

...В начале двадцать восьмого года Рабинович стал прихварывать. Он давно уже жаловался на боль в груди, на сердцебиение, бессонницу. Он сильно похудел. Жена и дочь настойчиво советовали обратиться к профессору, умоляли поехать на курорт – больной отшучивался. Один раз, проснувшись, жена Рабиновича услышала плач. Она соскочила с кровати, зажгла свет, разбудила дочку. Длинные слезы текли по худым щекам Рабиновича, лысая голова запрокинута...

Женщины заплакали.

– Перестаньте расстраиваться, – сказал Рабинович и попробовал улыбнуться. – Какие глупости, мне приснился сон... Тушите свет, мне приснился детский сон...

.....

Рабинович порылся в кармане – под его сухим телом хрустнуло кожаное кресло – и достал ключи от письменного стола.

– Лелечка, – сказал он дочке. – В правом ящике стола лежит большой пакет... Достань его!

Девушка исполнила просьбу отца. Из пакета он достал черную пластинку и несколько бумажек.

– Мы взрослые люди, – произнес он как можно спокойнее. – Мы умные люди, а не бабы какие-нибудь. Мы не должны бояться правды... горькой правды. Посмотрите, я прошу вас, на эту штуку... – и он приблизил к свету черную пластинку. – Посмотри и ты, Булыгин, тебя это тоже касается...

Женщины стали рассматривать пластинку, поднялся с места и Булыгин. На темном фоне он с трудом разобрал рисунок грудной клетки.

– Что это, Илья, – испуганно спросила жена Рабиновича, пластинка дрогнула в ее руке.

– Это рак пищевода, – громче обычного ответил Рабинович. – Это портрет моего рака... И если ты еще ничего не понимаешь, то прочти бумажки профессора.

Жена и дочь подняли плач, Булыгин руками закрыл лицо. Опустив голову, Рабинович ждал.

– Перестаньте, – строго приказал он, когда женщины устали от слез. – Перестаньте заниматься глупостями и слушайте, что я скажу...

.....

– Ты молод, ты способен, твое будущее впереди, – как заученную речь, говорил Рабинович Булыгину. – Ты хорошо знаешь стереотипное дело, работу ты всегда найдешь. Будем откровенны, тебе известно, сколько я зарабатываю. После меня остаются две женщины – жена и дочь. Свою мастерскую, весь инструмент, материал я хочу переписать на имя жены и на твое имя с тем, чтобы половину чистого дохода ты отдавал моей семье. Вторая половина – твоя. Ты, конечно, знаешь, что половина дохода составляет в десять раз больше того, что ты получаешь... Бумагу, если только ты согласен, мы оформим у нотариуса, но это второстепенная статья, я верю тебе, как сыну, больше – как самому себе...

У Булыгина расширились зрачки, удары сердца оглушили его... Тотчас же он закрыл глаза, достал носовой платок и взволнованным голосом заявил, что готов работать на прежних условиях – никакие доходы ему не нужны... «Вы научили меня ремеслу, – сказал он, – вывели на широкую дорогу. Этого я никогда не забуду...»

Рабиновичу долго пришлось его уговаривать. Наконец он согласился. Назначили срок – через неделю пойти к нотариусу. Несколько раз Булыгин отодвигал день подписания договора – ссылаясь на неотложные дела...

.....

Т о в с т у н. Не сохранился ли у вас нотариальный договор с Булыгиным?.. Дайте мне хотя бы копию — без указания вашей фамилии...

Л е л я Р а б и н о в и ч. Никакого договора нет, он не был заключен...

.....

... В этот памятный день, как утверждает Леля Рабинович, Булыгина точно подменили. Быстрой походкой, не снимая плаща и кепки, он вошел в спальню Рабиновича и заявил, что никакого нотариального соглашения подписывать не желает. «Это было сказано таким тоном, – говорит девушка, – что мы – я и мать – невольно присели, нам показалось, что мы ослышались...»

– Почему же... Что с тобой? – не скрывая своего волнения, допытывался Рабинович.

– Потому, что я не хочу быть нэпманом!

– Как это — нэпманом?

– Таким, как вы... Вам что – нужны подробности?..

«И он, – продолжает девушка, – произнес форменную речь, такую, что нам было стыдно смотреть ему в глаза. Можно было подумать, что отец все время обманывал его – маленького мальчика... Я жалею, что не сразу опомнилась и не выгнала его из дома... Отцу показалось: за фальшивыми словами Булыгина кроется иное, – и он стал допытываться, почему Виктор так внезапно изменил свое решение. «Я не исповедоваться к вам пришел, – грубо ответил Булыгин. – С завтрашнего дня я бросаю работу, я поступил на службу в типографию... Будет лучше, – добавил он, – если мы забудем о существовании друг друга»... Вы понимаете? – он угрожал...»

Т о в с т у н. И поступил в типографию?

Л е л я Р а б и н о в и ч. Об этом мы узнали через месяц. Покойный отец был уверен, что Булыгин собирается открыть собственную мастерскую... Зачем же ему было менять свое отношение к нам? На этот вопрос отец не мог ответить... Только после его смерти я узнала кое-какие подробности... Я поняла, что собой представляет Булыгин...

Т о в с т у н. Как? Вы продолжаете с ним встречаться?

Л е л я Р а б и н о в и ч. Что вы! Я выбросила его из своей памяти, я забыла о его существовании. Нет, я говорю о записках Булыгина... Лето двадцать шестого года мы провели на даче. Булыгин три месяца жил на нашей квартире. После смерти отца в одной из своих книг я нашла записки Булыгина – он, видно, случайно положил туда листки. Я прочла записки – и не могла их уничтожить, так они мне были противны. Я захлопнула книгу и поставила ее на этажерку. Даже и сейчас сама книга кажется мне отвратительной...

Записки Виктора Булыгина

... неудовлетворенность...

Вот уже несколько дней, как я живу в квартире Рабиновича. Она переделана из сарая, и в ней семьдесят пять метров жилой площади. Семьдесят пять метров! По вечерам от нечего делать я зажигаю свет и хожу из комнаты в комнату. Стильная мебель, кожаные кресла и диван, тяжелые, из густого плюша, портьеры, спальня грушевого дерева – до этого был «птичий глаз», почему-то он не понравился «миссис Рабинович». Мне доверили ключи, я отпираю шифоньеры, они переполнены вещами. Все – в огромном количестве, точно каждый член семьи собирается прожить десять веков. Рабинович, всю почти жизнь проносивший пару стоптанных ботинок, имеет одиннадцать пар обуви, – набитые бумагой, они занимают целую полку – желтые, коричневые, белые, черные, лакированные, полуботинки, на шнурках, на резинах! Брюки лежат высокой стопкой – новые, ненадеванные. Белье – горой. Кольца, браслеты – старинные, чудовищного размера – вряд ли их можно носить. Очевидно, куплены задешево – как ценность.

Порой мне кажется, что я попал в кладовую сказочного грабителя. И в самом деле, разве Рабиновичи (их много, их очень много) не являются грабителями таких, как я, людей – более способных, культурных, молодых? Разве наше время – это время бывших неудачников и мелких лавочников, которые даже не догадываются, какие перед ними открываются горизонты? Кто они – эти ничтожества, самозванцы, холуи, распоясавшиеся на чужом пиру, кто они, эти нэпманы?

За три года я достаточно к ним присмотрелся, я знаю не только Рабиновича – я знаю всех его знакомых, десятки и десятки нэпачей-частников. Все это – мелкая плотва, кустари в подлинном смысле этого слова.

Вот – наугад – несколько биографий, я мог бы увеличить список в десять и больше раз.

Соколов. Когда-то он был ткачом. Теперь раздобыл три ручных станка, с утра до вечера он ткет какие-то сукна. За станками – инвалиды-рабочие, Соколов беспощадно их эксплуатирует. Жены и дети рабочих разматывают пряжу – руками, разумеется.

Кикнадзе. В прошлом – мясник-приказчик. Теперь владеет мяс-

ной лавкой. Она тесна, как гроб, и неудобна. Каждую неделю Кикнадзе рыщет по подмосковным деревням, покупает скот – яловую корову, трех телят, пяток овец – и тогда на его лавке висит замок величиной с тарелку, покупатели идут к другому мяснику.

Николаенко. Магазин готового платья. Десяток костюмов, несколько плащей, брюки. (Полмагазина Николаенко сдает часовщику.)

И так дальше, и так дальше, и так дальше.

Все они успели хорошо заработать. Все из бывших сараев, из бывших кухонь, бывших конюшен перестроили квартиры. Или в Марьиной роще купили деревянные дома. Или на правах застройщиков «застроили» ворота. Все они покупают вещи, уйму вещей, замуровывают железные шкатулки с золотыми десятками и считают себя счастливейшими людьми в мире.

Никто из них не подумал, что ручные станки пора бы заменить механическими, выбрасывать на рынок не пять кусков мануфактуры, а пятьдесят, пятьсот, пять тысяч! Их крылья подрезаны – как крылья у птиц в зоологическом саду. Их аппетит ограничен, их желанья не идут дальше одиннадцати пар ботинок. Они запасаются всем – до конца жизни, если бы было возможно, они бы запаслись гробами, местом на кладбище. Жалкие кустари, жалкие пешеходы, пигмеи, не умеющие и не желающие расти!

.....

Сегодня я еще раз пересмотрел и окончательно установил свой бюджет. Вот что я должен тратить в день:

Хлеба – два фунта	20 копеек
Колбасных обрезков — двести гр.	25 ”
Обед в вегетарианской столовой	35 ”
Чай, сахар	10 ”
Итого	90 коп.

В месяц – 27 рублей. Починка одежды и обуви, кое-какие покупки, карманные расходы – 8 рублей. Итого – 35 рублей, ни одной копейки больше.

В настоящее время я получаю пятнадцать червонцев. Ежемесячно я должен сберегать сто пятнадцать рублей. В год с процентами это составит полторы тысячи. С капиталом в шесть-семь тысяч

можно бросить вызов не только Рабиновичу, но и всей Москве, всему миру!

.....

Из месячного жалованья я мысленно отделил двадцать пять рублей. Рубль за вход – и вот я сижу за зеленым сукном, никелевая стрела перебирает деления, чтобы замедлить бег, остановиться на одном из них. Рядом со мною сидят люди, так же, как и я, они хотят выиграть. Они волнуются, шепчут, вздыхают, у них трясутся руки, дрожат губы – кажется, они худеют у меня на глазах. Такое впечатление, что, перед тем как совершить кружение по зеленому полю, острие стрелы впивается в мои внутренности, тянет за собой кишки... Я закрываю глаза, стискиваю колени, считаю до тридцати – считаю очень быстро, потому что, когда открываю глаза, блестящая стрела все еще волочится по зеленой дорожке. Мимо! Мимо! Мимо!

Тогда, вновь закрыв глаза, я беседую с Высшей Справедливостью – сейчас я убежден, что она существует. «Послушай, – говорю ей, – ведь Ты не слепа, Ты знаешь: выигрыш не нужен ни рядом сидящему растратчику, ни бледной даме со вставленными зубами, ни паре, которая мило шепчется и – я уверен – хорошо проживет без случайного заработка. Главное же – они потратят деньги на всякую ерунду, они проедят их, пропьют. Другое совсем дело – я. Ты, Высшая Справедливость, это знаешь...»

Так я беседую с Высшей Справедливостью, и – пока беседую – стрела отмечает чужое счастье. Ну и к черту ее, эту Высшую Справедливость, чепуха какая!

– Послушайте, – шепчет сзади меня стоящий старик, – ставьте на это деление... – и длинным пальцем указывает номер. – Я ручаюсь... у меня выкладки.

Я не верю ему – и все же ставлю последнюю – из двадцати пяти рублей – бумажку. Мимо!

– Умоляю вас, – шипит старик и холодными капельками брызжет на мои горячие уши. – Умоляю вас – в последний раз ставьте на это деление...

Довольно! Двадцать пять рублей проиграно. Я хотел приблизить счастливое время – и лишь отдалил его. Конец. В первый и в последний раз я сижу у зеленого стола. Пусть плюющий старик го-

ворит что угодно, пусть он сулит тысячи. Я не имею права рисковать. *Точный расчет* – вот моя игра.

.....

В минуты безделья я выбираю более удачливых родителей. Чьим сыном я хотел бы быть? Сыном Рокфеллера, Форда, Моргана... Но тут я ловлю себя на мысли, что не сыном одного из этих знаменитых людей я хотел бы быть, а самим Рокфеллером, Фордом, Морганом. Они не могут похвастать ни происхождением, ни чистотой крови. Один был газетчиком, другой – чистильщиком обуви, третий – «мальчиком» на предприятии. Как и они, я не скрывал бы своего происхождения. Зачем? «Да, – говорил бы я всем. – Я не принадлежу к тем юношам, которые неизвестно почему тосковали, томились, разрешали мировые вопросы (всем им цена грош!) и бездельничали, транжирили капиталы родителей. Мой отец – зубной врач. Он также мог быть казначеем, комиссионером, красильщиком, арендатором, служащим, учителем начального училища – одним из тех отцов, которые ничего не оставляют своим детям. Таким, как я, молодым людям очень трудно выбраться, при царском режиме многие из них гибли, кончали карьеру почтово-телеграфными чиновниками – и это потому, что они не были детьми богатых дворян и помещиков. Но вот пришла революция, звания отменены, на нашем пути нет препятствий – как не было препятствий у американских миллионеров. Теперь все зависит от нас. Оступился, упустил момент, зазевался, не сумел – твоя беда, пеняй на себя. Сиди в таком случае на бочке с дерьмом, жалуйся, дурак, на судьбу. Я тебя не пожалею. Я бы и самого себя не пожалел, если от жизни ничего бы не мог урвать...»

.....

Писатели должны не только видеть, но и – предвидеть.

Вот почему я отношусь отрицательно к русской литературе, к ее героям. «Верь – настанет пора и погибнет Ваал...» А потом что будет? Почему ни одна русская книга не могла предвидеть тот момент, когда бесправный молодой человек, человек средних родителей, сможет завоевать жизнь? Об этом я знаю из биографий американцев, из книг французских писателей.

Чем они занимались – все эти Онегины, Базаровы, Вронские,

Санины? Даже Хлестаковы и Чичиковы забавлялись каким-то очень глупым жульничеством. Я не только не жалею их – я рад, что они уничтожены. Несчастные аристократы и бездельники только и делали, что транжирили капиталы своих предков. Как будто никто не знает, как были приобретены все эти чины и звания!

.....

... В «Ленодежде» – угол Кузнецкого моста – на карманные деньги купил шляпу – серую с темной лентой. Я примерил ее у свисающего на цепочках зеркала. Я увидел черные глаза, крутой подбородок, упрямый лоб. Прядь густых волос – пока я снимал кепку – упала на лоб.

Девушка – у прилавка – смотрела на меня с восхищением. (Знаю, я красив.) У нее мягкие, с ямочками, необычайной белизны и нежности руки, добрые глаза, полные, чуть тронутые краской молодые губы. Дразнящие кружева выглядывают из выреза, полная грудь начинает там двоиться, чтобы чуть ниже прекрасными округлостями приподнять платье. На округлостях бугорки, они натягивают материю.

Девушка смотрела и смотрела, она брала шляпы, шевелила бедрами – она всю себя показывала – как хороший, без изъяна, товар. Искры бегали по моей спине – от поясницы к затылку.

– Серая шляпа вам к лицу, – сказала девушка грудным голосом и стала советовать, какого цвета галстук купить к шляпе.

Мы тихо, как сообщники, переговаривались и скоро назначили друг другу свидание. Я был упоен успехом – к счастью, ненадолго. «Глупец, – сказал я себе, – ни на какое свидание ты не пойдешь!» Мне бы ничего не стоило распалить девушку и, пожалуй, самому распалиться, через неделю она пришла бы ко мне (на квартиру Рабиновича) и с порывом человека, которому нечего терять, на постели «мисс Рабинович» отдала бы мне самое ценное, чем она владеет, – свою девственность.

В результате – жена, получающая пятьдесят рублей в месяц, комната в десять метров (ее дар), перелицованные платья, штопаное белье, кинематограф по воскресным дням, Большой театр по праздникам. Прощай, мечты!

Для этого, значит, я приехал в Москву?!

Я вовремя взял себя в руки; слабость, отступление длилось ровно столько, сколько длится путь от магазина на квартиру Рабиновича.

Всего тебе хорошего, девушка из «Ленодежды»!

Зубчатыми кружевцами можешь прельщать кого угодно – только не меня.

Я хочу завоевать мир, и я его завоюю! Ты же можешь мне дать десять метров – десять метров на двоих, в скором времени и на троих. Не выйдет, не выйдет дело! Думай, что хочешь, – на свидание я не приду...

.....

Часто я запираю квартиру и брожу по Тверской. Улица покорена нэпачами, это для них до рассвета открыты рестораны и отдельные кабинеты, поют и пляшут цыганки, взад и вперед шатаются намалеванные девки. Нэпачи торгуются с ними – открыто, на улице (есть «золотые» девицы – золотая десятка за ночь...).

Брань, крики, ругань. То и дело открываются широкие двери ресторанов, оттуда выводят блюющих людей. К полуночи тротуар покрыт серыми пятнами – блевотиной. Нэпачи гуляют...

Свои страстишки они удовлетворяют по дешевке – за пятерку, за десятку. Вряд ли у них – даже у самых богатых – имеются любовницы, содержанки. Как-то случайно я услышал, как молодой нэпач торговался с девушкой. «Мое вино, твоя закуска», – говорил он, голос его срывался. «Ладно, только извозчику вы платите...» – «Наполовину», – стонал нэпач... Совсем как на черной бирже...

.....

Мои страсти, мои желания связаны по рукам и ногам, я дразню их – как расчетливый хозяин злых собак. Часто я останавливаюсь у главного входа лучшего ресторана. Съезжаются гости. Машина следует за машиной. Первым делом я выбираю лучший автомобиль. Он мягок, он красив, как живое существо, он изящен. Покончив с автомобилем, я останавливаю свое внимание на самой прекрасной женщине. Вот она выпорхнула из лакированного ящика, под руку со мной она плывет к дверям отдельного кабинета. Она едва касается тротуара. Она счастлива, что я – герой, один из богатейших людей

страны – буду целовать ее рот, срывать с нее шелк и кружева. Пунцовая от волнения, закрыв лицо рукой, она сидит на белой шкуре медведя. До боли в глазах я разглядываю ее розовое тело, точеные благоухающие формы. И когда воображение становится более ярким, чем действительность, когда женщина говорит мне самые нежные слова, я выключаю мысль, начиная издеваться над самим собой. Я высмеиваю свой костюм, свое белье, свою обувь и шляпу. «Ты нищий – ты похож на жалкого попрошайку, – говорю я себе. – Протяни руку, попроси милостыню, и никто не удивится...» Вдоволь поиздевавшись, я обращаюсь к Виктору Булыгину с речью: «Все зависит только от тебя, – внушаю я ему. – Желай, острее желай! Слепо, упрямо тянись к своей цели! Ни с кем, ни с чем не считайся! Будь более злым и напористым! Пусть тебе снятся лучшие в мире женщины, тончайшие вина, особняки, бриллианты величиной с голубиное яйцо и золото, золото, золото! Ты вовремяходишь в жизнь. Такие моменты, такие обстоятельства бывают раз в столетие – сумей ими воспользоваться. Дерзай – иначе первое место займут другие, ты и впредь будешь только облизываться. Дерзай, иначе девушка из «Леннодежды» будет высшей наградой твоей жизни, иначе серое, скучное бытие, грошовый расчет и вечные мысли об экономии. Выбери, Виктор, тебе предоставлено право – выбирать!..»

.....

Сколько зарабатывает Рабинович? За квадратный сантиметр стереотипа он берет 1,2 – у некоторых 1,5 копейки. Себестоимость квадратного сантиметра (сюда входят все расходы) – 0,4 коп. Из трех полученных рублей два идут в карман хозяина. Это составляет около трех тысяч в месяц...

.....

Мой план — он похож на месть и на победу в одно и то же время – зреет с каждым днем. В Москве несколько десятков стереотипщиков. Всем им я готовлю гибель. В Москве будет одна стереотипная – моя. За квадратный сантиметр я буду брать 7-8 десятых копейки.

Моя квартира не будет перестроена из сарая. Сарай останется сараем. Я буду жить в особняке из пятнадцати комнат, у зеркальной двери поставлю швейцара в золотой ливрее. Придет мое время!

«Кто живет в этом доме?» – «Булыгин, тот самый, который несколько лет жил в подвале Рабиновича!»

Молодежь мне будет подражать во всем. Никогда, никогда я не скажу ей, что сказал эта бестия Рабинович, – «твоя тригонометрия мне не нужна – можешь выбросить ее из головы».

Учитесь, молодые люди, – скажу я им, – работайте, деритесь, изобретайте! Только тогда вы сумеете победить!..

.....

«Дорогой Витенька, не можешь ли ты помочь своим бедным, несчастным родителям? Твоя мама...»

Я прочел письмо с волнением. Долго ли за мной будет тянуться прошлое? Неужели я никогда от него не избавлюсь?

Мне хочется издеваться над отцом, мне хочется ему мстить. «Господь подаст» – так надо было им ответить и ответ послать на пасхальной открытке – яйца, барашки, хоругви, кудрявые дети целуются. «Господь подаст, господин Введенский!»

Я ответил, что едва зарабатываю на жизнь, осенью переезжаю в Омск. Я хочу забыть их так же, как хочу, чтобы они забыли, потеряли из виду молодого человека, который случайно является их сыном...

Показания Самуила Гиршбейна*

В промыслово-кооперативной типографии (в ней Виктор Булыгин работал одиннадцать месяцев – до осени двадцать девятого года) нашлось много желающих рассказать о бывшем стереотипщике. Вокруг Товстуну собрались старые рабочие, комсомольцы, члены правления, культармеец – все наперебой хотели дать свои показания. Товстун ограничился сообщением Самуила Гиршбейна. (Исключенный из Текстильного института был уверен, что рассказы других работников типографии в основном совпадут с рассказами члена правления «Маяка пролетариата».)

«Вы должны мне отдать предпочтение, – сказал Гиршбейн. У него были внимательные добрые глаза, он теребил бородку и тихо

* Самуил Гиршбейн – член правления промкооперативной типографии «Маяк пролетариата». (Примечание Товстуна.)

улыбался. – Я знаю больше всех, я встречаюсь с Булыгиным с двадцать шестого, они же знакомы с ним без года неделю... Правильно я говорю?» Рабочим пришлось согласиться. «Приходите вечером, я останусь после работы – и мы побеседуем». Товстун кивнул головой.

Вечером они сидели в конторе типографии. «Признайтесь, дорогой товарищ, – внезапно произнес Гиршбейн, – ведь речь идет о премировании?» – «О каком премировании?» – удивился Товстун. «Ну, вы хотите премировать нашего Виктора, и вам нужна его полная характеристика? Я сразу догадался...» – «За что же его премировать?» – насторожившись, спросил Товстун. «Вы сами знаете. Но может быть, это секрет... пожалуйста...» И добродушно рассмеялся.

.....

– Если вы думаете, что Виктор сразу был тем Виктором, с которым вы знакомы, – так начал Гиршбейн свой рассказ, – то вы глубоко ошибаетесь. Не стану хвастать, но все же скажу, что, не будь меня, он бы, может быть, свихнулся, сломал себе шею – все возможно. Тут нет ничего удивительного... Теперь много говорят о среде, об окружении – а какая среда была у Булыгина? Господин Рабинович? Что, разве у нэпманов нет своего агитпропа? Не беспокойтесь, он есть. Нэпман никогда не брал рабочего с биржи труда, зачем? Он выискивал забытого, несчастного, бездомного – такого легче скрутить, заставить молчать, держать в темноте...

.....

По делам типографии Гиршбейн часто бывал в стереотипной. Он приглядывался к Булыгину и, как уверяет, чем больше приглядывался, тем все больше и больше Виктор ему нравился. («Я сам был одинокий, сирота, я знаю, как сладко служить у хозяина».) Между ними, однако, не было связи. Булыгин чуждался Гиршбейна, их беседы обрывались на полуслове. «Но я, – рассказывает Гиршбейн, – человек терпеливый, и уж если взялся за дело, то – будьте уверены – доведу до конца. Если ты сегодня молчишь – это еще ничего не значит, завтра ты будешь говорить». Так и случилось. Понемногу Булыгин стал откровенничать с Гиршбейном, и тогда-то типограф понял, «как хорошо работает нэповский агитпроп».

Гиршбейн вспоминает, как в январе двадцать седьмого года он передал Булыгину вырезку из «Правды» – речь видного партийца на московской губпартконференции. Одно место из этой речи Гиршбейну особенно понравилось, и он прочитал его молодому рабочему. Оратор, отмечая, что частный капитал, вытесненный из валютного рынка, бросился на хлебозаготовки и на мельницы, сказал:

«Но мы за ним идем, куда бы он ни пошел: мы, как ищейки, следим все время за ним и в конце концов мы его преодолеем. Сущий вздор – бояться, что «отсюда придет погибель моя, мне смертию кость угрожала». Хоть частный капитал еще и не кость, но нашей погибели от него не дождутся наши враги...»

– Простудите это внимательно, товарищ Булыгин, – посоветовал Гиршбейн. – Простудите как следует, а потом вы мне скажете свое мнение. Очень интересно знать, что вы об этом думаете.

Прошло несколько дней. Гиршбейн вновь заговорил с Булыгиным. Виктор прочел доклад, никакого впечатления речь видного партийца на него не произвела. «Это пишется и говорится для дурачков, – заметил Булыгин. – В действительности все выходит иначе. Между нами говоря, разве Рабинович не зарабатывает в десять раз больше того, что получаете вы – член правления большой типографии? Разве не для него существуют удовольствия, о которых вы не смеете и мечтать? Разве нет частников, зарабатывающих в сто раз больше вашего?..» Гиршбейн ответил, что Советская власть вынуждена была пойти на уступки, с каждым месяцем она все меньше уступает. Типограф указал на ряд ограничений для нэпманов. Булыгин слушал без всякого интереса...

.....

...Наступило время – конец двадцать седьмого года, – когда беседовать с Гиршбейном стало для Булыгина потребностью. Теперь уже не Гиршбейн с Булыгиным – Виктор заговаривал с членом правления кооперативной типографии. В глазах Булыгина Гиршбейн как бы представлял Советскую власть – стереотипщик обращался к типографу с рядом недоуменных вопросов. «Надо сказать, – замечает Гиршбейн, – что свертывание нэпа огорчило Виктора... Так огорчило, будто он лично страдал от этого...» «Советская власть нарушает

свое слово», – печалился Булыгин. «Какое именно?» – «Всерьез и надолго... Разве не Ленин это говорил?»

Вот когда пришла пора Гиршбейна обучать Виктора политграмоте! Типограф говорил, что ликвидация частника должна лишь радовать молодого рабочего. Это крупная победа, еще один шаг к социализму, за ним последуют другие. Булыгин должен подумать о себе. Рабинович недолговечен, и время его недолговечно. «Так что же мне делать, как быть?» Прежде всего Гиршбейн посоветовал молодому стереотипщику вступить в профсоюз. «Хозяин узнает – выгонит, – отвечал Булыгин. – У меня даже нет угла...» – «Авось Советская власть не выдаст, частник не съест, – рассмеялся Гиршбейн. – Ручаюсь, в случае чего мы тебя защитим».

Конец двадцать седьмого и начало двадцать восьмого года Гиршбейн определяет как «переломное время в сознании Виктора». Он ходил как помешанный, каждый день приносил свои тревоги – он переживал их болезненно. Состояние молодого рабочего не особенно удивляло работника «Маяка пролетариата». «Тысяча изуродованных пролетариев – рабочих частновладельческих предприятий – придут на наши фабрики и заводы, наш долг – перевоспитать их, сделать достойными людьми...»

.....

... Рабинович прихварывал, часто Булыгин работал один.

– Вы хорошо ко мне относитесь, – как-то в марте сказал Виктор Гиршбейну. – Могу ли я быть с вами откровенным?

– Сколько угодно, мой молодой товарищ, – ответил Гиршбейн. – Я тебя слушаю.

– Товарищ Гиршбейн, я вас очень прошу... – Булыгин волновался. – Я вас очень прошу... Помогите мне вступить в профсоюз...

– Охотно, Виктор! У нас есть местный комитет, ты подашь заявление – и дело с концом.

– Погодите... Важно, чтоб мой хозяин ничего не знал... Чтобы это была тайна...

Гиршбейн улыбнулся.

– Недавно я читал в газете, как колониальные рабочие тайно вступают в профсоюз, – сказал он. – Но ведь мы, слава Богу, не в колонии, мы в рабочем государстве, Булыгин!

– Я вас очень прошу, – продолжал настаивать Виктор. – Ведь вам безразлично... Скоро все это кончится, я уйду от Рабиновича – и тогда можно будет не скрывать... Сделайте это для меня...

Он долго и упрямо настаивал, в конце концов Гиршбейн уступил. «Какая разница? Парень идет к нам – надо ему помочь...»

.....

Г и р ш б е й н. Это было в марте, товарищ Товстун, это было только в марте двадцать восьмого года. Уже тогда я догадывался, какого человека я перетягиваю на советскую сторону...

.....

Несколько вечеров Булыгин занимался математическими выкладками. Окно занавешено, дверь на замке. Исписанные цифрами черновики он рвал на мелкие части, сжигал в бандурке.

Когда работа – нечто вроде докладной записки – была готова, Виктор заявил Гиршбейну, что по очень важному и секретному делу хочет с ним поговорить – разумеется, вне стереотипной.

Они встретились на Патриарших прудах. В неподвижной воде отражались освещенные здания. Домашние работницы прогуливали собак, сопровождали детей, шли в обнимку с друзьями. Звуки поцелуев, любовные вздохи, запах зелени и воды. Булыгин поминутно оглядывался. Выбрал скамью, сел, рядом усадил Гиршбейна. Достал бумагу, тотчас же спрятал ее. «Здесь не годится, нас могут заметить...» Гиршбейн рассмеялся. «Ох и напуган ты, парень! Валяй, валяй, что там у тебя за тайна!..»

Булыгин стал рассказывать – сбиваясь, нервничая. На свой страх и риск он сделал кое-какие выкладки... Он хотел бы, чтобы с выкладками познакомился Гиршбейн. «Тем более – это ни к чему вас не обязывает...» «Маяк пролетариата» является одним из основных клиентов Рабиновича. Стереотипных работ меньше чем на пятьсот рублей в месяц типография не заказывала. Это составляет сумму в шесть тысяч, кооператив теряет на ней не меньше четырех тысяч рублей... («Как так теряет?» – «Я хотел сказать – из шести тысяч Рабинович зарабатывает четыре...» Гиршбейн кивнул.)

Почему бы «Маяку пролетариата» не обзавестись собственной мастерской? (Булыгин достал докладную записку, начал читать по

пунктам.) Бумажный склад «Маяка» находится в подвале – под типографией... (Гиршбейн: «А ты откуда знаешь?» Булыгин: «Я приходил, смотрел, интересовался... Как-никак я член вашего месткома».) Бумагу можно держать наверху, в типографии, подвал же отвести под стереотипную. В Марьиной роще кустарь-стереотипщик ликвидирует дело. Он продаст бандурку и полный комплект инструментов за пять тысяч рублей. («С ним можно поторговаться, рублей пятьсот он уступит».) Установка бандурки, оборудование мастерской «Маяку» ничего не будут стоить: этим займется Булыгин. Уже в первый месяц типография сможет взять заказ на стороне – для полной загрузки мастерской. Через пять месяцев кооператив вернет все затраты, через полгода стереотипная будет давать доход... Булыгин ручался за точность всех своих цифр.

Помолчали.

– Понял я вас, молодой товарищ, – деловым тоном начал Гиршбейн и, не выдержав, взял Булыгина за плечи, прижал к груди. – Ну, Виктор, теперь ты понимаешь, что значит научить кухарку управлять государством? Ты что думаешь, твой проект – это не победа революции? Ошибаешься, дорогой товарищ, это и есть победа самого настоящего социализма... Эх ты, конспиратор! Можешь не беспокоиться – завтра я ставлю вопрос на правлении, тебе поручат организацию стереотипной...

.....

Г и р ш б е й н. Через месяц наша типография купила бандурку и инструмент. В райсовете мы выхлопотали для Булыгина комнату – из десятипроцентного фонда. Я советовал Виктору немедленно бросить работу у Рабиновича и переехать в свою комнату. «Не будем делать лишних расходов, – ответил Булыгин. – Оборудованием мастерской я могу заниматься по ночам...» В самом деле, после рабочего дня в стереотипной хозяина он приходил к нам, возился в подвале до поздней ночи. Не прошло и трех недель, как мастерская была готова. «Ну, Виктор, прощайся с хозяином...» Но, видно, с прошлым не так легко рвать – Булыгин долго еще оставался у Рабиновича, откладывал начало работы... Некоторые члены нашего правления были им сильно недовольны: и в самом деле – их интересовала не душа Виктора, а его работа. «Мы затратили большие деньги на

стереотипную, а заказы все еще сдаем частнику, – говорили они. – В чем дело? Свет клином не сошелся, Булыгин не желает – найдем другого стереотипщика». Вы, конечно, догадываетесь, что об этом я и слышать не хотел. Каждый день я ходил к Виктору и уговаривал его немедленно приступить к работе. «Ты себе только портишь, – говорил я ему. – И с какой стати? Какой тебе интерес? Рабинович все равно спасибо не скажет. Сегодня еще правление меня слушает, а за завтрашний день я не ручаюсь – с чем ты останешься», – так я говорил Булыгину и в конце концов убедил его...

.....

С особой теплотой, все больше возбуждаясь и гордо, самодовольно поглаживая бородку, Гиршбейн вспомнил об одиннадцати месяцах, проведенных Булыгиным в «Маяке пролетариата». «Он, как вы это видели, медленно шел к нам, колебался. Зато уж когда пришел – показал себя как следует... Если б вы знали Виктора, вам показалось бы странным – каким образом один человек за такой короткий срок может так много сделать. А между тем это факт!»

Нечего и говорить, что Булыгин справился со стереотипной работой типографии. В первые же дни он начал брать заказы на стороне, заказы выполнял в срок. Он знал всех заказчиков Рабиновича и одного за другим приводил в мастерскую «Маяка». «За восьмичасовой рабочий день, имея одного помощника, он успевал больше, чем другой – за три, за пять дней... Но не в этом дело, дорогой товарищ Товстун. Совсем, совсем не в этом...»

Постепенно и очень быстро Булыгин вникал в жизнь типографии. Во время обеденного перерыва рабочие закусывали у наборных класс, у печатных машин, ели грязными руками. Булыгин первый заговорил о красном уголке. С его помощью красный уголок был организован. Правление купило «титан», к обеду все получали чай, теплой водой мыли руки. От имени типографии Виктор договорился с соседней фабрикой-кухней, в термосах рабочим «Маяка» ежедневно доставляли горячие обеды. Он первый обратил внимание, что в типографии нет культурника (по смете он полагался), помог найти расторопного работника, «работал вместе с ним – даже больше». В «Маяке» оказалось много неграмотных. Нам и в голову не приходило, что рабочие типографии в первую очередь должны

научиться читать и писать... Нам не приходило в голову, что типография может иметь свою библиотеку, выпускать, как все заводы и фабрики, стенную газету... А вот Виктор об этом подумал, и не только подумал – все провел в жизнь...»

Незаметно он стал как бы посредником между правлением типографии и рабочими. К Булыгину ходили с претензиями, жалобами, предложениями – для всех он находил время, всех выслушивал. Комсомольская ячейка предложила Виктору вступить в союз молодежи (еще до этого многие были убеждены, что он комсомолец). Булыгин недолго колебался. «Вот только – оправдаю ли я ваше доверие?» – «Ты уже его оправдал, Виктор, не скромничай...»

.....

Возвращаясь из театра, Гиршбейн часто заходил к Булыгину «на огонек». Подперев голову, положив ногу на ногу, молодой стереотипщик сидел за столом, занимался. Гиршбейн заглядывал в тетрадь, брал книгу, листал ее.

– Что ты учишься – это хорошо, – говорил он, откладывая в сторону учебник. – Когда еще учиться, как не в наше время? Но то, что ты не спишь по ночам и не дышишь свежим воздухом – это уже никуда не годится.

Булыгин потягивался, молча улыбался.

– Существуют же вечерние курсы для взрослых, – сказал Гиршбейн однажды. – Почему ты экстерничаешь – совсем как еврей в царское время? Разве ты думаешь, что человек сам может выучить физику или алгебру? Ошибаешься! Ты себе только мозги затуманишь...

– Осенью я хочу экзаменоваться в университет, – ответил Булыгин. – В какой-нибудь институт.

Гиршбейн покачал головой.

– Я самоучка, простой еврей... Все-таки я тебе скажу... прежде чем идти в высшее учебное заведение, надо окончить среднее. Ты, конечно, человек способный, Виктор, но этого, друг мой, мало, и мне будет очень неприятно, если ты шлепнешься в лужу...

– Авось не шлепнусь...

– «Авось, авось», – задумчиво повторил Гиршбейн.

Он и представить себе не мог, что Булыгин может поступить в

университет. Типографу было жаль, что его любимец попусту тратит время... «Я еще понимаю – вечерние курсы... Но самому зубрить физику... Из этого ничего хорошего, кроме расстройства здоровья, не получится...» В то же время ему не хотелось разочаровывать Виктора.

– Ну... ложись спать! Послушайся старшего, молодой человек должен беречь свое здоровье...

.....

Т о в с т у н. Не кажется ли вам, что в университет Булыгин хотел поступить из корыстных целей?

Г и р ш б е й н. Вы что, шутите?... Хорошенькие корыстные цели! Это называется – попасть пальцем в небо! Человек получал двести семьдесят пять рублей в месяц, пользовался почетом и авторитетом, мы выдвигали его в правление. И вот он отказывается от всего этого, идет на стипендию в тридцать с чем-то рублей... По-моему, товарищ Товстун, это называется не корыстные цели, а иначе...

.....

... Осенью комсомольская ячейка дала Булыгину направление в Текстильный институт, стереотипщик пошел экзаменоваться...

.....

Десять дней типография волновалась...

Это был первый случай, когда, минуя подготовительные курсы, рабочий типографии поступал в институт. Старые наборщики во всем обвиняли комсомольскую ячейку. «Думать надо, – ворчали они. – Вам партийная власть дана – для чего? Уж если вы посылаете парня на экзамены, то дайте ему подготовку! Он нас учил, а вы ему учителя найдите! Чтоб на зубок все науки знал! А то что же – на позор Булыгина послали!..»

Гиршбейн упрекал себя. Ближе других стоял он к Виктору, хорошо понимал, как отразится на нем провал. «Я мало его уговаривал – поступить на вечерние курсы... В крайнем случае можно было нанять хорошего репетитора!»

В последнюю минуту выяснилось, что комсомольская ячейка – а вместе с нею и вся общественность типографии – допустила немало ошибок. «Погодите, – спохватился председатель месткома. –

Вы хоть написали от себя: мол, так и так, экзаменуется наш брат общественник, просим обратить внимание...» Оказалось, связь с институтом не установлена, ячейка лишь подписала заявление Булыгина – ничего больше. «А вы знаете, кто его экзаменовать будет?» – «Известно кто – профессора». – «А сколько среди профессоров старых зубров? За какую-нибудь несчастную запятуго рабочего парня зарежут. А еще комсомол!»

Решили послать в институт делегацию – от комсомола, от профессиональной организации, от правления. С нетерпением ждали Булыгина – после первого экзамена. Он пришел красный от возбуждения, волосы взлохмачены, на лбу – капли пота.

«Ну как, Булыгин – засыпался?..» – «Пока как будто нет!..» – «Врешь, Витька, мы делегацию посылаем – авось выручит!» Булыгин отсоветовал – какая делегация, зачем? Заявление подписано ячейкой – больше ничего не нужно. Его не послушали, на следующий день делегация посетила институт.

Было похоже, что экзаменуется весь коллектив «Маяка». По выражению лица Виктора судили о том, как проходят экзамены. Встречать Булыгина выбегали на улицу. «Говори правду, – провалился?» – «Нет!» – «Провалят тебя, ох провалят...»

В последний день добрая половина рабочих дежурила на лестнице института. Список поступивших должны были вывесить лишь через несколько дней. Рабочие не вытерпели, пошли в партийную ячейку, к декану, к профессорам. Опрометью бросились в типографию. «Ура, наша взяла, Булыгин выдержал!.. Качать его, стервеца!..»

.....

Г и р ш б е й н. В том году было плохо с продовольствием, на рынке ничего не достать. А мы решили Булыгину устроить проводы. Что делать? Каждый из нас принес из дому все, что только можно было принести: кто пяток селедок, кто мясной паек, кило белой мучицы, десяток яиц. Была и водка, и вино – вечеринку мы устроили перед выходным. Зато уж повеселились, товарищ Товстун, гуляли до утра!..

* * *

Сообщением Гиршбейна заканчиваются документы, собранные Товстуном. Кое-какие показания секретарь комсомола лично решил проверить. Заняться этим он, однако, не успел: Булыгин исчез из Текстильного института...

Слухи о «Деле В. Булыгина» каким-то образом распространились по институту... В комсомольскую ячейку поступило два заявления: одно – от девяти студентов, другое – от Кати Иващенко. Заявления обнаружены в скоросшивателе и приводятся ниже.

P.S. Публикацию подготовил сын писателя, известный правозащитник и общественный деятель Леонид Стонов, живущий в Чикаго.

Окончание – в следующем номере

**АХМАТОВА:
««РЕКВИЕМ» Я НИКОМУ НЕ НАДПИСЫВАЮ...»**

2019-й – год 130-летия со дня рождения Анны Ахматовой

О своих встречах с ней вспоминает поэт, переводчик, публицист и бывший политзаключённый **Николай Браун**



Он говорит о себе: «Дети рождаются в семьях лесорубов, инженеров, артистов, космонавтов. Я родился в семье поэтов – Николая Леопольдовича Брауна и Марии Ивановны Комиссаровой. Во мне помножились две крови: германская и русская».

Отец его выносил из «Англетера» тело Сергея Есенина, мать состояла в родстве с Осипом Комиссаровым, спасшим жизнь императору Александру Второму. Сам же он в 1969 был осуждён как антисоветчик, которому вменялась подготовка покушения на Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева и подготовка взрыва Мавзолея другого Ильича – Владимира Ленина. Свидетелем на суде в защиту обвиняемого выступал депутат Первой императорской Государственной Думы Василий Шульгин, присут-

ствовавший при «отречении от престола» Николая Второго. Такого переплетения человеческих судеб и придумать, кажется, невозможно...

– Николай Николаевич, такое впечатление, что сама судьба постоянно сводила вас с Ахматовой. Вы с родителями жили на канале Грибоедова в доме 9, куда ненадолго до эвакуации Анна Андреевна переселилась в начале войны. Потом семья ваша переехала в другой «писательский» дом – на улице Ленина, и вы вновь оказались соседями. Летом вы жили на даче в Комарово, и ахматовская «будка» тоже была там... Но в лагерях вы находились, когда Ахматовой уже не было в живых?

– Да, когда её не стало. Мой политический процесс был тремя годами позже. Нет сомнений в том, что заботливые спецы с Литейного с удовольствием бы её «побеспокоили», придя с визитом. Разумеется, все десять лет я постоянно вспоминал об Анне Андреевне. А в пермском лагере я получил шесть суток ШИЗО (штрафного изолятора) за то, что одному из моих уважаемых союзников-нижегородцев – Сергею Михайловичу Пономарёву – продиктовал «Реквием». Во время очередного лагерного шмона у него изъяли тетрадь с записью ахматовской поэмы. Нас незадолго до этого видели вместе, потому вызвали меня: «Вы диктовали Пономарёву запрещённый «Реквием»?» – «Да». – «У вас он записан?» – «Нет. Я его помню наизусть». – «Понятно, почему при обыске у вас текст не обнаружен». В итоге Пономарёв получил восемь суток ШИЗО, а я – шесть. У Сергея Михайловича, естественно, возник вопрос, почему ему на двое суток больше. Начальник лагеря вполне корректно пояснил: за то, что хранил текст «с целью распространения», а вещественных доказательств вины Брауна нет. Но благодаря этому случаю лагерное начальство ознакомилось с аккуратно записанным текстом, который, как я понял при разговоре, произвёл впечатление.

Вывод был мною сделан. Когда я в очередной раз находился в изоляторе в связи с лагерной забастовкой, ко мне в камеру на несколько суток поместили талантливого изобретателя, русского инженера из Тольятти Владимира Васильевича Валетова, осуждённого сроком на пять лет за антисоветскую агитацию. Во время этих суток он с удовольствием выучил с моих слов часть ахматовской поэмы и

перед выходом из камеры доказал мне, что готов читать её другим слушателям. Вскоре, при перекуре в промзоне, я услышал, как он восторженно декламирует своему другу: «Это было, когда улыбался // Только мёртвый, спокойствию рад...», что подтверждало все преимущества устного распространения ахматовских стихов. Кстати,



Портрет Анны Ахматовой
работы Александра Тышлера

людей, имена и фамилии которых я не назвал на следствии, не назову и сейчас. Я немедленно перепечатал текст на своей машинке в трёх экземплярах. Но я, кроме «самиздатовского», хотел иметь «Реквием», изданный отдельной книгой в Мюнхене в 1963 году. И смог получить его нелегально, хотя это было очень нелегко, через моих русских друзей, проживающих в Финляндии. Сразу после получения я обернул книгу в изготовленную мной непрозрачную обложку из плотной белой бумаги. С этим изданием я однажды и пришёл к Анне Андреевне в её квартиру, которая находилась в соседней парадной. Ахматова была невероятно удивлена: «Как вам удалось достать?!» Она пролиставала «Реквием» и сказала, что, в отличие от распечаток, всё правильно. Кроме одной строки во вступлении. «Это было, когда улыбался // Только мёртвый, спокойствию рад. // И ненужным привеском качался // Возле тюрем своих Ленинград». Ахматова сказала: «Должно быть «болтался».

знаю со слов самой Анны Андреевны, что некоторые её друзья – число их невелико – и на воле тоже старались не иметь у себя «Реквиема», чтобы в случае обыска он не явился вещдоком хранения «в целях распространения» антисоветской литературы. Поэтому заучивали поэму наизусть.

– **Когда вы познакомились с «Реквиемом»?**

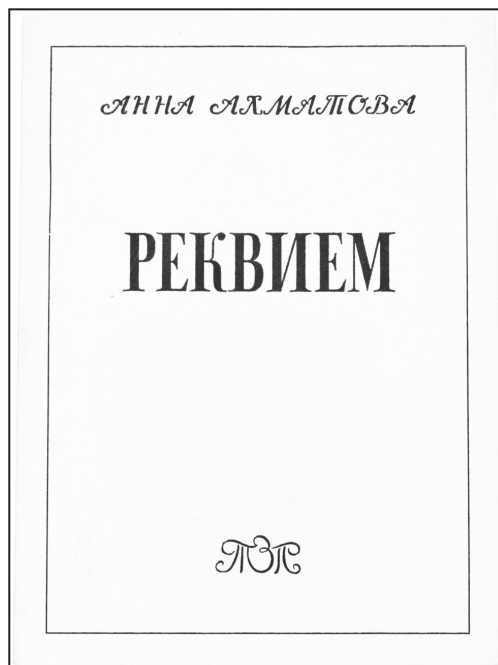
– Впервые я увидел текст в машинописном варианте у близких мне

Давайте я поправлю». Я возразил: «Знаете, Анна Андреевна, это не грубая ошибка; «качался» тоже достаточно образно». Она не стала спорить, и этот вариант остался. Я попросил, если это возможно, надписать мне книгу. ««Реквием» я никому не надписываю... Я не могу этого сделать, потому что «Реквием» уже является посвящением... мужу и сыну». Но, быть может, чтобы не обидеть меня отказом, она сразу заметила, что на титульном листе не хватает дат написания поэмы. И, как видите, восполнила этот пробел, сказав: «Не 1963-й, а...», и написала под заголовком: «1935–1940». А наверху справа начертала характерную для неё букву «А», как бы перечёркнутую. Я занимался графологией и знаю, что перечёркнутая буква означает в характере черту самоограничения.

– **И она не попросила подарить ей книгу?**

– Нет. Она понимала главное: я сделал почти невозможное по тому времени – достал книгу спустя какой-то короткий период после выхода. Кстати, на её фронтисписе не забыли указать «охранную формулу»: «Этот цикл стихов получен нами из России и печатается без ведома и согласия автора».

Как-то я пришёл к ней с другим уникальным изданием: «У самого моря», издательство «Алконост», Петроград, 1921 год. Это её самая ранняя поэма. Ахматова была растрогана: «Но откуда она у вас? Каким образом вам удалось приобрести этот раритет? Это сейчас большая редкость! У него же крохотный тираж!» – «Если смог достать ваше мюнхенское издание, то раздобыть петроградское в Петрограде для меня оказалось проще». Анна Андреевна кивнула с улыбкой, затем взяла книгу, открыла и, слегка помедлив, написала на



титульном листе: «Николаю Брауну (млад.) от всей души Ахматова. 19 ноября 1964. Ленинград». Чем меня удивила – понятия «Ахматова» и «Ленинград» мне казались несовместимыми. Надо сказать, все мои близкие город называли Питером, а у меня под стихами всегда после даты стояло: «Санкт-Петербург», на что позднее, в 69-м, обратили внимание во время следствия как на своего рода заклинание, «вызывание духа города».

Я всегда бережно хранил и другие её издания. Например, «Подорожник», 21-го года, вот он перед нами на столе. Книга «Anno Domini» того же года выпуска. Я помню, как взял в руки это издание ещё в отроческом возрасте, и первое же стихотворение произвело на меня сильное впечатление:

*Всё расхищено, предано, продано,
Чёрной смерти мелькало крыло,
Всё голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло?*

Оно посвящено известной переводчице Надежде Рыковой. Надежду Январьевну я хорошо помню, она была осуждена по 58-й статье, и после лагерного срока проживание в нашем городе ей было запрещено на много лет. Ещё в этой же книге сразу запомнилось стихотворение 19-го года, с обращением на «ты» с маленькой буквы к не названному по имени призраку убитого Царя Николая II: «И странно ты глядишь вокруг // Пустыми светлыми глазами». Годы спустя в последующих изданиях прочёл: «И странно Царь глядит вокруг...». Помню, заставило задуматься подписанное датой 1914 года:

*Не бывать тебе в живых,
Со снегу не встать.
Двадцать восемь штыковых,
Огнестрельных пять.*

А вот знаменитые «Чётки», год 22-й.

– Если я правильно понимаю: это книги ваших родителей...
Какие отношения были между Николаем Леопольдовичем Брауном, Марией Комиссаровой и Анной Ахматовой?

– Благожелательные. В известном докладе в августе 1946 года «О журналах «Звезда» и «Ленинград»» партийного секретаря Андрея Жданова в Смольном было сказано, что «в некоторых своих стихах Садофьев и Комиссарова стали подпевать Ахматовой, культивировать настроения уныния, тоски и одиночества...». Доклад этот был издан тогда брошюрой тиражом в 300 тысяч. Похожая характеристика по отношению к Комиссаровой содержалась и в Постановлении Оргбюро ВКП(б) от 14 августа 1946-го, опубликованном в газете «Правда».

Хамские, продуманно оскорбительные формулировки сначала в адрес ставшего популярным «пролетарским» писателем Михаила Зощенко, а затем в адрес Анны Ахматовой, как представительницы «отжившего старого мира», давали понять: снисхождения не будет никому. К этому периоду относится ахматовский вздох в стихах: «Ахматовской звать не будут // Ни улицу, ни строфу». Отчасти сбылось сказанное ею в устной эпиграмме 1937-го года:

*За такую скоморошину,
Откровенно говоря,
Мне свинцовую горошину
Ждать бы от секретаря.*

А дальше было показательное исключение Зощенко и Ахматовой из Союза советских писателей, лишение их, на местном уровне, хлебных карточек, невозможность печататься. Входя в Фонтанный дом, то есть, проще говоря, в коммуналку бывшего Шереметевского дворца на Фонтанке, Ахматова обязана была предъявлять выданный ей пропуск с фото, где под инициалами была графа с надписью: «Жилец». А в связи с распространением слухов о самоубийстве «жильца» в течение некоторого времени после всех этих событий она должна была ежедневно показываться в своих окнах находящемуся в саду закрытого двора ответственному дежурному НКВД. Тонкая книга «избранного» Ахматовой с включением переводов появилась только 12 лет спустя, в 1958 году, в Москве и сразу разошлась. Стихи там занимали 91 страницу, о «Реквиеме» и речи быть не могло. Зато сотни листов «Оперативной разработки» в НКВД в то же самое время составляли уже не один том.

Напомню, что Постановление явилось идеологической «арт-подготовкой» к «Ленинградскому делу», к новым волнам массовых послевоенных арестов и одновременно к очередному аресту Льва Николаевича в 1949 году, от которого при жёстких допросах требовали признания, что его мать является агентом британской разведки. Об этих допросах я знаю от него самого. Ахматова для НКВД оставалась вдовой царского офицера, расстрелянного контрреволюционера-заговорщика поэта Николая Гумилёва.

Понятно, что поводом явилось выглядевшее провокационным посещение матери в ноябре 1945 года Исайей Берлиным – вторым секретарём Британского посольства в Москве и выходцем из России. Она читала ему свои стихи (быть может, и отрывки из «Реквиема»), но отказала в просьбе снять с них копию, пообещав прислать книгу, которая ждёт выхода в свет. Знакомство Ахматовой с Берлиным имело продолжение, в том числе лирическое, выраженное в ряде стихов. Но Лев Николаевич тогда недавно вернулся с войны, на которую ушёл после освобождения из лагеря в 1944 году. Он воевал в составе зенитно-артиллерийской дивизии, участвовал в штурме Берлина, вернулся домой и вдруг увидел в гостях у матери человека, который симпатии у него не вызвал.

Мои отношения с Анной Андреевной складывались независимо от родителей и не были связаны с какими-либо другими писателями. Мы виделись многократно, хотя иногда мимоходом, когда я по её просьбе что-то отвозил в Комарово, что-то передавал нашим общим знакомым. Мы встречались и в комаровском Доме творчества писателей, где иногда бывали скромные застолья.

– Что вы можете сказать о характере Ахматовой? Вам же не просто так был дан автограф «от всей души»...

– Это вопрос отдельный. Я ведь не мог быть в числе персонажей «Поэмы без героя» или бражничать во времена «Бродячей собаки». И характеры иногда могут меняться, совершенствоваться или с возрастом становиться нетерпимыми. Я могу сказать только о личных впечатлениях именно в 60-е годы. Несмотря на трагические темы и тяготы переживаний, в её характере были доброжелательность, жизнелюбие, остроумие, умение оценить острое словцо и соль анекдота, наконец, умение от души смеяться. Представьте мою ответственность: Анна Андреевна проявляет интерес к сужде-

ниям перед нею сидящего 26-летнего молодого человека и хочет знать, что он думает о современных поэтах, о политике, о новых веяниях в литературе. Вот я и рассказываю о новом «тамиздате», об интересных встречах с московскими неофициальными авторами. Говорю, как будто и от имени моих сверстников, о том, каковы их устремления при режиме, где «ЦеКа цыкает, а ЧеКа чикает». Она перебивала только ради уточнений. Когда говорила сама, могла, закончив мысль, помолчать. И я не нарушал молчания, принимая его как «дары общения». Следующий поворот темы после паузы сверкал уже новыми гранями. Такой особенностью – делать продолжительные паузы в повествовании, как бы обдумывая новую главу, – я не встречал больше ни у кого.

Отвечая на ваш вопрос о характере, я высказываю только своё, мужское, мнение о её личности. Но я никогда специально об этом не задумывался. Мы же принадлежали к разным поколениям и возрастам... Постараюсь перечислить эти, на мой взгляд, её особенности.

Она умела держаться непринуждённо и вызвать расположение к себе. Обладала способностью благосклонно принимать знаки внимания, при этом никого не обидев и ничего не забыв. Имела самостоятельную позицию в любом споре. Сохраняла свой стиль поведения. Избежала соблазнов подражания в поэзии, совершенствуя свой поэтический почерк. Наверное, от незаурядных личностей близких ей мужчин она усваивала наиболее значимое, духовно и интеллектуально оставаясь собой. Об остальном не мне судить. Изучая петербургские традиции, она воспитывала свой вкус на классических примерах, вырастала, работая над своим имиджем в литературной среде ещё до 1917 года. А в советское время работала, находясь в обстановке враждебной, в сексотском окружении.

В её внутреннем мире были и другие черты – колдовские, суеверные. Она проявляла особенное внимание к природным стихиям и тайным знакам, к знахарству, целительству. Но всё это касалось её мира внутреннего, поиска в поэзии, в тогдашних непредсказуемых очень сложных переплетениях её личной жизни.

Нельзя забывать, что она всегда была и оставалась по своим взглядам и оценкам православным русским поэтом. Так, во время Первой мировой войны, в 1915 году, в стихотворении «Молитва»

она, обращаясь к Богу, говорит: «...Отними и ребёнка, и друга, // И таинственный песенный дар», «...Чтобы туча над тёмной Россией // Стала облаком в славе лучей». Велика её вероисповедная жертва. А во время Второй мировой войны стали афоризмом строки её четверостишия «Клятва», написанного в июле 1941 года:

*И та, что сегодня прощается с милым,
Пусть боль свою в силу она переплавит.
Мы детям клянёмся, клянёмся могилам,
Что нас покориться никто не заставит!*

Здесь тоже отражён характер человека, четыре года спустя подвергнувшегося атаке ждановской диктатуры и не покорившегося.

На её отпевание в Никольском Морском соборе, куда я прилетел из Москвы, пришло не менее пяти тысяч человек. Она была единственным поэтом в советское безбожное время, которую всенародно отпевали, понимая её значение для будущего, для Санкт-Петербурга и России.

Один из оперативников КГБ на Литейном, умевший мыслить самостоятельно, сделал доброе дело, не уничтожив материал сделанной им киносъёмки. Он сохранил для истории и прибытие самолёта, и часть отпевания в Никольском соборе, и путь по зимней мартовской дороге в Комарово. Тридцать с лишним лет спустя я увидел эти чёрно-белые, уже музейные, кадры, узнал выходящего из самолёта автора этого рассказа, а затем и моих друзей у входа в собор.

– Была ли «обратная связь» с читателем у неиздаваемой много лет и ведущей довольно замкнутый образ жизни Анны Андреевны?

– Да, была. Во время одной из встреч она, рассказывая об этой «обратной связи», показала мне несколько писем, прочла отрывки из них. Ей, конечно, писали десятки людей: студенты, начинающие поэты, любители стихов, заключённые и бывшие рецидивисты. Много в этих письмах было наивно или неуклюже, иногда отличалось чрезмерной чувствительностью. Но зато всё это было совершенно искренне. Писал человек, который в 1946 году высказал на собрании своё возмущение разгромной речью Жданова и отбыл 10 лет в ГУ-

ЛАГе из тех 25, которые получил по приговору по 58-й статье УК. В письме он называл Ахматову «сияющей вершиной русской поэзии» и заканчивал письмо так: «Целую землю, к которой прикасались Ваши стопы». Писал из тюрьмы рецидивист, упомянувший о своей биографии: «Прошу Вас выслать мне Вашу книгу за мой счёт». Начинаящий поэт хотел получить отзыв о его стихах. На письма она по возможности старалась отвечать. Как-то Анна Андреевна получила в подарок жестяную коробочку с её стихами на бересте, их было более 10. Написаны они были рукою женщины, муж которой был расстрелян, сама она погибла в лагере или в ссылке, а коробочку привёз её племянник, понимая, что в этом случае почте доверять не стоит.

Я писем не писал, поскольку просто мог позвонить или прийти. Поэтому и ахматовских писем у меня не могло быть. Ещё надо сказать, что на встречи, специально назначаемые мне, я не приходил без цветов. Однажды весной – с синими горными ирисами, в другой раз – с королевскими нарциссами. Помню, войдя в 1965 году в её комнату на первом этаже Дома творчества с крупными султанами голубых гиацинтов, я услышал, что эти весенние цветы – «в числе её самых любимых». Розы приносили другие посетители.

При одной из встреч в конце 1965 года в её комнате я обратил внимание на фотографию портрета Ахматовой, нарисованного карандашом. В портрете было что-то неуловимо привлекательное, внизу справа подпись: «А. Тышлер. 1943. М.». Анна Андреевна отозвалась об этом рисунке так: «Наверное, это мой – похожий на меня! – портрет». После такого отзыва я попросил, если можно, эту фотографию мне подарить, что и было сделано, ставить какую-либо подпись на ней она не стала. Сейчас, полвека спустя, этот снимок перед нами на столе.

– Приходилось ли вам слышать, как Ахматова читает свои стихи, и не только дома, а в большой аудитории?

– Да. В 1965 году в Московском Большом театре. На вечере, посвящённом 700-летию со дня рождения Данте Алигьери (1265–1321). Я чуть опоздал, свет был уже погашен, и сел на свободное место в первом ряду, которое заметил издали. В президиуме были московская профессура, итальянские гости, сотрудники посольства. Над сценой висело изображение нот советского гимна, а ниже был укреплен очень большой портрет Данте в профиль, с необычайно тощим

лавровым венком на голове, что настраивало моё молодое восприятие на иронический лад. Вечер «дантистов», как они, шутя, называли друг друга, вёл Сурков. Выступивший академик Алексеев всерьёз подчеркнул, что Данте близок нам как «демократ», что в своём «Аде» он показал «грядущий капитализм». Что «капитализм» грядёт у нас после крушения СССР, тогда никто не предполагал. Из двух других выступлений следовало, что итальянский поэт явился провозвестником «Октября». Слушать это было тяжело. Ведь академики не могли не знать его трактата «О монархии», который в СССР запрещён не был. Но когда я смотрел на сидевшую в президиуме Анну Ахматову, все эти нелепости «красной профессуры» отступали. Слово о Данте, предоставленное ей, было встречено аплодисментами, очень громкими. Она выглядела величественно в чёрном платье, с её прямой осанкой и сединой. Темой выступления были переводы Данте на русский, их место в русской поэзии. Она говорила о Михаиле Лозинском и Осипе Мандельштаме, как о переводчиках. При этом, конечно, многие слушатели знали: один – лауреат Сталинской премии, другой – не вернулся из лагеря. Говорила она и о внимании Николая Гумилёва к творчеству этого поэта. Затем – о влиянии Данте на её творчество. И завершила выступление своим стихотворением «К Музе»: «Ей говорю: Ты ль Данту диктовала // Страницы Ада? Отвечает: Я». Аплодисменты были оглушительными и долгими. Часть зала встала, аплодируя.

– Вы однажды упомянули, что записывали Ахматову на магнитофон...

– Расскажу обо всём этом вкратце, опуская памятные для меня подробности, которые остаются волнующими и сегодня. Я записал сначала «Реквием» в исполнении Анны Андреевны в этой квартире на улице Широкой (таков наш официальный адрес на главпочтамте: «Широкая (Ленина)», дом 34), в комнате, где мы сейчас с вами беседуем! Для этих записей я приглашал Ахматову к себе домой, где в это время больше никого не было, чтобы избежать вопросов и любых помех. Помню, что лифт работал с перебоями, а подниматься нужно было на пятый этаж. Но в дни записей переживания мои были напрасными – лифт оказывался всякий раз в исправном состоянии.

Эта первая обстоятельная запись потребовала бы подробного рассказа. Скажу только: самому процессу записи «Реквиема» соот-

ветствовало состояние воодушевлённое и сосредоточенное, ведь наше общение с Анной Андреевной было всегда доверительным. Можете себе представить, какую радость я пережил, когда авторское чтение зазвучало в полный голос!

Затем работа шла над записью её лирических стихов. Анна Андреевна сидела за тем же журнальным столиком у окна перед микрофоном армейского образца, большой магнитофон «Днипро» всё так же стоял поодаль на подставке. Она сказала, что подборка стихов, которую я приготовил для записи, «нам не пригодится», она приготовила свою программу, по её мнению, наиболее подходящую для возможной будущей пластинки. Лирику она читала с молодым, неожиданным для меня задором, в голосе отчётливо слышались былые вдохновенные интонации. Каждое стихотворение воспринималось как неповторимое и глубинное переживание. Можно сказать, звучание ахматовской речи захватывало, покоряло, драматический тембр этих неторопливо произносимых строк производил впечатление, сравнимое с эпосом, – таковым было моё первое впечатление... Перерыв на чай бывал по-деловому коротким и не отвлекал от поставленной задачи. С полным основанием утверждаю, что записи получились очень удачными.

С железных и пластмассовых кассет я переписал их на более компактные, а затем на аудиодиски, но оригиналы я храню в моей фонотеке, начатой ещё в 60-е годы, которая называется «Голоса двух эпох».

– Николай Николаевич, родители ваши могли быть с Ахматовой в «благожелательных» отношениях, но ведь у вас с ней речь шла о записи «Реквиема» – поэмы, которую люди учили наизусть, чтобы в случае обыска не было улики. Наверное, нужно было её убедить в том, что запись нужна не только вам, но и ей?..

– Думаю, не последнюю роль сыграло то, что по окончании записи мы вместе слушали готовый результат, и он произвёл на взыскательного автора хорошее впечатление... При наших встречах с Анной Андреевной *tete-a-tete*, я ей читал свои стихи, которые не были известны родителям. В том числе и те, которые позже инкриминировались мне как антисоветские, назывались «составом преступления» и фигурировали в обвинительном заключении. Её отзывы об этих стихах, важные для меня, я запоминал и впо-

следствии имел возможность их обдумать и что-то учесть на будущее. Из-за недостатка времени цитат приводить не буду. А она мне читала, в частности, большие отрывки из «Поэмы без героя», сопровождая чтение комментариями. Надо было видеть, как она преображалась при чтении! Это произведение было для неё не менее значимо, чем «Реквием»! У нас возникла договорённость о магнитозаписи этой «Поэмы...», помешала её простуда. При одной из следующих встреч она в отрывках читала уже вторую часть, делая краткие пояснения к главам, их персонажам, которые так дороги ей, увлечённо говорила о том, как поэма просилась быть написанной, о том, что в ней выражен внутренний сплав несовместимого и необъяснимого ни в какой другой форме, кроме иносказательной... Эту её открытость и доверительность я считал большой честью для себя. И это, надо добавить, в то самое время, когда замкнутость и подозрительность в советской литературной среде была обычным явлением!

– Вы не думали писать воспоминания об Ахматовой?

– А мы с вами чем сейчас занимаемся? Взгляните... Вот тетрадка – обыкновенная, школьная, в клеточку. В мордовском лагере в 72-м году, когда быть на «строгом спецу» мне оставалось ещё восемь лет, я решил зафиксировать то главное, что помнил о наших встречах с Ахматовой, чтобы, не дай Бог, чего важного не забыть. Это были лагерные наброски к «вольным воспоминаниям». Писал мельчайшим почерком. И переписывал – слово в слово копировал написанное. Конечно, ничьих имён или фамилий там упомянуто не было. Один экземпляр хранился в каптёрке среди писем и других бумаг. Второй – у человека старшего поколения, который был «лесным братом» и шмону подвергался реже, чем я. Перед самым вашим приходом я открыл приготовленную тетрадку наугад и наткнулся на следующий факт.

В 1967 году, 2 марта, через год после того как Ахматовой не стало, состоялся вечер её памяти в Доме учёных в Лесном – кому-то удалось добиться разрешения на его проведение. Был выпущен даже пригласительный билет. В фойе на стендах были выставлены редкие фотографии Анны Андреевны. Отдельный небольшой раздел составляли посвящения ей поэтов – Гумилёва, Цветаевой, Мандельштама, Северянина. Перед началом вечера я заглянул в

радиорубку – убедиться, что там есть необходимая аппаратура, после чего договорился с устроителями вечера, что в финале включу запись «Реквиема». Вечер вёл художник Натан Альтман, все знают портрет Ахматовой, написанный им в 1914 году. Согласовав с ним момент включения, я громко объявил, что сейчас прозвучит голос Ахматовой. Никто этого не ожидал. Отрывок из поэмы в её чтении произвёл необычайное, захватывающее впечатление. Он завершился следующими словами: «Эта женщина больна, эта женщина одна, муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне». Потрясённый зал молча встал и остался стоять. Эта не предусмотренная сценарием минута молчания запомнилась мне навсегда.

– Вы начали рассказ с того, как получили шесть суток ШИЗО за то, что продиктовали союзнику «Реквием». Теперь скажите, как вам удалось вывезти воспоминания об Ахматовой, записанные в Мордовии?

– Вещи мои, конечно, просматривали регулярно. Хранить письма и другие бумаги можно было как в тумбочке, так и в каптёрке. Существовали ещё разные тайники. Что-то изымалось, уничтожалось, но что-то почти чудом сохранилось. Мы считались в СССР «особо опасными государственными преступниками» (аббревиатура ООГП, статья 70-я УК РСФСР), но при всей специфике нашего строгого режима удавалось кое-что прятать. Политические – народ изобретательный, а с годами опыт совершенствуется. Те же записи об Ахматовой я продублировал в микроформате и переправил на волю. Десять лет – это целая жизнь. За такой срок много чего накопилось. Лагерь, уже уральский, я покидал морозным утром под усиленным конвоем, уходя на этап в Сибирь с чемоданом, рюкзаком, мешком-«сидором» и подаренной мне в мордовском политлагере замечательной гитарой. Среди других бумаг удалось вывезти и эту тетрадочку.

– Николай Николаевич, а можно хотя бы ещё одну историю из вашей заветной тетрадочки?

– Пожалуйста. Самое начало лета 64-го года. Моя встреча с Ахматовой в числе членов Клуба любителей поэзии, существовавшего при книжном магазине на улице Союза печатников, 6. В клубе у нас выступали самые разные писатели и поэты, включая московских – Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадуллиной.

Приезжали Владимир Высоцкий, Василий Аксёнов и многие другие... Очень хотелось пригласить Ахматову. Она в то время жила в Комарово. Ехать Анне Андреевне на машине в город было бы уютно. Договорились с ней по телефону, что активисты клуба приедут в Комарово. Было нас не меньше пятнадцати человек. Мы еле втиснулись в литфондовскую писательскую дачу, которую Ахматова иронично называла «будкой». Она приняла нас очень любезно. Подробности опускаю. Я также рассказал о клубе, о том, чем мы занимаемся. Закончил просьбой об автографе на её книге московского издания 1958 года. Анна Андреевна быстро ответила: «Нет, нет, не сейчас!» Затем внимательно посмотрела на меня и сказала: «А Николай Браун-младший похож на отца! Вернись в город, позвоните мне, условимся о встрече».

Узнав, что Ахматова вернулась в город, я позвонил ей и в назначенное время направился в соседнюю парадную нашего дома с недавно полученным запретным «тамиздатом» – завёрнутым мной в непрозрачную обложку «Реквиемом»...

Беседовал Владимир ЖЕЛТОВ,

Христианская православная газета Севера России – «ВЕРА»

Григорий ПИСАРЕВСКИЙ

АМЕРИКАНСКИЕ ЕВРЕИ И ИХ СВЯЗЬ С ЛЕВЫМ ЛИБЕРАЛИЗМОМ

Новейшая политическая история евреев Америки характеризуется постоянной ассоциацией с либерализмом, нередко с более-менее выраженной леворадикальной составляющей. Демократическая партия, резко сдвинувшаяся влево со времён Обамы, по-прежнему набирает на выборах 70% и более голосов избирателей-евреев. Чем объяснить столь непоколебимую привязанность еврейских избирателей к демократам и, в частности, к левому либерализму?

Не претендуя на открытие какой-либо «истины в конечной инстанции» или же нахождения всеобъемлющего ответа на этот давний, многократно задаваемый вопрос (со столь же многократно предпринятыми попытками сформулировать адекватный ответ), попробую осмыслить и проанализировать некоторые аспекты этого явления.

Немного статистики

В соответствии с данными exit polls (послевыборных опросов) проведённых агентством PEW в Америке, в 2008 г. левому либералу Баракку Обаме отдали свои голоса 78% от общего числа всех евреев, принявших участие в голосовании, а в 2012 г. – 69%. Еврейские избиратели голосовали за Обаму, невзирая на его достаточно негативное отношение к Израилю и долготлетнюю ассоциацию с антисемитом и чёрным расистом, пастором Джереми Райтом. Для сравнения, на выборах 2012 г. Обама получил 39% голосов белых избирателей, 93% чёрных, 71% испаноязычных и 73% азиатов.

В 2016 г. Хиллари Клинтон получила 71% еврейских голосов. На т.н. “midterms” (промежуточных выборах) в ноябре 2018 г., по предварительным данным, евреи отдали демократам 79% голосов.

По информации American Jewish Council (Совета американских евреев), только 34% из них поддерживают политику президента Трампа в отношении Израиля, в то время как 57% относятся к этой политике негативно (остальные не имеют определенного мнения). В отношении переноса американского посольства в Иерусалим голоса разделились почти поровну: 46% за, 47% против.

В предыдущий, 115-й Конгресс США было избрано 28 евреев-демократов (20 в Палату Представителей и 8 в Сенат) против только 2 республиканцев. В Сенат входил также бывший кандидат в президенты на выборах 2016 г., независимый Берни Сандерс, крайне левый либерал.

По имеющимся данным на момент написания статьи, в 116-й Конгресс, действующий с 1 января 2019 г., избрано 22 еврея в Палату Представителей и 9 в Сенат. Как и в 115-м Конгрессе, только двое из них представляют республиканцев. Берни Сандерс вновь переизбран в Сенат как независимый.

Исторические мотивы

Как и любой другой социально-политический феномен, предрасположенность к левым прежде всего необходимо рассматривать в историческом аспекте. Хорошо известно, что в течение многих столетий евреи Европы – а подавляющее число американских евреев являются потомками выходцев из Европы, включая Россию) – испытали на себе жесточайшие преследования и дискриминацию. Они подвергались массовым убийствам во времена крестовых походов, изгнанию из многих стран (из Англии в 1291 г., Франции в 1306 г., Испании в 1492 г., Португалии в 1496 г. и т.п.), кровавому навету, помещались в гетто для предотвращения «тлетворного влияния» на христиан, а иногда якобы для защиты от нападений и были лишены многих гражданских прав. Хотя периодически правители некоторых государств предоставляли евреям определённые, иногда весьма существенные права и защиту, считается, что реальная эмансипация евреев началась с предоставления им гражданских прав во Франции в 1791 г. Затем она продолжилась, иной раз на короткое время, в период наполеоновских войн на некоторых территориях, захваченных Наполеоном, и в XIX веке была поддержана либераль-

ными движениями. Именно депутаты от либеральных партий (под воздействием всё более активной борьбы евреев за собственную эмансипацию) повсеместно голосовали в парламентах европейских стран за уравнивание евреев в правах – в Баварии, Бельгии, Великобритании, Италии и т.д.

Русскоязычному читателю наиболее близки примеры из истории Российской империи. Как известно, в массе своей евреи оказались на территории России после Первого, в 1772 г. и особенно Второго раздела Польши в 1790 г., когда к России отошли земли со значительным еврейским населением. Правившая в это время императрица Екатерина II вначале не имела намерения ограничить гражданские права евреев. Вместе с тем под влиянием сложных внутриполитических обстоятельств, тема которых находится за пределами данной статьи, она установила черту оседлости из 14-ти западных и южных губерний, запретив евреям жить в центре, обеих столицах и на востоке империи. Со временем были введены и другие ограничения: запрет на государственную службу, владение землёй, проживание в сельских местностях, удвоенный налог и т.п. В XIX веке и в начале XX, вплоть до Февральской революции 1917 г., уравнившей в правах всех граждан бывшей Российской империи, эти ограничения то значительно сужались, то существенно расширялись.

Известно, что евреи входили в число первых народовольцев. Гезя Гельфман являлась хозяйкой квартиры, где изготовлялась бомба, предназначенная для покушения на Александра II. Хотя она была единственной еврейкой среди восьми террористов-народовольцев, подготовивших и осуществивших убийство царя 1 марта 1881 г., во многих юго-западных губерниях начались многочисленные еврейские погромы, становившиеся все более кровавыми и продолжавшиеся, с перерывами, до 1907 г. Прогрессивные русские писатели и интеллигенция резко выступили против развернувшихся погромов, в то время как консервативно-«патриотическая» пресса стремилась оправдать или хотя бы «объяснить» погромы якобы имевшим место «угнетением» евреями русского народа.

Традиционно именно либерально-демократические круги солидаризировались с идеей уравнивания евреев в правах с остальным населением, а позднее, в 1912-13 гг., гневно и убедительно отвергали в прессе ложные обвинения в «ритуальном убийстве» в деле

Бейлиса. Представители этих кругов нередко вступали в дружеские и родственные отношения с евреями. Евреи, в свою очередь, добиваясь свободы и равенства для всех слоёв населения, стали активно участвовать в деятельности демократических и революционных движений и организаций, где их дружески принимали и приветствовали.

Тем не менее, консервативное окружение двух последних российских царей Александра III и Николая II продолжали держать еврейское население в положении якобы «враждебного» русским, презираемого и лишённого многих прав меньшинства. В результате около двух миллионов евреев покинули Российскую империю между 1881 и 1917 гг. – и сделали это, разумеется, желая избежать погромов и дискриминации. Подавляющая часть их избрала Америку в качестве «земли обетованной». А когда многие из их потомков, обустроившись, добившись хорошего экономического положения и пустив корни в Новом Свете, стали предпринимать попытки разобраться в политической жизни страны, историческая память подсказала им обратиться в сторону демократов. Практически это начало проявляться в эпоху Рузвельта и его т.н. политики «New Deal» («Новый Курс»), включающей определённые, существующие и поныне меры социальной защиты. А тут ещё в правительстве Рузвельта оказалось наибольшее число евреев в истории Америки. Это, и некоторые положения «New Deal», вызвали нападки на евреев в ряде консервативных СМИ, издевательски переделавших название «New Deal» в «Jew Deal» («Еврейский Курс»).

Впрочем, в годы Второй Мировой войны демократическое правительство Америки отказалось увеличить иммиграционную квоту для евреев, объясняя это экономическими трудностями, и тем самым обрекло на смерть от рук нацистов очень многих.

Религиозные мотивы

Некоторые исследователи пытаются объяснить ассоциацию евреев с левым либерализмом их стремлением приложить принципы иудаизма к социальному строительству – в связи с наличием неоднократных призывов к всеобщей справедливости в Ветхом Завете.

Тем не менее, сразу же отмечу, что призыв к социальной спра-

ведливости не является исключительно прерогативой иудаизма – подобные обращения содержатся в религиозных текстах практически всех религий и систем верований, включая и весьма древние. Тем не менее, по-видимому опять-таки в силу исторических причин, евреи в массе своей склонны воспринимать эту проблему особенно остро.

Некоторые авторы утверждают, что консерваторы выступают за традиционные христианские моральные и семейные ценности, что создает «непреодолимый барьер» между ними и евреями. Следует отметить, что в большинстве случаев консерваторы именуют западные ценности «иудео-христианскими». Однако некоторые еврейские авторы заявляют, что слово «иудео» представляет собой не более чем фиговый листок, прикрывающий якобы существующие намерения консерваторов, и, во всяком случае, входящих в их ряды протестантских фундаменталистов, ввести христианство в качестве государственной религии США и установить соответствующий ей доминантно-христианский характер государства.

Впрочем, вероятность установления в Америке «государственной религии» представляется исчезающе ничтожной.

Далее, иудаизм требует от своих приверженцев помощи немущим, практически осуществляемой в широких масштабах и на регулярной основе, в то время как для некоторых христианских конфессий, исповедуемых консерваторами, бедность, по мнению некоторых авторов, – «вполне естественное состояние, предопределенное Всевышним».

Вряд ли в наше время разумно толковать многие положения Нового Завета (а также и Старого Завета, Корана и т.д.), в том числе и тезис о «предпочтительной бедности», строго буквально.

Далее, часть протестантских фундаменталистов «выступают против любого потребления алкогольных напитков, в то время как вино является неотъемлемой частью еврейских праздников и ритуалов». Однако мне неизвестны сколько-нибудь распространённые конфессии, которые возражают против употребления алкогольных напитков членами *других конфессий*.

Утверждают, что сегодняшний консерватизм – это «консерватизм воинственный и нетерпимый, сильно напоминающий подходы Савонаролы и Хомейни». Однако в настоящее время «нетер-

пимость» консерватизма блекнет в сравнении с нетерпимостью к чужим взглядам крайне левых движений типа «Антифа», «Resistance» («Соппротивление» Трампу) и некоторых других. Разумеется, выступление группы белых супрематистов в Шарлотсвилле в 2017 г., с их лозунгом «Jews would not replace us» («Евреям нас не вытеснить») носило на себе крайнюю степень нетерпимости. Впрочем, в отличие от поистине массового либерализма, охватившего в наше время более половины населения целых штатов, включая Калифорнию, Нью Йорк, Нью Джерси, Массачусетс и др., движение белых супрематистов является весьма маргинальным.

Многие авторы указывают на правых консервативных деятелей типа Пэта Бьюкенена, подвергавшегося критике за антисемитские высказывания – наличие таких деятелей в республиканской партии отталкивает евреев к демократам. Тем не менее, можно назвать и немало деятелей демократической партии, допускающих антисемитские высказывания, включая и бывшего заместителя председателя Демократической партии Эллисона, бывшего конгрессмена, ныне избранного генеральным прокурором штата Миннесота.

Мотив «неприятия национализма»

Американские евреи, живущие в стране в течение трёх-пяти поколений, а до этого периода рассеянные по странам Европы, в своём большинстве поддерживают идеи интернационализма. В настоящее время, по их мнению, Америке необходимо прилагать больше усилий в направлении развития транснационализма, для поддержки своих друзей и союзников, включая в первую очередь НАТО, Канаду, Японию и дружественные страны Латинской Америки, и осуществлять политику свободного перемещения идей, товаров и капитала. Многие избиратели-евреи полагают, что в отсутствие указанных принципов мир становится менее стабильным и более опасным – не только для других народов, но и для самой Америки. Провозглашённый Трампом лозунг «Америка прежде всего», выход из неблагоприятных для страны NAFTA (Североамериканское Соглашение о свободной торговле), TPP (Транс-Тихоокеанское партнёрство) и парижского соглашения по климату, «война тарифов» и т.п., по их мнению, идут вразрез с указанными принципами.

Впрочем, к моменту написания этой статьи NAFTA возобновила своё существование под именем USMCA (Соглашение Америки, Мексики и Канады) на предположительно более выгодных для Америки условиях. Правда, новое соглашение должно быть ратифицировано Конгрессом, что по-видимому, вызовет немалые трудности в связи с демократическим большинством в Палате Представителей. Ожидается, что будет разработано и новое соглашение со странами Азии взамен ТРП. Рост тарифов на товары из Китая и проходящие переговоры могут привести к выравниванию торгового баланса, облегчению для экспорта американской продукции и ограничению китайского промышленного шпионажа. Что же касается некоторых «друзей» Америки, то, к примеру, президент Франции Эммануэль Макрон в ноябре 2018 г., как говорится, «на голубом глазу» поднял вопрос о создании «настоящей европейской армии для защиты от Китая, России и даже США(sic!)». Поистине, подобное заявление не звучит как слово «друга и союзника».

Политика и риторика Ангелы Меркель, хотя и не столь антиамериканские, также не могут быть восприняты как поистине дружественные. Так чьим же все-таки интересам должны служить, по мнению либералов в целом и их еврейской составляющей, дипломатическая и торговая политика Америки?

По части призыва Трампа к странам НАТО довести военные расходы до 2% ВВП, а к Японии и Южной Корее увеличить свою долю на содержание американских войск, то вряд ли эти требования можно назвать неадекватными – особенно в свете нынешней экспансионистской политики и беспрестанного наращивания вооружений со стороны России и Китая.

Достаточно сложным представляется вопрос отношения к беженцам из стран Латинской Америки и Ближнего Востока. Евреи, которых иногда в прессе именуют «образцовым меньшинством Америки» в связи с достигнутыми экономическими и социально-политическими успехами, всё же, как правило, рассматривают себя именно как «меньшинство». Люди старшего поколения помнят или слышали от родителей, что при отсутствии государственного антисемитизма они подвергались в Америке антисемитизму на бытовом уровне. В тридцатых и сороковых годах в объявлениях можно было увидеть фразы типа «евреям не обращаться» или «евреям

не сдаётся». Именно поэтому они придерживаются мнения, что все без исключения меньшинства нуждаются в поддержке и защите. К таковым относятся, по их мнению, и мусульмане, и т.н. «недокументированные», т.е. нелегальные мигранты. А положение о всяческой поддержке «непривилегированных» приветствуется именно левыми, ассоциированными в сознании евреев с демократами.

При этом упускаются из виду или считаются малозначительными три весьма существенных фактора. Первый – то, что крайне левые (здесь они смыкаются с крайне правыми) считают евреев слишком «могущественным» меньшинством, контролирующим СМИ, Уолл-стрит и даже правительство исключительно во имя собственной пользы. Второй – мусульманские иммигранты, и в частности сирийцы, происходят из стран, тотально отравленных антисемитизмом, наряду с отрицанием западного образа жизни в целом. И третий – нелегальные мигранты из стран Латинской Америки представляют собой беднейшие, малоквалифицированные слои населения, с недоверием относящиеся к обеспеченному классу, куда они относят и евреев, а возможно – евреев в первую очередь.

Следует учесть и происходящую тенденцию к росту антисемитизма в Америке. По данным Антидиффамационной Лиги, зарегистрированные акты антисемитизма увеличились на 57% в 2017 г. по сравнению с 2016 г. Американские евреи в массе своей утверждают, что этот процесс получил толчок в результате «разделительной риторики» и изоляционистских действий президента Трампа. Вполне возможно, впрочем, связать его и с не менее разделительной риторикой Обамы и его генерального прокурора Эрика Холдера, отставивших, особенно в последние годы правления Обамы, исключительно права чернокожих и мусульманских меньшинств.

Небывалое в Америке зверское убийство 11 евреев в синагоге «Древо Жизни» в Питтсбурге в октябре 2018 г. было совершено фанатиком-расистом, противником Трампа, обвиняющим евреев в попустительстве въезда в Америку мусульман и нелегальных иммигрантов-латиноамериканцев. Показательна, однако, антитрамповская демонстрация, устроенная многими сотнями, и возможно, даже тысячами либеральных евреев Питтсбурга в день, когда президент Трамп и Первая леди прибыли в Питтсбург, чтобы почтить память погибших. Впрочем, духовный лидер конгрегации «Древо

Жизни», раввин Джеффри Майерс приветствовал президента в синагоге, а несколько десятков членов еврейской общины подписали открытое письмо с выражениями благодарности Трампу за его приезд. Соотношение явно не в пользу консерваторов...

Факт роста антисемитизма можно связать и с постоянной финансовой поддержкой, оказываемой евреем-миллиардером и филантропом Джорджем Соросом как разного рода левацким движениям по всему миру и в Америке, так и «недокументированным» мигрантам. Соросу, которого многие обвиняют в якобы имевшем место сотрудничестве с нацистами в годы Второй Мировой войны, по-видимому лучше было бы держаться в стороне от политических движений.

Другим деятелем, пожертвовавшим 80 миллионов демократам только для поддержки промежуточных выборов в ноябре 2018 г, является бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг.

Левый либерализм как новая религия

Интересно мнение известного американского публициста Нормана Подгореца, изложенное в его книге «Почему евреи – либералы» (“Why Jews Are Liberals”), вышедшей в 2009 г. Автор – в прошлом активный либерал, впоследствии ставший одним из идеологов т.н. неоконсерватизма. Он предполагает, что помимо исторически обусловленной тяги к левому краю политического спектра, евреи рассматривают либерализм как своего рода новую религию. Восприимчивые ко всему новому, они с горячностью поддерживают либеральные идеи, заменившие им ослабевающий, в особенности у молодёжи, традиционный иудаизм. При этом Подгорец утверждает, что «социальная, политическая и моральная система, которую либералы хотят изменить, и есть та система, внутри которой и посредством которой евреи обрели тот самый дом, который они так и не сумели найти за всё время вынужденных скитаний на протяжении столетий и в разных частях нашей земли».

Естественным образом, не только евреи, но и прочие гиперактивные сторонники либерализма сделали из него своего рода религию. Ту же самую мысль, то ли почерпнутую у Подгореца, то ли сформулированную в результате собственных независимых

изысканий, высказывает и ряд авторов различных публикаций в СМИ.

Непременный атрибут религии – наличие священных элементов – несомненно присутствует в современном либерализме. «Священные коровы» заменены «дьявольскими». К примеру, многие символы христианства объявляются «оскорбляющими чувства» всех прочих. Сюда отнесены и рождественская ёлка, и публичная демонстрация 10-ти заповедей и даже сам факт празднования Рождества и Хэллоуина (Halloween). Странниками крайнего лево-либерализма в США памятники Христофора Колумба и деятелей южан времён Гражданской войны разрушаются или оскверняются как «расистские символы». Характерно, что демонстрация мусульманской символики не вызывает возражений. Даже вывешивание американского флага декларируется некоторыми либералами как оскорбление их чувств, в то время как его уничтожение или надругательство считается приемлемым. Как похоже на борьбу средневековой инквизиции с «проявлениями дьявола»!

Ещё одна характеристика всякой религии – ритуальные акты – есть интегральная составляющая религии левого либерализма. Громогласные кампании в университетских кампусах по срыву выступлений консервативных ораторов, настойчивое провозглашение якобы повсеместно существующей «белой привилегированности», демонстрации с осуждением «израильской оккупации» и в поддержку движения «Black Lives Matter» (“«Жизнь Чёрных Имеет Значение»”) – вместо очевидного тезиса “«All Lives Matter»” («Все Жизни Имеют Значение»), гей-парады, вынуждение (с помощью «легального» шантажа) публичных извинений со стороны нарушителей указанных постулатов – все это ритуальные действия. Под влиянием движения «Me Too» («И я тоже») сюда добавилось поощрение в либеральных СМИ и блогах многочисленных обвинений высокопоставленных представителей мужского пола, в основном консерваторов, в сексуальных домогательствах с последующими требованиями ухода в отставку, увольнения, отстранения актёров от съёмок в сериалах и т.п. Впрочем, как «указывал» в своё время товарищ Сталин, «лес рубят – щепки летят». Левый конгрессмен Франкен, прежний кумир либералов знаменитый актёр Кевин Спейси и ряд других деятелей также оказались жертвами «Me Too».

Имеется у современного либерализма и свой моральный кодекс (так и хочется написать) «строителей коммунизма»). С опасностью повториться, перечислю его составляющие ещё раз. Это отстаивание «гражданских прав» нелегалов, мультикультурализм, политкорректность, поддержка многолетних незаработанных льгот, осуждение «белых привилегий», клеймение «израильской оккупации», «презумпция виновности» полиции, поддержка теории глобального потепления, требования запрета на публичную демонстрацию христианской символики – многие помнят Рождественские вечеринки в компаниях, давно уже именуемые «Holiday Parties» («Праздничные Вечеринки»).

У либерализма обозначены и свои святые, и своё понятие дьявола. К святым, подлежащим неперемennomу восхвалению и защищаемым от любой критики, относятся, к примеру, Барак Обама с супругой и давний противник капитализма Ноам Хомский. Ну а роль дьявола, разумеется, отведена Дональду Трампу.

Особенно наглядно эта фанатичная нетерпимость проявилось во время утверждения Брета Кавано в качестве члена Верховного Суда США в сентябре-августе 2018 г.

Ещё один мотив: социальное «давление» окружающих

Хотя евреи в последние полтора столетия нередко проявляли себя как политические и идеологические нонконформисты, со времён Обамы или ещё раньше они подвергаются и уступают социальному давлению со стороны своего собственного окружения. Многие политически консервативные евреи предпочитают не афишировать свои взгляды. Зачастую, они вынуждены прибегать к такого рода социальной мимикрии из нежелания вызывать о себе негативное мнение, а в исключительных случаях даже и разновидность ostracism со стороны родственников, друзей, коллег и членов различных клубов. Подобные явления с особенной силой проявляются на студенческих кампусах, где в большинстве случаев существует только одно политическое направление. Модный политический термин «virtue signaling», который можно объяснить как «стремление публично выражать свои взгляды, демонстрирующие приверженность высокой морали», пустил глубокие либеральные корни в большин-

стве университетов. Как уже говорилось, нередко это ведёт к отставанию точек зрения, противоречащих собственным реальным интересам.

Многие русскоязычные семьи в Америке испытали подобную ситуацию на собственном примере, когда выросшие в США и окончившие университеты дети и внуки оказываются не в состоянии воспринять идеологические взгляды старших членов семьи. Впрочем, ряд СМИ упоминает, что аналогичное различие политических воззрений, иногда приводящее к острому конфликту, зачастую происходит и в семьях урождённых американцев.

Финансово-экономический аспект

Евреи в большинстве случаев принадлежат к обеспеченному классу – тому самому, который в истории многих стран давал и продолжает давать высокий процент лево-либералов. В настоящее время это профессионалы (врачи, юристы, финансисты, менеджеры, компьютерщики, профессура и преподаватели школ), а также владельцы бизнесов. Практически все они – хорошо обеспеченные люди, заинтересованные в стабильности существующих возможностей высокого (заработанного!) дохода, гарантированного их образованием, квалификацией, талантом и напряжённым трудом. Эти евреи никак не могут выиграть от воплощения в жизнь лозунгов, выдвигаемых левыми либералами – повышение налогов на т.н. богатых (куда априори зачисляется любой индивидуум с более-менее приличным заработком), бесплатное содержание постоянно расширяющегося класса малоимущих и т.н. «недокументированных» иммигрантов и предоставление им всё большего количества льгот и привилегий, приём студентов в университеты и колледжи не в результате свободной конкуренции знаний, а по расовым и национальным квотам.

Массовая поддержка евреями леволиберального курса напрочь опровергает миф о якобы существующем еврейском приоритете финансовой прибыли над всеми остальными соображениями. Некоторые судьи (т.н. «судьи-активисты»), придерживающиеся левых взглядов, в значительной мере облегчают процесс прохождения исков от частных лиц к компаниям и корпорациям. Это подтверждает

ют известные автору данной статьи юристы, практикующие в сфере финансовых отношений. Таким образом, поддерживая левых, многочисленных евреи, владельцы и акционеры компаний, во имя блага менее привилегированных членов общества объективно выступают против собственных финансовых интересов.

Эмоциональный аспект

Что же касается эмоционального аспекта, то здесь ситуация может оказаться достаточно сложной. Евреи не без оснований полагают, что демократы, находясь у власти, в своей законодательной деятельности более склонны принимать в расчёт интересы т.н. «широких масс». В сознании многих слово «либерал» по-прежнему таит в себе некий положительно-магический элемент, а термин «консерватор» ассоциируется с тормозом прогресса. Тем не менее, историко-социальная реальность нередко преподносит нам удивительные трансформации смысла многих слов и понятий. Позитивный для многих из нас в детстве и юности термин «чекисты» давно уже утратил какую-либо привлекательность. Не думаю, что мне следует повторять, как изначально, казалось бы, неплохие слова «товарищ» и «партайгеноссе» оказались опорочены коммунистами и нацистами.

Уже много лет назад было подмечено, что крайне правые и крайне левые практически смыкаются в своих взглядах и действиях. Это было хорошо видно на примере массовых беспорядков, насильственных действий и столкновений с полицией т.н. «жёлтых жилетов» во Франции в ноябре-декабре 2018 г. В частности, фасады многих банков, страховых компаний, правительственных зданий были разбиты или испещрены лозунгами типа «Долой капитализм». Даже Триумфальная арка подверглась осквернению. В акциях плечом к плечу участвовали крайне левые, включая анархистов, и крайне правые.

Известный американский публицист Иона Голдберг ещё в 2008 г. опубликовал своё фундаментальное исследование «Либеральный фашизм» (с подзаголовком «Секретная история американских левых» – бестселлер #1 «Нью Йорк Таймс» в течение семи недель, есть русский перевод), где отметил все типовые признаки обык-

новенного фашизма в призывах, лозунгах и действиях либералов. Хулиганские атаки маскирующейся под своим названием Антифы и других леволиберальных организаций в университете Беркли в 2017 г., устроивших поджоги зданий, сорвавших выступления консервативных ораторов Бена Шапиро (через некоторое время выступление Шапиро всё-таки состоялось, сопровождаемое усиленной полицейской охраной и арестами штурмовиков из Антифа) и Мило Яннаполоса, и избивавшие их сторонников, вызывают недоумение – как могут евреи принимать участие или хотя бы солидаризироваться с подобными акциями?

Впрочем, в декабре 2018 г. Университет Беркли был вынужден заключить settlement (юридическое соглашение, ведущее к прекращению судебного процесса) с консервативным Союзом Молодых Американцев (UAF) и организацией студентов-республиканцев Беркли, обвинившими университет в нарушении свободы слова. В соответствии с этим соглашением Беркли согласился выплатить студентам-республиканцам судебные издержки в размере \$70,000; прекратить практику выделения неудобных помещений и неудобного времени для выступлений консервативных ораторов; ввести security fees, независимые от политической ориентации оратора (security fee – это взнос для обеспечения безопасности, который платит студенческая организация, пригласившая оратора, К примеру, взнос при выступлении Бена Шапиро был затребован в размере \$20,000, более чем в три раза выше, чем за выступления левых ораторов). Университет также обязался предотвращать срыв студентами выступлений консервативных ораторов.

Заключение

Историческая память о многовековых ограничениях и преследованиях, исходящих от властей, плюс опыт последних четырёх-пяти поколений еврейских либералов в Америке в значительной степени сформировали политическое сознание большинства. Евреи широко представлены во многих левых организациях. Они весьма активны, в том числе и как руководители, в относительно умеренном, до недавнего времени, Союзе Борьбы за Гражданские Свободы (ACLU). Наличием значительного еврейского компонента характе-

ризуются и многие крайне левые течения, включая Антифа, которая постоянно использует акты насилия, вандализм и хулиганские действия. Антифа, похитившая своё громко звучащее наименование у реальных антифашистов, находится в авангарде разнузданных выступлений как против администрации президента Трампа, дестабилизируя при этом политическую систему Америки, так и против любых движений и деятелей, отстоящих хотя бы на миллиметр вправо от их собственных позиций.

В отношении несогласных забыты не только право на свободу слова и давние принципы западной толерантности, но и усердно декларируемая левыми политическая корректность. В то же время малейшая критика в отношении, скажем, нелегальных иммигрантов объявляется ксенофобией. Особенно парадоксальным представляется тот факт, что евреи продолжают оставаться, а нередко играть руководящую роль в крайне левых организациях, практически тотально антиизраильских, а в ряде случаев и мигрирующих к открытому неприятию еврейских символов (звезда Давида) и другим, более действенным проявлениям антисемитизма.

(Тем не менее, сделаю оговорку: некоторые умеренно либеральные авторы справедливо указывают, что критика в адрес конкретного правительства Израиля и его политики вовсе не приравнивается к антисемитизму).

Хотя одно не входит в противоречие с другим, хотелось бы предостеречь против поспешного наклеивания ярлыка антисемитизма на некоторые правые организации на основании разрозненных и вырванных из контекста высказываний их отдельных представителей. Уместно также отметить деятельность таких ярких и популярных фигур американских евреев на консервативном фланге, как широко известный телекомментатор и публицист, лауреат Пулитцеровской премии Чарльз Краутхаммер, умерший в 2018 г.; упомянутые выше Норман Подгорец и редактор журнала «Daily Wire» («Ежедневные Телеграфные Новости») Бен Шапиро, продолжающий своё лекционное турне по университетам Америки; Дэвид Горовиц (в прошлом, как и Подгорец, известный активист-либерал); Берни Голдберг (не путать с Берни Сандерсом); писатель и радиоведущий Деннис Прагер; рано ушедший Эндрю Брейтбарт и многие другие. Я ближе знаком с политическим ландшафтом Аме-

рики, но уверен, что подобных им деятелей можно найти и в Западной Европе.

События последнего времени в очередной раз подтверждают парадоксальность альянса с левыми еврейских деятелей и организаций.

Новоиспечённая конгрессвумен от Демократической партии Ильхан Омар, одна из трёх мусульман в Конгрессе, дважды за несколько недель выступила с демаршами, которые многими были расценены как антисемитские. В феврале она опубликовала постинг на Твиттере, где утверждала, что американские сторонники Израиля подкуплены. Затем она откровенно обозначила свои взгляды заявлением, что члены Конгресса, поддерживающие Израиль, имеют «двойную лояльность».

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выступила с инициативой принятия резолюции Конгресса, осуждающую антисемитизм, с упоминанием ксенофобских высказываний Омар. Идея, поддержанная многими представителями обеих партий, вызвала резкое противодействие со стороны левого крыла демократов в Конгрессе, возглавляемого другой новоизбранной конгрессвумен, рьяной социалисткой Александрией Окасио-Кортес. К ним тут же примкнули крайне левые сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и Камала Харрис. К сожалению, аналогичную точку зрения высказал и ряд левых еврейских организаций. Все они пытались обосновать свою позицию якобы «несправедливостью» выбора Ильхан Омар в качестве «мишени для атаки», а также тем, что проект резолюции не включает в себя такие дискриминируемые группы, как темнокожие, мусульмане, геи, лесбиянки и т.п.

В итоге антисемитка Омар не подверглась осуждению, а Конгресс 7-го марта принял размытую, выхолощенную резолюцию.

Кто лучше представляет в современных условиях интересы американских евреев в социально-политической системе координат – и как национальной группы, и как сознательных и последовательных патриотов своей страны? Левые или правые? Дональд Трамп или те, кто выступает против него? А может быть, центристы? Каждый думающий человек, идентифицирующий себя в качестве еврея, должен будет самостоятельно ответить на этот неординарный вопрос.

Григорий Писаревский – инженер-электрик, первые 40 лет жизни провел в Харькове. В Америке с 1988 года. Около 25 лет работал в крупных американских компаниях в области информационных технологий. Живет в Нью-Джерси.

Является одним из основателей и членом правления клуба «Русских Американцев» в своем городке. Печатался в интернет-журнале «Беркович-Заметки», Калифорнийском интернет-журнале «Кстати», «Еврейском Мире», журнале «Чайка» и местной газете «Concordian» (на английском языке). Также на английском языке под псевдонимом «Jeff Pierce» издал политический триллер «Hallways of Deserption» («Коридоры Обмана»).

Лариса ИЦКОВИЧ

ПРОРОКИ

В запутанном клубке ушедших поколений,
 Чей путь порою мы относим к чудесам,
 Случались те, кто силой озарений
 Жизнь измерял по собственным часам,
 Отдав её без страха и сомненья
 Во исполнение Божьего веленья.
 Пророки! Их служенье было бескорыстно,
 Им изредка на хлеб бросали медяки,
 Их ноги стыли на дорогах каменистых,
 И ведали они бродячих псов клыки...
 Но тщетно призывали к покаянью,
 Чтоб за грехи избежать наказания!
 Кто слушал их слова, исполненные боли?
 Кто их речам внимал, замедлив шаг?
 Кто в море слёз уменьшил горечь соли?
 Кто распалил в своей душе любви очаг
 От их очей, горящих как алмаз,
 И Богом свыше им внушённых фраз?
 Из тьмы веков они слышны поныне
 Подобно гласу вопиющего в пустыне.

ИСАИЯ

Стоит, на посох руки опустив,
 Под сенью старых негустых олив,
 Народу волю Господа вещая,
пророк Исайя.

«О, горе вам, считавшим зло добром,
 А доброе назвавшим чёрным злом, –

Вас за надменность тьма сразит слепая!», –
вещал Исайя.
«Остынет пепел в ваших очагах!
Чужая пыль осядет на ногах,
И не отыщет мать детей, стеная!», –
кричал Исайя.
О, сколько бед за много-много лет
Падёт на плечи, и померкнет свет
У тех, кто прочь уходит, не внимая
тебе, Исайя!
Я дом покину ради вещих слов,
Раздвину силой сердца тьму веков
И припаду, колени обнимая,
к тебе, Исайя –
Скажи, когда ж потоком горних вод
Омоет Бог свой избранный народ,
И расцветёт, ни бед, ни зла не зная,
Земля Святая?
Но, грустно очи долу опуская,
молчит Исайя...

ПРОРОК ИЕЗЕКИИЛЬ

Известны точно месяц, день и год,
Когда явился Иезекиилю
С небес в огне, дыму и тучах пыли
Тот, кто решил свой избранный народ
К раскаянью призвать за множество грехов
И к вере возвратить – основе всех основ.
Известно точно, что из года в год
Собратья рода Иезекииля
Уже чужим богам покорны были –
В плену, вдали от милых иорданских вод –
У идолов моля спасение от бед,
Смирненно принося им жертвы и обет.
И Тот, кого скрывал небесный свод,
Призвал к служенью Иезекииля,

Дабы из уст пророка исходили
Слова, что каждый сердцем примет и поймёт,
И сохранит в душе, как белизну одежд,
И веру, и любовь – источник всех надежд.
Известны точно месяц, день и год,
Когда казнили Иезекииля –
Копыта конские его во прах месили
По воле князя, чей отступнический род
Пророк в речах своих подверг изобличенью,
Чем и обрёл себя на смертные мученья.
Героям прошлого мы славу воздаём!..
Пророков нынче нет в отечестве моём.

ИЕРЕМИЯ ПЛАЧЕТ

*«Чем хуже этот век
предшествовавших?»*
Анна Ахматова, 1919 г.

Что ныне лучше, чем в ушедшем веке?
Так, может быть, обилие машин,
Что в космос унесут и всех глубин
Достигнут? Что ж сказать о человеке?
Проникся ли Заветами от Бога?
Честней ли стал, добрее хоть немного?
Изжил ли алчность, злобу, содомию?
Нет! Плачет, плачет вновь Иеремия...

А чем наш век предшествовавших хуже?
Тем, что мы можем атом расщеплять
И на куски планету разорвать,
Что разум и мораль давно не дружат,
В умах, сердцах, увы, согласия нет,
И пишет горькие стихи поэт,
Пророкам скотч на рты и пули в спины...
Иеремия плачет по невинным...

Так ждать ли после нас времён грядущих,
Или в безумии взорвём поток веков,
Младенцев не щадя и стариков,
И гениев, нам всё-таки присущих?
И обратит ли взор свой Вседержитель
На Землю – нашу грешную обитель,
На души наши скорбные тем паче?
Ответа нет. Иеремия плачет...

Лариса Ицкович родилась в 1940 году в Азербайджане. Детство прошло в Украине. Училась и работала в Минске, была научным сотрудником и преподавателем Белорусского политехнического института.

В США с 1994 года. Живет в Чикаго. Стихотворения публиковались в русскоязычных газетах и журналах США и Израиля, в журналах «Мосты» и «Литературный европеец» (Германия). Издала две поэтических книги.

Александр ЯБЛОНСКИЙ

ФАНТОМНЫЕ БОЛИ КРЕМЛЯ

Генерал Власов как индикатор мифотворчества о войне

Когда вчерашнего номинанта на Ленинскую премию, бывшего любимца бывшего Первого Секретаря – диктатора страны Советов – приспичило, после долгих колебаний, «гасить» окончательно, «смотрящие» за Большой Зоной нашли безупречный, беспротирный зачин. М.А. Сулов – патологический бандит, но человек неглупый – позже озвучил принцип стратегии: *«Для того, чтобы осуществить ту или иную меру в отношении Солженицына /арест или высылку за границу – А.Я./, надо подготовить наш народ, а это мы должны сделать путем развертывания широкой пропаганды»* (Заседание Политбюро ЦК КПСС. 7 января 1974 г.). В новой волне широкой пропаганды, давно уже развернувшейся, не было особой необходимости. Вполне хватило ранее безошибочно выбранного тавра: «Литературный Власовец». Для советского народонаселения стало несомненно: раз власовец, значит враг. Клеймённый, вечный, непрощаемый.

Давно уже покинули сей мир и тот Первый Секретарь, правление которого оказалось легкой отдушиной в беспросветной истории Страны Советов, и А.И. Солженицын, его высокие покровители, «новомировцы», влюбленные почитатели, желчные критики и личные враги, так же, как и, не ко сну будут помянуты, члены принопамятного Политбюро; ушли из жизни многие свидетели тех событий и, тем более, почти все, пережившую Великую войну – с той и с этой стороны. Страсти улеглись, и слова «немец», «Германия» напрочь отвязались от синонима «враг». Победенный – Германия, – вопреки пословице, «получил всё» и кормит победителя, покупая его природные ресурсы, а победители – поколения кремлевских триумфаторов всё ликуют по поводу давней победы (с возраста-

ющим нездорово агрессивным ажиотажем) и блуждают в поисках своего особого державного пути.

Империя развалилась! Зловещее величие сменилось потугами на значимость. Госпожа История всё расставила по своим полкам. Нашла место и Русской Освободительной Армии (РОА) Андрея Власова, насчитывавшей 120 – 130 тысяч человек, определив результативность ее действий против армий союзников (практически нулеву), и место (неприметное) в почти полуторамиллионном антисоветском движении – процентов десять от общей численности антибольшевистских вооруженных сил. Она же всё описала; литература о Власове огромна: это и публицистика, злобно – в основном или апологетически зашоренная, мемуарная проза и художественные произведения, немногочисленные серьезные исследования, среди которых выделяется классический многотомный труд В.С. Батшева – «Власов», тт. 1-4 (Франкфурт-на-Майне, 2015), а также работы, посвященные русскому коллаборационизму К. Александрова, А. Мартынова и других. Однако зловещий миф о генерале – предателе и «власовщине» – сей «новояз» советской эпохи, органично врос в культурный обиход России, – этот миф не сдувается, не обогащается исторической точностью, но растет, наливаясь ненавистью не только и не столько к РОА, реально неведомой поколениям, родившимся после войны, сколько к осмыслению правды об этой страшной странице нашей истории, ее кровооточащей ране.

Являясь пращуром литературы, миф сформировал принципы ее бытия. Родовые признаки мифологии и общность базовых принципов определяют отсутствие прямой зависимости литературы (как и мифа) от реалий «низменной прозы жизни». Литература не отражает действительность (хотя и осваивает ее), но формирует новую. Поль де Ман – один из лидеров Йельской школы деконструктивизма – писал: «*Автобиография не отражает реальность, но сама создает ее.*» («*Autobiography is not a reflection but a created product.*» – Paul de Man. *Autobiography as Defacement* Modern Language Notes. 1979. Vol. 94, p. 920). Даже автобиография! Это в ещё большей степени относится к художественной прозе. Миф – «свод» сакральных мировоззренческих «вечных» ценностей, как *основа архаического* сознания, изначально противопоставлял себя эмпирическому «эпосу», являл-

ся основой смысловой организации общества, силой, *творящей особый мир, параллельный существующей прозаике.*

Со временем «миф» потерял свою абсолютную ценность, ибо был лишен опоры на доказательную или свидетельскую базу. Параллельно классический миф, где сюжеты и герои были полностью вымышлены (Прометей, Геракл, Орфей etc.), приобретал все более заметные очертания реальности, превращаясь, скорее, в *легенду*, в которой персоналии и события имели историческую основу, но были искажены до неузнаваемости. *Абсолютная самоценность мифического содержания, воспитательная, но не познавательная* мотивация его возникновения и существования, делают миф антиподом исторической правды. В разные периоды развития сознания Homo Sapiens соотношение «правда – миф» менялись. В культурном пространстве последних десятилетий мифология активизировала свое воздействие. Думается, влияние мифа закономерно возрастает в катастрофические периоды развития истории, в грозные и предгрозные годы.

Устоявшееся утверждение, что литература, искусство должны отражать действительность, продолжает властвовать умами подавляющей массы потребителей искусства. Ложный постулат. Даже соцреализм не отражал, а создавал новую реальность, по сути, фантастическую. Автор есть Демидур, создатель своей вселенной, логика и законы развития которой подчинены только воле создателя. Однако, при определенных условиях и в специфическом историческом контексте, миф в современном виде (легенда) или в виде художественной прозы вытесняет или замещает правду бытия, начинает восприниматься общественным сознанием как неоспоримый исторический или научный факт. В одном случае это – результат убедительности мощного художественного мышления великого автора (будь то Гомер или Лев Толстой), в другом – результат не менее мощного тотального идеологического воздействия государственно-го или религиозного аппарата.

Убедительным примером первого варианта мифотворчества является, скажем, М.И. Кутузов в интерпретации Л.Н. Толстого. Образ «Светлейшего князя» – победителя «корсиканского людоеда», мудрого, прозорливого стратега, доброго «дедушки», «плоть от плоти русского народа», поднявшего «дубину народной войны»,

внешне сонливого, но активно мыслящего спасителя армии и России, благородного ворчливого старика и пр. – этот образ накрепко засел в головах массового читателя (кинозрителя, театрала и пр.). Фигура, по Л. Толстому, – практически идеальная. Слуга – нет, не царю – России, отец солдатам. Однако: *«придворный интриган, собственноручно приносивший кофе в постельку фавориту Екатерины /Платону Зубову – А.Я./, обыгрывавший до разорения в карты молодых людей, не очень похож на Кутузова «Войны и мира» (М. Алданов, «Кутузов русской революции», «Исторические портреты», СПб, 1999, с.164).*

Ладно с личностью, в бытовом и моральном отношении малопривлекательной (тут и малолетняя девочка, переодетая казачком, ублажавшая Кутузова в Бухаресте, да и в зимней кампании 12-го года – уже другая, тут и постоянные доносы на Барклая, стратегию которого он воспринял и которой прославился, тут и льстивое до неприличия услужение государям, будь то Екатерина или ее антагонист – сын Павел, и подобострастная угодливость к их фаворитам...) Кстати, при первой встрече с Александром назначенный Главнокомандующим Кутузов первым делом попросил о материальном «вспомоществовании». Барклай, будучи военным министром (с начала 1810 года по август 1812-го) и видясь с царем почти ежедневно, ни разу с подобной просьбой не обратился. Л. Толстому, бесспорно, поведенческий стиль Барклая, его щепетильность в вопросах чести были не только близки, это был его – Толстого – принцип бытия. Вспомним:

«– Вы чего просите? – спросил Аракчеев.

– Я ничего не прошу, ваше сиятельство – тихо проговорил князь Андрей.

Глаза Аракчеева обратились в нему.

– Садитесь – сказал Аракчеев. – Князь Болконский?

– Я ничего не прошу...»

Независимость и чувство собственного достоинства – мерило человеческой личности для яснополянского графа. Не случайно он так гордился своим дедом – генерал-аншефом В.С. Волконским (прообраз старика Болконского), который, помимо всего прочего, посмел «сдерзить» Екатерине (вернее, ее любимцу), тем самым оборвав на взлете свою карьеру. На предложение Потемкина – слу-

чай рутинный в те времена – жениться на его – Потемкина – оставленной любовнице (и племяннице) Вареньке Энгельгардт, Волконский отвечал: «С чего он взял, чтобы я женился на его бляди!». Предложением всесильного фаворита немедля воспользовался князь С.Ф. Голицын, осыпанный тут же наградами и почестями. В.С. Волконский был отправлен в Астрахань воеводой.

К чему это? К «родственности» нравственных с Барклаем устоев. Помимо этого, Толстой прекрасно знал о роли Кутузова в выдавливании из армии героя Бородино, понимал подлинное значение победной стратегии Барклая, ценил его личное мужество. Барклай, к примеру, при Бородине в полной парадной форме, при всех орденах, то есть, являясь отличной мишенью – под ним в этом сражении было убито 5 лошадей, — шел в атаку в первом ряду вверенных ему войск, проявляя незаурядное мужество и умение командира. Смертельно раненный Багратион, находившийся ранее в ох каких непростых отношениях с бывшим командующим, писал в своих последних строках: «Скажите генералу Барклаю, что участь армии и ее спасение зависят от него...» (см.: Г. Куманев. Великий русский полководец генерал-фельдмаршал М. Б. Барклай де Толли в Отечественной войне 1812 года).

Однако, зная всё это, Толстой, сообразуясь с логикой развития романа и своим историческими и нравственными концепциями (стихийное, бессознательно начало человеческого бытия определяет развитие истории, а не воля и талант отдельных личностей, соответственно, успех – неуспех связан лишь с тем, насколько эти личности выражают стихийную основу событий), наделяет Кутузова, якобы чувствовавшего эту «стихийную основу», теми моральными, интеллектуальными достоинствами, которыми реальный «Светлейший» не обладал.

Впрочем, Бог с ними, с моральными. Но и полководческие успехи, особенно в Отечественную войну, подвергались сомнениям, если не осмеянию. «Хорош и сей гусь, который назван и князем, и вождем! Теперь пойдут у вождя нашего сплетни бабьи и интриги», – писал Багратион, узнав о назначении Кутузова главнокомандующим (Отечественная война в письмах современников. Государственная публичная историческая библиотека России, 2006, с. 100.). Проф. Н.А. Троицкий, суммируя негатив по отношению к фельдмаршалу

(А. Ермолова, Н. Раевского и др.) констатировал, что полководец Кутузов («величина национальная») несомненно уступал полководцу Наполеону («величине мировой»). и большую, если не решающую, роль в победе над французом сыграл Барклай, нежели герой Л. Толстого (Н. Троицкий «Фельдмаршал Кутузов: мифы и факты.» М., 2002).

В романе Л.Н. Толстого есть прекрасная сцена, когда «графинюшка» Ростова, «с озлобленным лицом», кричит матушке: «Это гадость! Это мерзость!» – ...Раненые, вот кто! Это нельзя, маменька» ... И обоз разгружают, снося «сундуки в кладовые», чтобы дать место раненым. «Яйца... яйца курицу учат», – сквозь счастливые слезы проговорил граф». А ведь точно: Россию спасла именно эта графинюшка и полуразорившийся граф со счастливыми слезами, а не пресловутая дубина народной войны и мудрый гений Главнокомандующего! Однако... раненых были тысячи, ни Ростовы, ни другие – несколько семей, не могли вывезти всех. Эти раненые, – в основном, «нижние чины», были оставлены в Москве Кутузовым, на «попечение» Ростопчина. Большинство из них сгорело во время московского пожара. (Н. Троицкий, цит. изд., с.221). И ещё. Из Тарутино Кутузов вывел около 130 тысяч солдат, в Вильно пришла примерно одна пятая часть – около 28 тысяч. Большинство – неболевые потери: кто умирал, кто отставал замерзшим, изголодавшим: зимней одеждой и провиантом не удосужились обзавестись. «Зима и русский бог» одинаково «благоволили» и французам, оказавшимся за тысячу миль от дома, и русским – в России. Это – к оставлению Москвы ради спасения армии.

В армии же, особенно, нижние чины, Михаила Илларионовича недолюбливали, хотя при его назначении ликовали: поставили русского вместо «немца». Ф.В. Ростопчин из Тарутинского лагеря уведомлял Александра: «Князя Кутузова /.../ никто не видит, он всё лежит и много спит. Солдат презирает его и ненавидит его». (А. Шишов, «Неизвестный Кутузов». М., 2001, с. 378). К словам Ростопчина следует относиться осторожно: источник не слишком надежный. Однако большая доля истины, подтверждаемая другими данными, в этом случае есть.

Было бы непростительной ошибкой впадать из одной крайности в другую. Конечно, «Светлейший» был крупным военачальни-

ком, известным до первого ранения в голову под Алуштой в 1774 году личной храбростью и инициативностью. Да и позже. Особенно отличился при штурме Измаила. *«Генерал Кутузов шел у меня на левом крыле, но был правою моею рукой»* (Суворов). Значительно позже, в октябре 1805 года после разгрома австрийской армии под Ульмом и оставшись один на один с Бонапартом, сумел классическим стратегическим маневром – отступательным броском в 430 километров – вывести свои войска из окружения, нанеся поражение Мюрату под Амштеттеном и Мортье под Кремсом. В конце концов, что бы ни было, под его началом русская армия изгнала Наполеона из России. Он имел мудрость и смелость, несмотря на личную неприязнь к Барклаю, не отказаться от единственно возможного плана борьбы с Бонапартом (*«Наполеона нам не победить, мы его обманем»*). Имел мужество противостоять «общему» мнению, даже мнению Императора, перед которым лебезил, заискивал; в одиночестве отстаивал свою точку зрения. Это дорогого стоит. Был добр в быту. Плюс дипломат отменный. Суворов: *«Умен, умен, хитёр, хитёр. Никто его не обманет»* ... Да и нравственные шалости, шокирующие сегодня, в те наивные времена были делом нормальным, «житейским».

Впрочем, не это сейчас важно: не истинное значение и подлинный облик Светлейшего князя Голенищева-Кутузова-Смоленского (как и всех событий той поры), а особое бытие и его, и «войны и мира» той эпохи в романе Толстого. Гений писателя создал особый мир, параллельный действительности 1805–1812 годов. И что симптоматично: роман Толстого ещё не был закончен, но критики, будь то ветеран войны 12-го года П. Вяземский или ген. М. Драгомиров, Н. Страхов или П. Анненков и многие, многие другие обрушили на писателя вал критики, связанной не только с общей философской концепцией романа, с *«перепутыванием истории и романа /.../, окарикатуриванием истории»* (См.: П. Вяземский. «Воспоминания о 1812 годе». Вяземский П. А. «Эстетика и литературная критика» М., 1984) и прочими глобальными проблемами, но и с мельчайшими неточностями в деталях. Однако великий роман – «миф» – равноправно, как и подобает, сосуществовал с исторической правдой.

... Миф-легенда, возникающий исключительно по воле автора, не исключает миф, рожденный по решению или под воздействием государственной или религиозной власти, миф, востребованный и

«организованный» «социальным заказом» «текущего момента», как правило, катастрофического или предкатастрофического. В этом утверждении нет скрытой иронии или порицания. Разные условия диктуют противоположные принципы рождения мифа. Конечно, большие художники или посредственные ремесленники («мамы всякие нужны») воспринимают абсолютно разноприродные «сигналы» для создания мифа: внутреннюю потребность или указание «сверху». Да и обществу нужен разный миф: миф как идеологическое оружие, и миф – осмысление исторической, социальной коллизии, как правило, уже потерявшей острую актуальность. Невозможно представить, чтобы Л. Толстой задумал и начал писать «Войну и мир» по указанию, рекомендации или намеку С.С. Уварова, ушедшего из жизни за год до начала работы Толстого. И дело не только в личности писателя, но в отсутствии жизненной потребности в нем – создателе мифа – идеологического оружия. Война 1812-го года давно победоносно закончилась. Когда была потребность, появлялись афишки Ростопчина.

В годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., особенно в первые полтора-два года, потребность в злободневном патристическом *воспитательном* мифе была необходима. Мифы создавались руками писателей, публицистов либо по прямому указанию «самого верха», либо по наитию – для «самого верха». И, конечно, для победы. По решению пресловутого «верха» меняли миф или его детали (вспомним трагикомедию с перелицовкой «Молодой гвардии» А. Фадеева – романа, получившего Сталинскую премию первой степени).

Такой искусственно созданный и откорректированный миф, возможно, допустим. Как допустим спор: что «важнее – правда или миф». Миф сплачивает, миф воодушевляет; правда разобщает, но и отрезвляет. Сторонники неоспоримого приоритета мифа, а таких в нынешнем социуме России подавляющее большинство, убеждены: миф-образ, легенда становятся «материальной силой» – «страшнее и прекраснее любого факта». В мифе «воплощается вся боль и вся мечта советского (русского) человека – защитника своей семьи и своей земли... Миф воюет! И побеждает» (цитата не имеет одного точного источника, это – «собирабельная» цитата).

А кто конкретно погиб и сколько танков уничтожили – «какая, к черту, разница»!

Разница есть, ибо этот «миф-победитель» рушит невинные человеческие жизни, стирает грань между правдой и ложью, уводит от истины в дебри деградации и мракобесия. Так происходит практически всегда. Ложный, «скорректированный» и *примитивный* миф действенен в самые безысходные моменты истории. Все мифы о 28 панфиловцах, Александре Матросове и пр. были оправданы, когда наши войска не просто отступали, а в панике драпали и массово сдавались, когда самый страшный грех – уныние – овладел всеми. Тогда эти лубочные мифы-легенды работали. Афишки Ростопчина = статейки Кривицкого. Когда же психологический Рубикон перейден, мифы уже не работают. Более того, после разоблачаемых мифов возникает разочарование, новый этап уныния. Правда же работает всегда, даже тогда, когда она горька. Как лекарство. Миф может рухнуть, быть разоблаченным. Тогда всё рушится. Крах. Правда – только быть дополненной и уточненной. Она, в принципе, несокрушима.

Сиюминутно сконструированный миф, примитивная легенда действуют, пока не закралась червоточина, маленькая ложь. Тогда они начинают работать с отрицательным эффектом. Зачем нужна была ложь о том, что Александр Матросов совершил свой подвиг 23 февраля? – Ко Дню Красной армии? – В результате: оказалось, что прибыл в эту самую часть Матросов 25 февраля и свой подвиг совершил 27-го. Маленькая ложь сразу породила большие сомнения: а не упал ли он случайно, не поскользнулся ли; справедливо стали доказывать, что ДЗОТ имеет боевое отверстие в виде продолговатого «обзорного» прямоугольника, и закрыть его телом практически невозможно; скорее всего, он упал на отдушину, перекрыв возможность отвода пороховых газов, пытаясь скинуть тело, немцы замешкались, чем воспользовались товарищи Матросова. И вообще, был ли он трезв... Великий подвиг превратили в анекдот. И почему о нем пишут (и правильно пишут, он это заслужил), а о других – сотнях бойцов Красной армии, совершивших такой же подвиг, в том числе, о тридцати героях, кто сделал то же самое ДО Матросова, – о других ни слова... Ни слова о самом первом – политруке танковой роты Александре Панкратове, закрывшем грудью амбразуру 24 августа 1941 года у деревни Рябиниха под Тверью.

Как и в чем, к примеру, спланировал миф о Краснодонцах, основанный частично на лжи? Миф, в котором были оболганы невинные люди: Виктор Третьякевич, выведенный в романе Фадеева под фамилией Стахович, Зинаида Вырикова и Ольга Лядская – под своими собственными именами и фамилиями. Оказалось, что создал и возглавлял организацию в Краснодаре именно Третьякевич (первый комиссар организации), а не Кошевой, Лядская с Выриковой никакого отношения к предательству не имели. За этот миф Лядская и Вырикова прошли все круги ада в советских концлагерях.

Наум Коржавин, сидевший в Карлаге вместе с Выриковой, вспоминал, что ко всем пыткам и издевательствам «Люду (здесь ошибка Н.М. Коржавина – Зинаиду – А.Я.) Вырикову вертухаи выволакивали после демонстрации фильма «Молодая гвардия» и объявляли: «Вот она всех предала». Она стала седой в юном возрасте» (Н. Коржавин. «Узлы нашей судьбы», См.: Н. Громова. «Узлы», М., 2006, с. 625). Стоил миф этой седины? Девушек реабилитировали только спустя 47 лет. Замученного Третьякевича реабилитировали в 1959-м, а затем посмертно наградили орденом Отечественной войны 1-й степени. (Дать Героя Советского Союза не решились). До этого все они и их близкие жили с клеймом предателей и родственников предателей.

Кого сплотил этот миф?! Рухнул ли этот миф, когда ложь была заменена правдой? Нет и нет! Практически дети, без всякого партийного руководства (руководство улизнуло моментально!) оказали сопротивление врагу и с честью в муках погибли. И те, кто добился, наконец, правды, вопреки мифу, есть «законченные мрази»?!

Во имя чего сломали жизнь Михаилу Минину, первому водрузившему Знамя Победы над Рейхстагом? Сталин распорядился подвиг назначить другим. Или миф о защитниках Брестской крепости, которые, вопреки мифу, не погибли все, защищая «твердыню». Сотни спаслись, если это можно назвать спасением: попали в плен, пошли по лагерям – сначала немецким, а затем советским. Более того, по освобождении те, кто выжил, были лишены любых средств к существованию, так как они все «погибли», согласно мифу. Их не было в списке живых в самом прямом смысле этого слова. Так что, Сергей Смирнов – «законченная мразь»? Но не потому, что участвовал (хоть и пассивно) в травле Пастернака, Солженицына и Сахаро-

ва, а потому, что восстал против реабилитации Сталина и, главное, против сталинской презумпции виновности попавших в плен. Он дал жизнь тем, кто потерял всякую надежду осознать себя живым, то есть разрушил миф во имя правды. Дал жизнь в самом прямом смысле: помогал деньгами, связями, красной депутатской книжечкой – своей настойчивостью восстановил их в «ранге» живых и живущих.

Правда высветляет и формирует истину: война – страшная вещь. Кровавая, зловонная, подлая, гнойная, вшивая, безжалостная, лживая. Советский – новорусский миф, напротив, формирует – сформировал милитаристическое сознание, войну героизирующее и возвеличивающее: «*можем повторить!*». Какой ценой? – «Какая, к черту, разница!».

Подобный пропагандистский миф имеет простую незыблемую конструкцию – схему, три «составные части», три шага, безошибочно приводящие к искомому результату.

Первый шаг – отсечь и уничтожить всё, что может поколебать идеальность (позитивную или негативную) созданного образа, события. Пример: на фронт А. Матросов отбыл из трудовой колонии, в которой сидел по статье №192 УК РСФСР за нарушение подписки о невыезде: до этого он был осужден по 162-й статье УК РСФСР («Разбой»). Эти детали его голодного беспризорного детства не умаляют великого подвига, но лишают идеальность образа девственной чистоты.

Второй шаг – смешав принципиальную ложь с видимой, поверхностной правдой или правдоподобием, подменить этим правдоподобием ложную суть. Пример: миф о том, что в СССР образование было бесплатным. Действительно, в школьную или институтскую кассу денег не вносили, это – правда. Суть же: обучение в СССР было самое дорогое в цивилизованном мире. За него расплачивались, получая от 80 до 500 рублей – всё остальное – тысячи – *пожизненно* удерживалось, как взыскание кредита за образование и медицину.

Шаг третий – реальное событие препарируется либо выхолащивается, его многогранность, интерпретационное поле сводятся к однозначному, заранее запрограммированному прочтению. Любое другое толкование немислимо и уголовно наказуемо. Пример: главный миф ВОВ.

* * *

Один из наиболее известных, самых спорных и болезненных мифов ВОВ – генерал-лейтенант Андрей Власов. Почему именно Власов стал символом предательства? «Власов» – потому, что он имел, как говорили в старину, самые «густые эполеты», то есть был не только старшим по званию среди коллаборантов (генерал-лейтенантов в плену было трое), но и самым известным, удачливым (до пленения) полководцем? Поэтому тоже. «Власов» – потому, что был наиболее авторитетной фигурой сопротивления, притягивающей к себе разные, противоречивые фигуры, объединяющий их? И это тоже.

И. Кононов – один из самых результативных командиров казачьего и, вообще, русского антибольшевистского движения, командующий 15-м Кавалерийским корпусом СС, преодолев сопротивление казаков-белоэмигрантов, весной 1945 года пошел «под руку» Власова. Генерального штаба генерал-майор Б. Штейфон – глава Русского Охранного корпуса (РОК) – в январе 1945 года заявил о готовности подчинить Корпус Власову. А.В. Туркул – Георгиевский кавалер, участник «Похода дроздовцев Яссы-Дон», Командующий Дроздовской дивизией – в 1944 году после личной встречи с Власовым был определен в РОА – командующим Добровольческой бригадой в Австрии. Полный Георгиевский кавалер, один из создателей Русской Национальной Народной армии (РННА) К.Г. Кромиади – с сентября 1943 года сотрудник штаба Власов, начальник его личной канцелярии. Ветеран Белого движения Алексей фон Лампе после долгих колебаний с конца 1944 года вошел в состав КОНР. В РОА – в группу генерал-майора А. Туркула – влился добровольческий полк СС «Варяг» М.А. Семенова. Даже «Казачий Стан» – основная сила формирования Главного Управления Казачьих войск, руководимого П.Н. Красновым – самым влиятельным и непримиримым оппонентом А. Власова, – 29 апреля 1945 года перешел под командование генерала – «Спасителя Москвы».

Называю лишь некоторых видных лидеров «старой гвардии», которая с большим недоверием, если не враждебно, относилась к «красному» Власову, воевавшему с «белыми» в 1919-м на Южном фронте и позже против армии барона Врангеля в Таврии. Он стал магнитом для подавляющего большинства антисоветских воору-

женных сил – бывших граждан Империи, не говоря уж о советских военнопленных, беженцах и пр. Исключения лишь дивизия «Русланд» генерал-майора вермахта Хольмстон-Смысловского и некоторые казачьи формирования, сохранившие верность генерал-майору Краснову. Власов был мощным магнитом.

Однако, с другой стороны, РОА сыграло незначительную роль в борьбе с Советами. Воины непосредственно РОА (ударная группа полковника И.К. Сахарова) приняла первый бой лишь в феврале 1945 года. «Дебют» был успешным, но ни эта операция в районе Одера, ни последующие бои с переменным успехом на восточном берегу Папенвассера существенных перемен в ходе боевых действий не принесли и не могли принести. Крови соотечественников на руках «власовцев» было несравненно меньше, нежели на руках, скажем, РОНА, 15-ого казачьего корпуса СС или Казачьего Стана. Казачий Стан (командующий – полковник С.В. Павлов, после его гибели – сотник, Походный Атаман Т.Н. Доманов), как и другие казачьи формирования (29-я и 30-я гренадерские дивизии СС и пр.), были наиболее дееспособной «русской» силой вермахта. Наци понимали всю ненадежность русских антибольшевистских частей, доверяя исключительно кавказским и особенно казачьим корпусам, считая последних арийцами – потомками не славян, а готов. Доверяли небезосновательно.

Ярчайшим примером может служить битва за Питомачу на реке Драва (декабрь 1944 года), когда 1-я казачья дивизия 15-го корпуса, 2-я Кавказская бригада и хорватская пехотная дивизия после кровопролитного пятнадцатичасового боя нанесли сокрушительное поражение частям советской армии и «Югославской Народной Армии». Боевое мастерство, мужество и сокрушительная воля к победе этих частей восхитила даже противника, и *«командующий войсками 3-го Украинского фронта маршал Ф. И. Толбухин изъявил желание в конце мая 1945 года взглянуть на русских офицеров XV казачьего корпуса в Юденбурге после их насильственной репатриации из британской оккупационной зоны Австрии»*. (К. Александров, «Русское казачество во Второй мировой войне: трагедия на Драве». СПб., журнал «Новый часовой», 2001, № 11-12, с. 135.). Дивизион же ВС КОНР под командованием Георгия Чавчавадзе вел беспрецедентную диверсионно-партизанскую борьбу с Советами вплоть до

сентября 45-го года в горах Галиции и Словакии. Таких примеров много. От всех остальных «русских» частей ожидали того, чего и следовало ожидать: повернут оружие против своих покровителей.

Проявил ли себя Власов после пленения в селе Туховежи значительным и удачливым военачальником? Тоже нет. Скажем, И. Кононов – майор РККА, впервые отличившийся в 1930-м году кровавым подавлением крестьянских восстаний под Курском, член ВКП(б), кавалер орденов «Красной звезды» и «Железного Креста» первой и второй степени, генерал-майор КОНР (Комитета Освобождения Народов России) был одним из самых эффективных командиров, его часть отличалась высоким воинским мастерством, проявившемся в боях 1942 года с корпусом генерала П. Белова, партизанскими соединениями на Смоленщине, под Полоцком, Вязьмой и в Югославии против партизан Тито, наконец, в кровопролитных победоносных сражениях с 57-й армией 3-го Украинского фронта. Помимо этого, роль лидера Кононов вполне мог «заслужить» не только *«отличной боеготовностью»*, но и *«беспощадным отношением к местному населению»* (ген. М. фон Шенкендорф, командующий тыловыми войсками безопасности группы армий «Центр» – см.: К. Александров, «Трагедия донского казака Ивана Кононова», Посев, 2000, №№ 5-6).

В Югославии местное население ненавидело казаков Конова более немцев. Сербы называли их «черкезами», так как «русские братушки» не могут так зверски убивать, массово насиловать женщин и девочек, вырезать на спинах звезды, пытать, сжигать селения. Казаки-«черкезы» применяли тактику «выжженной земли», сея, по словам Геббельса, *«сплошной хаос и ужасную неразбериху»* (О. Романько, «За фюрера и поглавника. Вооруженные силы Независимого государства Хорватия (1941—1945), Симферополь, 2006).

Впрочем, беспощадность воинов Конова и фон Паннвица меркла в сравнении с садистической жестокостью обер-бургомистра Локотской Республики, создателя Русской Освободительной Народной Армии (РОНА), бывшего осведомителя НКВД (кличка «Ультрамарин»), бывшего члена ВКП(б) Бронислава Каминского. Пользовавшийся высоким авторитетом среди населения, он, тем не менее, «прославился» небывалыми даже для военного времени грабежами, насилиями, массовыми убийствами (бригада РОНА уничтожила более 10 тысяч советских граждан, 200 с лишним человек

были сожжены заживо, 24 деревни были полностью уничтожены и т.д., и т.п.). За особые заслуги был удостоен аудиенции у Гимmlера, из рук которого получил Железный крест первой степени, звание бригадефюрера и генерал-майора войск СС. Сводный полк РОНА штурмбанфюрера Ивана Фролова во время подавления Варшавского восстания творил немыслимые зверства по отношению к мирному населению – во время резни 5 августа 1944 года было убито свыше 15 тысяч человек. Все эти убийства, массовые изнасилования, грабежи поощрялись Каминским.

Судьба Каминского была решена лично Гитлером после доклада Гудериана о бесчинствах РОНА. Он был расстрелян «за мародерство по законам военного времени» (ликвидацию Каминского немцы «списали» на действия партизан).

Ничего подобного в рядах РОА не было, при всех кровавых издержках этой войны. Так что Кононов, Каминский, да и многие другие могли – и должны были бы стать символом предательства, символом абсолютного зла русского коллаборационизма.

Помимо всего прочего, ТОЛЬКО «власовцы», в отличие от всех других сил «русского сопротивления», не участвовали в подавлении антигитлеровских восстаний. Более того. Именно, 1-я пехотная дивизия РОА С. Буняченко открыто повернула оружие против сил вермахта: 5-го мая 1945 года неожиданным броском направилась к Праге и, вступив в кровопролитные бои с 2-й танковой дивизией СС «Дас Рейх», 5-й танковой дивизией «Викинг» и мотопехотной дивизией СС «Валленштейн», заняла стратегические пункты, в том числе аэродром Рузине, и очистила город от немецкого гарнизона, тем самым предотвратив уничтожение Праги как города, и расправу с чешским населением. *«Чешский народ никогда не забудет, что вы помогли нам в трудный час»,* – заявили руководителя партизанского движения Чехии (хотя гарантий присвоения союзнического статуса – т.е., гарантий невыдачи Советам – дивизия Буняченко от них не получила). Части же РОНА, как уже сказано, принимали участие в подавлении Варшавского восстания, полицейский батальон Казачьего Стана также отличился в этой кровавой бойне, участвуя в захвате штаба руководителя восстания генерала Т. Бур-Комаровского, 29-я ваффен-гренадерская дивизия СС РОНА громила Словацкое восстание, РОК сражался с

восставшими в Югославии. И так далее. Но именно Власов взошел на исторический эшафот как главный, кровавый коллаборационист российской истории XX века.

Почему, скажем, не Хольмстон-Смысловский? Фигура, конечно, не самая приметная, однако, Смысловский – один из очень немногих, кому удалось избежать выдачи большевикам, и кто продолжал борьбу еще долгое время, служа в разведке ФРГ (был советником Генштаба) и США. Он умер в 1988 году, то есть, его антисоветская деятельность не теряла своей актуальности много лет после окончания войны.

Наконец, – Краснов. Наиболее последовательный, непримиримый, прогнозируемый и *результативный* враг большевистского режима. Легендарный полководец Гражданской войны, традиционный германофил – ещё с дореволюционных времен. И один из самых влиятельных оппонентов Власова. Оппозиция Краснов – Власов имела несколько причин.

Первая – Петр Николаевич не хотел «делиться» имеющимися у него силами, первоначально значительно превосходящими силы РОА. Только Казачий Стан насчитывал более 18 тысяч строевых казаков; 1-я казачья кавалерийская дивизия, в составе которой воевали два Донских полка, два Кубанских, Сибирский, Терский полки почти полного состава (общая численностью 18 500 человек) вместе с Калмыцким полком, Кавказским дивизионом, Украинским батальоном СС и танковой группой насчитывали около 35 тысяч человек. Плюс разведывательно-диверсионная группа «Атаман», плюс бронетехника и авиация (в незначительном количестве) и т.д. К концу 1944 года численный строевой состав всех казачьих войск превышал 250 000 человек.

Другая причина: Краснов отстаивал идею полной социальной самостоятельности казаков. На это работали преференции, данные казачеству (и кавказским народам) Гитлером в апреле 1942 года («казаки и кавказцы – наши равноправные союзники»), и правительством Рейха 10 ноября 1943 года, в которых казаки объявлялись союзниками, им гарантировалось сохранение их прав, привилегий и неприкосновенность земель. Размывать свой особый статус Краснов категорически не желал, Власов же, культивировавший принцип единоначалия, требовал полного подчинения казачьих формирова-

ний, тем самым, пусть и невольно, уравнивая казаков с остальными участниками движения.

Третья и основная причина: Краснов преклонялся перед фюрером. Для него Гитлер был *«идеальным человеком, подобного которому ещё не было в истории человечества»*, который «никогда не ошибается». а идеологию национал-социализма считал образцом для казачества. *«Нам не стыдно, а гордо идти в победоносную германскую гитлеровскую, национал-социалистическую армию»*. (См.: А. Мартынов. По обе стороны правды. Власовское движение и отечественная коллаборация. Краснов и Власов. М., «Вече», 2014). Для Власова Гитлер – вынужденный и временный союзник (не очень желательный, но выбора не было). Власов предвидел ослабление Рейха, уход национал-социализма, при этом русский коллаборационизм становился бы равноправным союзником Германии и западного мира. Краснов делал ставку на сильного Гитлера. Для Власова это было неприемлемо. Поэтому, к примеру, Власов воздержался от проявления верноподданнических чувств после покушения на фюрера 20 июня 1944 года, ограничившись официальным сообщением, тогда как Краснов издал приказ № 5 от 22. 06. 44 г., в котором говорилось, *«что Господь спас нашего Вождя»*, что *«казачьи войска /.../ с глубоким негодованием и возмущением узнали о гнусном и подлом покушении /.../ Живите долгие годы, наш Вождь Адольф Гитлер»* (А. Мартынов, там же).

Казалось бы, такая безоговорочная ориентация Краснова исключительно на фюрера и национал-социализм, как и кровавая вакханалия, творимая многими подразделениями его войск, и самое деятельное участие в «окончательном решении еврейского вопроса» должны были сделать его идеальной мишенью в пропагандистской войне с фашизмом. Ан, нет! Такой мишенью стал Власов.

Почему? Потому, что «харизматическая», как говорят ныне, личность, полководец, снискавший заслуженный авторитет в войсках? Да! Переход именно Власова на сторону врага был ощутимой и потерей, и ударом. Потому что, в отличие от Краснова или Шкуро – *ожидаемых* врагов – он был *неожиданным*? Бесспорно! «Удар в спину» не прощают. Однако, были другие, более мощные причины и стимулы люто ненавидеть и Власова, и всех его соратников: от генералов до безвестных рядовых – «власовцев».

«Власовский миф», казалось бы, уже реальной действенной силой в борьбе с фашизмом не являлся. Война победоносно заканчивалась к моменту вступления РОА в боевые действия. Да и в принципе роль власовцев была микроскопической, и руководство Рейха на эти силы не рассчитывало и не доверяло им. Пропагандистскую роль в борьбе с предательством как таковым «Власов-миф» сыграл. А зашкаливающая ненависть, то озверение, с которыми этот миф вбивался – и вбил, вжил и всё более въедается в сознание, в менталитет советско-русской культуры, – были никак не соизмеримы с этой уже отыгранной ролью, со значением «краткосрочного» утилитарного мифа.

... Памятников воинам русского антисоветского движения 41-45 годов множество. Был в Москве: «*Воинам русского общевойскового союза, русского корпуса, казачьего стана, казакам, павшим за веру и отечество*». Вандалами разрушен в 2007 году, осталась лишь плита «*Казакам, павшим за Веру, Царя и Отечество*»; есть в Линце – Австрия, под Нью-Йорком – в Новодивеевском русском женском монастыре, в Патлинге – под Мюнхеном, в Нью-Джерси, в области Фриули – Италия, в станице Еланская, в Калифорнии и пр. Среди них наиболее известен памятник – Крест «Воинам РОА» на Ольшанском кладбище под Прагой: генералам Баерскому, Шаповалову и 187 неизвестным бойцам РОА. Эти бойцы – власовцы – освободители Праги, оставшиеся в госпиталях Праги после ухода частей Буняченко, были расстреляны прямо в больничных койках; советские солдаты добивали раненых без всякого суда, походя. Обычная практика военных лет: пленных власовцев не доводили до трибунала или узилища – расстреливали.

Так не поступали даже с немцами, творившими чудеса жестокости, или с полициями, «хиви» (Hilfswilliger – «добровольные помощники Вермахта»). Особо подчеркну общеизвестный факт: всю «черную» работу – расстрелы, казни, пытки, «решение еврейского вопроса» немцы, обычно не желавшие «марать свои арийские руки», поручали «местным» – славным представителям «советского народа» – русским, украинским, белорусским, прибалтийским, многим другим, которые ДОБРОВОЛЬНО и в МАССОВОМ порядке действовали с ужасающей беспощадностью и с не менее ужасающим

удовольствием. И что: их пытали, вешали? Нет, некоторых «просто» расстреливали, вся остальная сволочь шла в лагеря, где многие становились привилегированными «социально близкими» ЗеКа – «ссу-ченными», сотрудничавшими с лагерной охраной. Их не пытали до смерти и не вешали на фортепианных струнах или на крюк за основание черепа...

Парадокс в том, что РОА вступила в войну в феврале 1945 года, объявив, кстати, о нейтралитете с США и Англией, столкновения с советскими войсками были эпизодическими, никак не сопоставимыми по кровавости не только с войсками Вермахта, но и с казачьими формированиями. При всем этом, Шкуро, Краснова, Доманова и др. после выдачи «союзниками» не пытали с невероятной жестокостью, их не казнили с непостижимым для XX века садизмом, их «только» повесили. Со своими соотечественниками власовцы сражались весьма неохотно, так что оправдания зверствам советских воинов запалом кровавых схваток, видом на родной земле сожжённых власовцами деревень, повешенных ими соотечественников быть не могло. К «Окончательному решению» РОА отношения вообще не имела: этот «вопрос», увы, к 45-му году был уже решен, да и театр военных действий давно переместился за пределы СССР и места проживания евреев.

Это озверение солдат советской армии, превосходящее зверства нацистов, было вызвано, обусловлено и подогревалось целеустремленной и неистовой пропагандой идеологической машины, инспирированной самим Сталиным. Мы не встретим идеологической обработки населения и армии с таким накалом ненависти в отношении «фрицев» или разных коллаборационистских формирований. Только власовцев!

В этом, казалось бы, было нечто иррациональное, мистическое и непостижимое. Так же, как была загадочна судьба Власова с ее непредсказуемыми поворотами.

В своем знаменитом открытом письме Власов справедливо отмечал: *«Меня ничем не обидела советская власть»*. Ничем! Он был возносим и обласкан. Да и «претензий» или, тем более, ненависти к режиму и Сталину не было. О какой ненависти к Сталину может идти речь, если в двух письмах (одном – к жене, другом – к любов-

нище) он с восхищением писал о Вожде (время разгрома немцев под Москвой), о своих беседах с ним, о его гениальности, чуткости и пр.

Собственно, весь его жизненный путь до Туховежи – это путь исправного, талантливого, абсолютно лояльного офицера. Тринадцатый ребенок в семье. До 17-го года – ученик Нижегородской духовной семинарии, призванный в РККА в 1919 году и добровольно (это подчеркнем!) связавший с ней всю сознательную жизнь. Никогда над ним не нависала тень репрессий. Даже после возвращения из Китая, куда он был направлен в качестве советника Чан Кай-Ши. Награды китайского вождя отобрали, но этим ограничились. Возвращавшихся из Китая репрессировали не так кучно, как героев Испанской войны, но угроза была весомой. Власова не тронули. Возможно, Сталин доверял в большей степени (или, точнее, благоволил, не доверяя никому) выходцам из низов, тем более, недоучившемуся семинаристу. Генерала Ефремова, фактически обреченного по наговору замученного Дыбенко, спас его ответ. Сталин по настоянию Микояна, старинного друга и соратника Ефремова, и с подачи Ворошилова, лично вмешался в судьбу генерала и устроил ему в Кремле допрос в виде беседы в присутствии «защитников». На вопрос вождя, «верна ли версия следователей, что вы, Ефремов, могли предать советскую власть?» – Ефремов ответил: «Как же я могу предать власть, которая меня, сына батрака, поставила на ноги, выучила, воспитала и доверила высокий пост командующего военным округом?!» Сталину ответ понравился. Это – не интеллигент Тухачевский.

Однако дело не только в симпатии Щербатого к Власову (дорого обошлась впоследствии эта симпатия генералу). Весь послушный список – свидетельство его благонадежности и преданности режиму. В том числе, в 1937–1938 годах, когда Власов был членом трибуналов Ленинградского и Киевского военных округов, – трибуналов, как говорили, не вынесших ни одного оправдательного приговора. До того, как возглавить и прославить 99-ю стрелковую дивизию, Власов был направлен туда в качестве инспектора. По результатам проверки он подал рапорт, в котором, помимо всего прочего, указал, что командование дивизии «усиленно изучает тактику боевых действий вермахта». Командира дивизии арестовали. Типичный советский офицер. *«Никаких колебаний не имел. Всегда стоял твёрдо*

на генеральной линии партии и за неё всегда боролся», – из автобиографии, апрель 1940 г.

Власов впервые отличился, стал значимой фигурой в масштабах страны в 1940-м году, сделав вверенную ему 99-ю стрелковую дивизию «лучшей в Красной армии» (маршал Тимошенко по результатам Всесоюзного Армейского смотра). Войну встретил подо Львовом, где уникально удачные для тех страшных первых дней бои во главе 4-го механизированного корпуса положили начало его полководческой славе. Затем – Киевская эпопея: оборона столицы Украины держалась фактически на 37-й армии Власова, и, когда город надо было отдавать (других вариантов не было и быть не могло), он его отдал, невероятным образом сумев выскользнуть из клещей Гудериана и фон Клейста. Во время повального панического бегства, массовых пленений, он практически без потерь вывел из Киевского котла, где сгнуло более 600 тысяч человек, свою 37-ю армию и многих других – приставших, показав, тем самым, врагу, что всё ещё впереди... Наконец, Московское чудо.

В ноябре Сталин, благоволивший к Власову (один недоучившийся семинарист привечал другого, прощая последнему высокий рост: маленькие диктаторы с подозрением относятся к людям выше себя и, тем более, в очках), вызвал его и приказал сформировать и возглавить 20-ю армию. Эта армия под Власовым остановила досель непобедимую 4-ю танковую армию генерал-полковника Гёпнера и совершила в начале декабря тот дерзновенный, на грани авантюры бросок на Волоколамск и Солнечногорск, который и положил начало разгрому немцев под Москвой. «Спасителем Москвы» назвал его Верховный. К этому моменту Власов – генерал-лейтенант, орденоносец: орден Боевого Красного Знамени, орден Ленина (до войны чрезвычайно редкая и почетная награда, награжден этим орденом по настоянию Сталина). По заказу Главпура о нем пишется книга «Сталинский полководец». Поверив в его умение совершать чудеса, Верховный по совету Жукова послал Власова спасать 2-ю ударную армию и в целом – Волховский фронт, назначив его зам. Командующего фронтом К. Мерецкова. Здесь чуда произойти не могло: «Он получил войска, практически уже неспособные сражаться, получил армию, которую надо было спасать» (В. Бешанов. Ленинградская оборона. М.: АСТ, 2005, с.276).

До сего момента судьба Власова успешно развивается по хорошему накатанному маршруту, согласно советским лекалам. Далее – развилка.

Начинают работать законы советского мифотворчества. Всё, что было сделано Власовым до «развилки», уничтожается и забывается. Первый необходимый шаг в создании мифа делается незамедлительно, автоматически. «Сталинский полководец» идет под нож. Газеты «Правда» и «Известия» и вся местная пресса, где были напечатаны сообщения Совинформбюро об особо отличившихся командирах в битве под Москвой с фамилией «спасителя Москвы» изымаются, первые страницы этих номеров заменяются на другие. Первый Оскароносный советский фильм «Разгром немецких войск под Москвой» в советском прокате выходит с вырезанным изображением Власова (в американском варианте оно сохранено). Никаких подвигов, никаких заслуг не было. Власов – предатель, как черт из табакерки, появился из небытия.

Итак, Власов под Ленинградом. Сталин, понимая масштаб катастрофы 2-й армии, присылает за ним самолет. К 42-му году, стреляя лучших командиров РККА, Верховный начинает проявлять заботу об оставшихся в живых – до окончания войны, потом кровавая вакханалия возобновится. Власов – не единственный, за кем присылается личный самолет. Однако командарм отказывается покидать своих солдат. О причинах – позже. Однако, если бы вышел из окружения, улетел? Остался бы верным сталинским командармом, комфронта, маршалом? По своим способностям и успехам вполне мог стать заместителем Главнокомандующего, вровень с Жуковым, а то и выше. Ведь назначали его зам. командующего войсками Волховского фронта с прицелом на командующего. Генерал армии, впоследствии маршал СССР Мерецков – великолепный стратег и тактик, прекрасно подготовленный в военно-теоретическом и практическом отношении, не отличался, однако, решительностью, инициативностью, агрессивностью и даже авантюризмом, что было порой необходимо для победоносных действий и что было в полной мере присуще Власову. И это вполне объяснимо. Арестованный на второй день войны, Мерецков попал в руки Шварцмана, Родоса, Влодзимирского – наиболее звероподобных пытарей-сади-

стов Лубянки. После многократных избиений резиновым жгутом по пяткам, крученой веревкой с кольцом на конце (излюбленные методы работы Родоса), пыток голодом, бессонницей, многосуточным «конвейером», после мочеиспускания на лицо (сталинские следопыты пытались попасть в рот кричащему от боли генералу армии), – после всего этого удивляться пассивности и осторожности военачальника не приходилось.

...Поражаешься, как замученные, опущенные, уничтоженные физически и морально люди после этого ада могли служить человеконенавистнической системе, идеологии – Мерецков, Рокоссовский, Горбатов, другие. Иль правы были паханы и смотрящие режима: с такими людьми можно делать всё, что хочешь, им хоть ссы в глаза – в прямом смысле – всё божья роса. Ради спасения шкуры и новых цацек, ради ухмылки Вождя можно стерпеть любое унижение. Правы. Были редкие исключения. Власов – одно из немногих.

...Если бы судьба вывернулась из колеи чуть позже. В деревеньке Туховежи. Явно не желая попасть в плен к немцам, он выдал себя за учителя. Не предусмотрев, что его слава сыграет с ним в подлянку. Староста узнал или заподозрил. И бдительно сообщил. Однако, не узнай его по опубликованным фотографиям немецкий патруль, вызванный полицией, – жил бы Власов и, не исключено, со временем продолжил бы карьеру советского полковника. «Маска» учителя, возможно, была нужна советскому генералу, чтобы уцелеть в данный момент. Но его опознали, и он сделал то, что сделал.

Что это было: желание спасти свою жизнь? Бесспорно, но для этого отнюдь не обязательно было идти на службу к немцу и, тем более, занимать там доминирующую позицию. Конечно, Власов не мог знать в 1942 году о судьбе, скажем, генерала Михаила Федоровича Лукина, который пробыл в плену практически с начала войны, а после освобождения был восстановлен в рядах советской армии и затем спокойно доживал свой век на пенсии. Он не мог знать, что примерно из 80 высших офицеров и генералов, попавших в плен, было расстреляно или умерло около четверти. Около 40 человек из выживших после войны репрессированы не были. 22 плененных генерала, как Лукин, были восстановлены в званиях, им вернули награды. 13 человек были арестованы и расстреляны в 1950 году (вместе с победителями: маршалом авиации С. Худяковым, Героем

Советского Союза, бывшим командующим Сталинградским фронтом генерал-полковником В. Гордовым, генералами Ф. Рыбалченко, Н. Кирилловым и 18-ю другими генералами). Этого Власов знать тогда не мог. Но увидел, что в лагере под Винницей, лагере привилегированном, для высших офицеров, условия содержания довольно сносные; в отличие от лагерей для солдат и младших офицеров, там не били (без причин, да и при наличии причин переводили в другие – штрафные лагеря, как, к примеру, генерала Новикова, организовавшего в лагере Хаммельбург группу Сопротивления), не морили голодом, не обливали водой на морозе. То есть, он мог убедиться, что можно выжить, не компрометируя себя. Как выжил, скажем, генерал И.Н. Музыченко. Тяжело раненного в ногу генерал-лейтенанта взяли в плен под Уманью в августе 1941 года. По выздоровлению он был направлен в лагерь для начсостава в Хаммельбург, где неоднократно был понуждаем к сотрудничеству. После категорических отказов участвовать хотя бы в пропагандистской компании был переведен в лагерь «усиленного режима» в Вайсенбурге. Но и там он выжил. Был освобожден американцами. После дотошной проверки в НКВД был восстановлен в звании и в кадровом составе СА.

Такой путь мог пройти и Власов. Он избрал другой путь.

Власов понял свою обреченность ещё в Кремле, когда получил назначение спасать 2-ю армию. Однако конкретно безвыходность ситуации стала ясна на месте. Любанская наступательная операция по деблокированию Ленинграда началась в январе 1942 г. 2-я армия под командованием генерал-лейтенанта Н.К. Клыкова прорвала оборону немцев у печально знаменитого Мясного Бора и глубоко врезалась в расположение противника по направлению к Любани. Ставшие, увы, стабильными причины: оторванность от тыла и отсутствие снабжения, постоянное перерезывание коммуникаций, угроза полного окружения, а также пассивность командования (Клыков был тяжело болен) – всё это поставило армию на грань катастрофы.

В конце апреля Власов заступил на место командующего армией, оставаясь замкомфронта, получив задание вывести армию из окружения – под Киевом же удалось! – на соединение с войсками 52-й и 59-й армий. В течение мая-июня армия предпринимает отчаянные попытки вырваться из котла, теряя значительное количество

живой силы и техники, однако обещанной и ожидаемой помощи – встречных ударов этих армий – не получает («*Действий войск 59-й армии не слышим, нет дальнего действия арт. огня*». Власов – Хозину 4 июня 1942 г.). (Н. Коняев. Два лица генерала Власова. Жизнь, судьба, легенды. М., Вече, 2003, с. 92). Генерал-лейтенант Хозин – выдвигенец Жукова, вместе с ним прибывший спасать Ленинград, – был отстранен от должности командующего Волховской оперативной группой войск *«за невыполнение приказа Ставки о своевременном и быстром отводе войск /.../, за отрыв от войск, в результате чего противник перерезал коммуникации 2-й ударной армии, и последняя была поставлена в исключительно тяжелое положение»*. (Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК. Документы и материалы. М., ТЕРРА, 1996-1999, т. 2). Этот приказ Ставки был не в состоянии изменить ситуацию. Армия уже не могла сражаться, не могла существовать. *«Последние дни продовольствия совершенно не было. Доедаем последних лошадей. Люди до крайности истощены. Наблюдается групповая смертность от голода. Боеприпасов нет»*. – Власов, Зуев /дивизионный комиссар/ – Военному Совету фронта. (К. Александров. Предатель или порядочный солдат? Новые факты о генерале А. А. Власове. Электронная версия газеты «История». 2005, т. 32, № 3). Командарм предложил вариант выхода подразделений отдельными небольшими группами. Сталин этот план отверг...

Ситуация рутинная в русской истории. ...В последние часы-минуты пребывания в статусе и ощущении себя *советским* военачальником Власов вспоминал А.В. Самсонова, командующего 2-й армией (тоже 2-й!) во время Восточно-Прусской операции Первой Мировой. Оба прошли блестящий путь до роковых событий. Самсонов прославился сражением 17 мая 1904 года под Юдзятунем – самым успешным в той бесславной войне, а также победами при Вафангоу, в Ляолянской баталии. Так же, как А. Власова, А. Самсонова с его 2-й армией фактически обрекли на окружение и бесславный конец, а командующих – на гибель (погибли они по-разному, но причина и повод были идентичными). Крах их военной (но не личной) судьбы определили их собственные ошибки и просчеты, но огромная, львиная доля вины лежала на их командовании, в том числе, на самом высоком.

Причину гибели 2-й армии Самсонова точно определил Вели-

кий князь Александр Михайлович: «То, что мировая общественность назвала “победой Жоффра на Марне”, на самом деле было жертвой 150-тысячной русской армии генерала Самсонова, сознательно брошенной в расставленную Людендорфом ловушку» (Великий князь Александр Михайлович «Мои воспоминания»). Франция взмолилась устами своего посла в России М. Палеолога: «Я умоляю Ваше величество приказать Вашим войскам немедленное наступление, иначе французская армия рискует быть раздавленной». (Мемуары М. Палеолога, с. 55. См.: Н. Головин, Военные усилия России в Мировой войне, М., 2001, с. 299). Получив приказ начать прорыв в Восточную Пруссию, генерал осознал с предельной ясностью, что обречен. «Самсонов вышел от Главнокомандующего фронтом, получивши директиву о скоропалительном наступлении. /.../ Он ясно осознавал, что вместе со своей армией предназначен на роль жертвы. /.../ Преодолев мрачные предчувствия и тяжкое сознание возможной гибели, он поднялся, перекрестился и пошел на свою Голгофу» (См.: Вел. Кн. Александр Михайлович. Книга воспоминаний. «Иллюстрированная Россия», 1933 (Прил.). т.2).

Судьбу Самсонова Власов знал. Судьбу генерала Ефремова знать не мог, но, думается, Ефремов в свои последние минуты не мог не вспомнить своего предшественника. Фактически, Ефремова предали, как Самсонова, Власова, многих...

33-я армия генерала Ефремова после изнурительных боев, освободившая Наро-Фоминск и крайне нуждавшаяся в пополнении личным составом и техникой, с минимумом боеприпасов, получила неожиданный приказ Г. Жукова наступать на Вязьму. Войска вермахта нанесли сильные контрудары, три армии (33-я, 29-я и 39-я) были вынуждены перейти к обороне. Далее, оказавшись в окружении, обескровленная армия Ефремова пыталась пробиться на соединение с 43-й 50-й армиями, однако 50-я армия, до которой уже оставалось менее 2 километров, мощным ударом немцев была отброшена. Ефремов с остатками армии в глубоком тылу немцев «был брошен на произвол судьбы» (В. Сафир, «Примечания» к «Первая мировая и Великая Отечественная война. Суровая правда войны». М., 2005, «Стратегические решения и Вооруженные Силы», М., Арбизо», 1995. с. 908.). Всё дальнейшее было предсказуемо, гибель армии была предпринята. На это были объективные причины, однако ре-

шающую роль сыграли ошибки Командующего Западным фронтом. Свидетели и исследователи катастрофы утверждали, что Г.К. Жуков действовал безграмотно, распыляя силы и запретив армии идти на прорыв с войсками ген. Белова. Полковник В. Сафир – командир танковой группы 33-й армии – утверждал, что «... *командующий Западным фронтом /.../ направлял одно указание за другим, но указания эти никакими дополнительными силами и средствами не подкреплялись...*» (В. Сафир, цит. изд.; Ф. Свердлов. «Трагедия 33-й армии. Ошибки Г. К. Жукова». М., Монолит, 2002).

Последний «удар» Жуков нанес 2 февраля, приказав убрать 9-ю гвардейскую стрелковую дивизию генерал-майора А. П. Белобородова с основной магистрали, по которой снабжалась 33-я армия. В результате армия была рассечена. (В. Сафир, цит. изд.). Ко всему прочему Г. Жуков по каким-то причинам относился к Ефремову предвзято. Тому свидетельство – характеристика генералу, крайне редкая по своему негативу: «*Оперативный кругозор крайне ограничен /.../ Приказы выполняются не в срок и не точно. /.../ Должности командующего армией не вполне соответствует*». (А. Исаев. «Есть возможность отличиться...». «Георгий Жуков. Последний довод короля». М., Эксмо, 2006, с. 299). Это не помешало Жукову значительно позже в знаменитых «Воспоминаниях и размышлениях» называть Ефремова «*талантливым и храбрейшим военачальником, настоящим героем*».

В конце концов, столкнувшись с категорическим отказом Жукова разрешить прорываться кратчайшим путем, а не гибельным, предложенным маршалом, Ефремов через голову Жукова обратился к Сталину. Верховный отверг сопротивление Комфронта и приказал согласиться с «опытным командиром» – Ефремовым и организовать встречный удар. Жуков был вынужден подчиниться. 43-я армия осуществила удар. Но было уже поздно. 33-я армия уже не существовала. Сталин присылает за Ефремовым самолет. Сценарий одинаков. Финал разный.

Сталин присылает и за Власовым самолет. Власов лететь в тыл отказывается. Второй шаг в создании мифа сделан. Ситуационная правда используется для создания заведомой принципиальной лжи, которая впитывается мгновенно и, видимо, навсегда. Главпур объяснил: Власов дождался немцев. Вероятно, ТАМ это было един-

ственное возможное, ИМ понятное объяснение. Предположить, что могут быть другие причины ТАМ не могли, да и не хотели. Другие причины размывали воплощенный в фигуре Власова идеальный образ абсолютного зла.

Однако истинная причина лежит на поверхности. Понятие солдатской этики, чувство долга и следование старым традициям русского воинства. Он сделал то, что сделали многие и должны были делать военачальники: остаться с вверенными войсками. До последнего. И Власову, и Ефремову, и Самсонову, коль скоро мы их вспомнили, предлагали – приказывали покинуть вверенные войска. Все они отказались. Генерал Самсонов не просто не покинул войска, он совершил крупную ошибку: прибыл на передовую в штаб 15-го корпуса, чтобы сражаться, прорываться навстречу Ренненкампуфту вместе с солдатами корпуса. Тем самым он потерял связь с остальными частями армии и командованием. Как сообщал впоследствии Великому князю генерал Жилинский, *«если поведение и распоряжения генерала Самсонова как полководца заслуживают сурового осуждения, то поведение его как воина было достойное; он лично под огнем руководил боем и, не желая пережить поражение, покончил жизнь самоубийством»*.

Ефремов отказался покидать своих солдат. На присланный за ним самолет погрузили раненых и знамена армии. Понимая катастрофичность положения, Ефремов вызвал свою жену – санитарструктора его 33-й армии – Елизавету Васильевну, попрощался с ней и застрелил ее, а затем себя. *«Я сюда с солдатами пришел, с солдатами и уйду»*. Самсонов также не оставил своих солдат, ушел вместе с ними. *«Император верил мне. Как же я смогу посмотреть ему в лицо после такого несчастья?»* (А.Уткин. «Первая Мировая война», М., Алгоритм, 2001. Гл. Поражение русской армии.) Власов идет к немцам. Отдавать жизнь за Сталина он не считал нужным. Однако это не отменяет главного: немцев он не ждал.

В самом кошмарном беспросветном 1941 году, выходя из-под Киева со своей армией, он за несколько месяцев проделал тяжелейший путь в несколько сот километров и все же вышел уже поздней осенью из окружения, проявив незаурядную волю «выйти к своим». При желании мог спокойно сдаться в плен. Для борьбы с «ненавистным режимом» или просто, чтобы жить. В Киевском котле попа-

ли в плен многие военачальники. Власов – нет. То, что ждало его в немецких лагерях, даже если бы он не согласился сотрудничать с нацистами, было «Артеком» по сравнению с тем, что могло быть – и было! – в сталинских застенках. Кого он ждал? Знал, что грядет: *«Конец у меня будет страшный»*, – не раз говорил он в 45-м. Знал, но отверг предложение Франко, который прислал в апреле 1945 года за Власовым самолет, предоставляя политическое убежище. Власов отказался: *«Командир своих солдат не оставляет»*.

Отказался он и от настоятельных предложений коменданта американской оккупационной зоны капитана Р. Донахью вывести его вглубь американской оккупационной зоны, снабдив документами, продовольственными карточками и пр. Ответ тот же. *«Русский офицер своих солдат не покидает в беде»*. Собственно, и захватили генерала, когда он направлялся в штаб 3-й армии США в Пльзень, чтобы добиваться политического убежища для солдат и офицеров РОА.

До сих пор, до Винницкого лагеря – всё понятно, и пропагандистская кампания, пусть и весьма тенденциозно, с коррекцией – «первые две составные части» создания мифа, – формально соответствовала происшедшим событиям. Советский генерал перешел на сторону врага. Далее – череда вопросов, и – конец Власова. Конец, который должен был перечеркнуть все пропагандистские усилия, заставить принципиально пересмотреть суть коллизии. Не менять знаки: «минус» на «плюс», идеальный образ злодея на столь же идеальный образ мученика или героя, но побудить заново осмыслить причины и суть этой трагедии.

Что же случилось, что *могло* случиться за тот кратчайший срок между тем днем, когда староста, накормив беглецов, уложил их отдыхать на сеновале и вызвал полицию, до принятия Власовым судьбоносного решения? Как могла измениться психология сорокалетнего генерал-лейтенанта, человека с уже сложившимися взглядами и принципами, с, казалось бы, устоявшейся идеологией советского командарма, члена ВКП(б) с 1930-го года, «сталинского полководца», ничем властью не обиженного, но, наоборот, возносимого, вдруг в одночасье ставшего лидером антибольшевистского движения? Психология же изменилась в корне: привычную, апробированную «причину» – «спасал свою шкуру» опрокинул

навзничь конец Власова, не только выбранный добровольно, но вопреки тем нечеловеческим пыткам, которым он и его соратники подверглись.

Причин могло быть несколько. Одна из них – Штрик-Штрикфельд, который сыграл большую роль в повороте «все кругом разом». Вильфрид Карлович был интересным человеком. Этнический немец, родился в Риге, закончил Реформатскую гимназию в Петербурге, воевал в Первую мировую в русской армии. В годы Гражданской войны – офицер Белой армии, после победы большевиков активно работал в Нансеновском комитете по оказанию помощи голодающим в России. В 1939 году репатриировался из Риги на историческую родину. Во Вторую мировую он – капитан вермахта. Личность яркая, эрудированная. Убежденный и аргументированно фундированный антикоммунист. Вот он и стал тем человеком, с кем проводил свои первые дни-недели в плену Власов. Сначала Штрик-Штрикфельд беседовал с пленным генералом «по долгу службы», но затем привязался к Власову, став его другом и соратником до последних свободных дней генерала. Всё, что говорил выпускник петербургской гимназии, было, по-видимому, убедительно и бесспорно. Во всяком случае, основные идеи Штрик-Штрикфельда Власов переварил и усвоил настолько органично и глубоко, что искренне стал считать их своими. Видимо, почва для усвоения была подготовлена (когда?!), да и убеждения его наставника были неоспоримы. В любом случае, это был внутренний катаклизм, трагедия, не имеющие ничего общего со стремлением выжить любой ценой.

В упоминавшемся письме Власов справедливо отмечал: «Меня ничем не обидела советская власть». Причем это не был конъюнктурный шаг, хотя не без этого, особенно в начале «карьеры» Главнокомандующего РОА. В 45-м было уже не до карьеры. Стоял вопрос не о жизни и смерти (смерть была неминуема), а о смерти относительно легкой или страшной, жуткой. И Власов знал, что его ждет. Чтобы избежать самого страшного, надо было только обещать признать свою вину и ничего не говорить против Сталина. Иначе их – Власова, Трухина и других запытают до смерти. Власов на это не пошел. Говорят, он отвечал: *«Я знаю. И мне страшно. Но ещё страшнее оклеветать себя»*.

Генерал Петр Григоренко вспоминал, как встретил в 1959 году знакомого офицера, который был «подсажен» к одному из обвиняемых власовцев. Дело было в том, что поначалу предполагалось провести публичный показательный процесс в Доме Союзов по типу процессов 37-го года. На нем подсудимые должны были покаяться, признать правоту вождя и т. д. Никого не выдавать, никаких тайн не раскрывать. Выдавать и раскрывать уже было нечего. Только молчать. Однако главные руководителя РОА отказались. Отказались признавать себя виновными и, главное, воздержаться от обличений Сталина. Их пытали. Власова и других поставили на «конвейер», то есть непрерывный круглосуточный допрос сменяющимися следователями. Выдержать это было невозможно. Виктор Иванович Мальцев перерезал себе горло, но был спасен, доставленный в Бутырскую тюремную больницу. Подлечив, его опять поставили на «конвейер». Власов продержался 10 суток. Потом решили посадить к каждому из них их приятелей по прежней жизни. Эти приятели уговаривали обреченных, обещая если не жизнь (и жизнь тоже), то легкую смерть. Кто-то сомневался, но большинство отказалось. Трухин и Власов отвечали свои «подсадным» примерно одинаково. *«Изменником не был и признаваться в измене не буду. Сталина ненавижу. Считаю его тираном и скажу об этом на суде. /.../ И муки наши не пропадут даром»* (См.: П. Григоренко). В конце концов, суд было решено провести в *«закрытом судебном заседании /.../ без участия сторон»*. С ходатайством о закрытом режиме процесса обратились к И.В. Сталину В.С. Абакумов и В.В. Ульрих. Показательна и поразительна их аргументация. Они выразили опасение, что на открытом процессе *«антисоветские взгляды»* обвиняемых *«объективно могут совпадать с настроениями определённой части населения, недовольной советской властью»*. (К.М. Александров. «Генерал Власов. Финал трагедии» Новое время, № 31, с. 34-39). Свое дело и свой народ Абакумов с Ульрихом знали.

Казнили 12 руководителей РОА и КОНР. Сталин добивался, чтобы число казненных было именно 12 – не меньше и не больше, поэтому долго ждали, когда американцы выдадут Г.Н. Жиленкова, – семинария оставила свой след в сознании советского руководителя. Казнили с невиданной для XX века жестокостью, как и «судили» с невероятной для XX века «точностью» следования нормам судопро-

изводства: приговор и все детали процесса и казни были приняты – единогласно – на Политбюро ЦК ВКП(б) 23 июля 1946 г.; судебный процесс, состоявшийся 30–31 июля, лишь выполнил все указания «сверху». Собеседник П.Г. Григоренко так и сказал: *«их долго пытали и полумёртвых повесили. Как повесили, то я даже тебе об этом не скажу...»*. Перед казнью разрешили посмотреть на солнечное августовское небо и дали покурить. Ходили упорные слухи – вполне правдоподобные, что вешали их на фортепианной струнной проволоке или за крюк, поддетый под основанием черепа (См.: П. Григоренко. «В подполье можно встретить только крыс». Нью-Йорк, Детинец, 1981 /переиздание: М., Звенья, 1997/).

Власов, повторяю, знал – догадывался, что его ждет. Однако своего отношения к режиму и вождю не изменил. «Не хочу оклеветать себя». То есть отказаться от антибольшевистских, антисталинских убеждений.

И за них – эти идеи – пошел на муки и на эшафот.

В этом молниеносном кардинальном изменении убеждений и смысла существования есть кажущаяся случайность. Эта случайность смущает или отталкивает. Точнее, смущает и отталкивает молниеносная смена «курса» *после пленения*, когда *ситуационная необходимость* становится кажущейся причиной и стимулом для поступка. Это – не так: застенки и казнь это доказали. Но несомненно: против режима надо было идти свободным человеком, а не пленником. Идти на Голгофу ради идеи, ради чувства собственного достоинства, ради здравого смысла, а не из-за страха – пусть фиктивного, лишь кажущегося со стороны. Идеологически, стратегически Штрик-Штрикфельд и Власов были правы: борьба с большевизмом и, конкретно, сталинским режимом была делом правым. Тактически они просчитались. Время для «поворота все кругом разом» было выбрано непростительно неудачно. Менять позицию, находясь в плену, было категорически нельзя.

За Власовым бы пошли! Вот одна, не единственная, но главная причина лютой казни и злобности мифа. Трижды прав Г.Владимов в своем замечательном, Букероносном романе «Генерал и его армия». На смену злобным недомеркам пришел бы высокий русак, из своих – тринадцатый ребенок в семье нижегородского крестьянина,

командарм, овеянный легендами. Не мясник, как Жуков, Еременко и другие. Именно Власов запрещал издевательства над солдатами и в рядах РККА, и в РОА. Именно Власов, в отличие от многих, оставался, как и подобает русскому офицеру, со своими солдатами в самые критические минуты, имея возможность спастись. И в 1942-м, и в 1945-м. Это армия ценила. Главное же, он пошел бы не с фрицем – врагом, что бы там ни было, не с захватчиком, а как самостоятельная сила, противостоящая большевизму и нацизму – этим человеконенавистническим системам. Нельзя было солидаризироваться с немцем, это означало, что и мы такие же. Один был путь – путь Степана Бандеры (без радикального национализма и терроризма последнего) – за самостийную Украину, против одних захватчиков, равно как и против других. За Власовым пошли бы во имя свободной России, пошли бы разрозненные, но уже обретшие самостоятельность части казачьих и грузинских, калмыцких и татарских, украинских и белорусских, северокавказских и русских военных соединений. И это была бы не армия из военнопленных, не кучка «иуд», спасавших «свои шкуры» за «тридцать сребреников», а массовое и мощное движение; это были бы не малозначащие и запоздалые вспомогательные действия в поддержку терпящего крах оккупанта, а полномасштабная вторая Гражданская война. Ведь более миллиона советских людей воевали против советской власти на стороне Германии. 1.250.000 человек – огромная цифра – среди прочих, скажем, 400 с лишним тысяч русских, 250 тыс. украинцев, 150 тыс. среднеазиатов. 90 тыс. латышей, 70 – эстонцев и т.д., в том числе, по 20 тысяч белорусов, грузин, крымских татар (депортировали почему-то из названных «двадцатитысячников» ТОЛЬКО крымских татар).

И это не было секретом для власть имущих: недаром процессы над Власовым и многими другими сделали закрытыми. Всё знали в Кремле и на Лубянке. Такого массового, активного – с оружием в руках – сопротивления власти, под которой прожили четверть века, при которой выросли, трудно найти в истории. Нужно также помнить, что немногим менее 6 миллионов советских людей были в плену. Огромный ресурс.

Однако, дело не только в количестве плененных военнослужащих, поднявших оружие против власти в СССР. Антибольшевистскими настроениями были пронизаны многие слои общества. Упо-

минавший генерал Лукин, предпочитавший о своих раздумьях не распространяться – предвидел, что такие откровения могут позже кроваво аукнуться – в одной из «бесед» в плену в 1941 году всё же высказался вполне определенно. *«Если будет все-таки создано альтернативное русское правительство, многие россияне задумаются о следующем: во-первых, появится антисталинское правительство, которое будет выступать за Россию, во-вторых, они могут поверить в то, что немцы действительно воюют только против большевистской системы, а не против России и, в-третьих, они увидят, что на Вашей /немецкой–А.Я./ стороне тоже есть россияне, которые выступают не против России, а за Россию. Такое правительство может стать новой надеждой для народа. Может быть, так, как я, думаю и еще другие генералы; мне известны некоторые из них, кто очень не любит коммунизм, но они сегодня ничего другого делать не могут, как поддерживать его. /.../ Если бы Буденный и Тимошенко возглавили восстание /против Сталина –А.Я./, то тогда, возможно, много крови и не пролилось. /.../ И Буденный, и Тимошенко не очень любят коммунистические принципы, и, хотя они и являлись продуктами большевистской системы, они могли бы выступить, если бы видели альтернативу. /.../ Я прошу Вас сохранить все это в секрете, так как у меня есть семья».* (Протокол допроса военнопленного генерал-лейтенанта Красной Армии М.Ф. Лукина от 14 декабря 1941 г. «Новый часовой». Русский военно-исторический журнал. СПб., 1994, № 2, с. 173-175).

Абсолютно другой слой общества: замечательные мемуары Эммы Герштейн. Она, описывая страшные дни середины октября 41-го года, когда со дня на день ожидали немцев в Москве, царила паника, тротуары были засыпаны пеплом в деловых районах Москвы – жгли документы, *«кругом летали, разносимые ветром, клочья рваных документов и марксистских политических брошюр»* и пр., и всюду – очереди; в магазины, в ломбарды, в железнодорожные билетные кассы. И в парикмахерские! *«В женских парикмахерских не хватало мест для клиенток, «дамы» выстраивались в очередь на улице. Немцы идут – надо прически делать. /.../ Ждали нового “барина”, как выразилась наша домработница Поля»* (Э. Герштейн. Мемуары. СПб., 1998, сс. 303, 299). А сторож больничного сада заявил Герштейн: *«Всё. Ваша /евреев – А.Я./ песенка спета. Немцы уже в Белых Столбах»* (там же, с. 299).

Ладно, сторож, но молодые женщины, родившиеся и выросшие при Советской власти! Молодые мужчины, примерно 20-го года рождения, комсомольцы и коммунисты, массово и организованно сдававшиеся и переходившие на сторону врага! Упомянувшийся майор РККА Иван Кононов, по его словам, *«со своим полком полностью добровольно перешел на сторону немцев»*.

Историк К. Александров называл другую, более вероятную версию: на сторону вермахта перешла значительная группа рядовых и командиров, вместе с зам. командира полка по политчасти батальонным комиссаром Д. Панченко. (К. Александров. «За погибших в 33-м всех кубанцев и донцов». Русская православная церковь за границей. 2013. 10 сентября). Кстати, политработники – «передовой отряд партии в армии» – составляли значительную часть коллаборантов. Один из лидеров РОА, Начальник Главного Управления пропаганды КОНР – бригадный комиссар Г.Н. Жиленков...

И так от дворника до генералов. Советские правители знали свое народонаселение. Отсюда, наряду с харизматичностью Власова, его популярностью в войсках, ореолом победителя, притягательностью, основная причина возникновения «Власов-мифа» и его возрастающая жизнестойкость – Страх. Страх, перманентный – с 17-го и по сей день – не отпускавший ИХ ни в 45-46-х годах: идеи Власова *«объективно могут совпадать с настроениями определенной части населения, недовольной советской властью»*; ни в 70-х: *«У нас в стране находятся десятки тысяч власовцев, оуновцев, других враждебных элементов»* – это из высказывания тов. Андропова на упоминавшемся пленуме Политбюро 7 января 1974 года.

Что это? Преувеличение от застаревшего страха, у которого «глаза велики»? Или наоборот: сознательное преуменьшение – в Прибалтике, в Западной Украине, Средней Азии – и не только! – сов. власть ненавидели почти поголовно. Фантомные боли в российском, кремлевском сознании неизлечимы. Как неизлечим ещё больший перманентный ужас перед правдой прошлого и настоящего.

Другая мощная причина – Сталин не мог простить даже не измену Родине, а неблагодарность «сталинского полководца» к своему благодетелю. Личную обиду он не прощал. Кремлевский горец давно уже покинул сей мир, но дело его и обиды живут.

* * *

Был ли бы успех у Власова, поверни он оружие против Сталина хотя бы за день до сеновала у старосты деревни староверов, или годом ранее? Победили бы «власовцы» в этой Второй Гражданской войне? Вряд ли... Однако, это была бы не армия «пособников», а самостоятельная сила, поднявшая знамя Белого движения. Имя Власова осталось бы символом борьбы со страшным злом XX века, а не символом предательства. Вот тогда были бы абсолютно справедливы слова профессора Духовной Академии Петербурга протоиерея Георгия Митрофанова, и отзыв Архиерейского Синода РПЦЗ от 8 сентября 2009 года на его книгу «Трагедия России. “Запретные” темы истории XX века». *«Все, что было ими /власовцами – А.Я./ предпринято – делалось именно для Отечества, в надежде на то, что поражение большевизма приведет к воссозданию мощной национальной России. Германия рассматривалась «власовцами» исключительно как союзник в борьбе с большевизмом, но они, «власовцы», готовы были, при необходимости противостоять вооруженной силой какой бы то ни было колонизации или расчленению нашей Родины. Перефразируя известное высказывание /.../ Александра Зиновьева, ген. А.А. Власов и его окружение, “целясь в коммунизм”, прилагали все мыслимые старания, чтобы “не попасть в Россию”».*

Всё точно, кроме спорного пассажа А. Зиновьева. Как можно не попасть в Россию, целясь в коммунизм, ежели именно Россия породила этого монстра в самом извращенно-чекистском варианте и по сей день нежится в его зловонии...

...Иногда – и в данном случае – последние минуты человека заставляют переоценить всю прошедшую его жизнь, все его деяния, даже весьма неприглядные. И заставляют с гадливостью отбросить фальшивые мифы-штампы, которые годами наклеивала советская и новорусская пропаганда, – мифы о «предательстве».

Здесь всплывает один вопрос, а было ли предательство. Точнее: был ли Власов предателем? Был! Однако стал он им не тогда – в деревне Туховежи, а в начале 20-х, когда ДОБРОВОЛЬНО пошел служить в Красную армию, предав свое сословие, семейные традиции и пр., то есть, предав родину.

...Предательство родины – что это? И можно ли предать родину? Отречься от страны – да, от системы, режима – бесспорно.

Отрекаясь от этих внешних, искусственно привносимых и лживых синонимов понятия «родина», отрекаясь от социума, слепо и стадно следующего за этими манкáми; отрекаясь от всей этой шелухи, как правило, свершают это отречение во имя сохранения родины, которая никогда не покидала Бунина или Рахманинова, Зверева или Шалыпина, Шмелева или Бердяева, Ходасевича или Ивáновых, Шкуро или Деникина, Корташева или о. Александра Шмемана, Барышникова или Коржавина (имя им – легион!). Так и они – тысячи великих и безвестных – не покидали и не отрекались от нее, ибо родина есть категория нравственная, интеллектуальная, есть принадлежность к культуре, которая неотделима от личности, есть состояние духа, а не территория или народонаселение. И не государство! Служить государству, жить во имя государства – благородная, казалось бы, цель. Если только это государство не предает, не уничтожает, не рабощает того, кто «во имя его» живет. А не предавать, не забивать оно не может: государство, которое внимает каждой личности и признает ее непреходящую самоценность, становится само себе не нужным. Рано или поздно государство как цель существования человека рухнет, а останется только как средство, как инструмент. На территории одной восьмой части суши, во всяком случае, государство навязывает себя гражданину как смысл и цель его существования. Это – природа и условие существования ТАКОГО государства. Если цель существования личности есть государство, значит, цель существования этой личности есть уничтожение себя как личности. Отречение от такого государства – пусть к спасению себя – личности. Власов дошел до понимания этого.

Что есть Родина? Тот особый способ восприятия мира, существования в нем, сконцентрированный в ее культуре, языке, системе мышления? Если это так, то не любить Родину невозможно, немислимо ее предать! Жить без Родины нельзя. Подобно воздуху. Не любят, но дышат. Без воздуха умирают. Так и с Родиной. Роман Гуль в преамбуле к его мемуарной трилогии «Я унес Россию» отметил: *«Какой-то якобинец (кажется, Дантон) <...> сказал о французских эмигрантах: “Родину нельзя унести на подошвах сапог”. Это было сказано верно. Но только о тех, у кого кроме подошв ничего нет. Многие французские эмигранты <...>, у кого была память сердца и души, сумели унести с собой Францию. И я унес Россию. Так же, как*

и многие мои соотечественники, у кого Россия жила в памяти души и сердца» (Р. Гуль. Я унес Россию. Апология русской эмиграции. М., 2001, т.1, с.3). Можно предать родину, не покидая ее, можно – наоборот.

Власов и его поделщики предали Родину в России в 20-х.

Генерал-лейтенант РККА Андрей Андреевич Власов – из нижегородских крестьян, духовное училище и несколько курсов Духовной семинарии, студент Нижегородского университета. Добровольно, после призыва пошел в Красную Армию. Внес заметный вклад в боеспособность Красной Армии, то есть активно и удачно содействовал гибели российской цивилизации.

Полковник Михаил Алексеевич Миандров – сын священнослужителя, штабс-капитан русской Императорской армии. В Красную Армию мобилизован, спасая отца и семью, служил не так целно и беззаветно, как Власов, испытывая муки совести, однако так же безупречно. Впоследствии – член НТС.

Генерал-майор РККА Федор Иванович Трухин – сын Предводителя Дворянства Костромской губернии, правнук участника Бородинской битвы, студент юридического факультета Московского университета, увлеченный левыми идеями. В Красную Армию пошел осознанно, добровольно. Один из наиболее профессиональных штабистов Красной Армии. Преподаватель Академии Генерального штаба. В отличие от других, с наибольшей ответственностью и последовательностью участвовал в строительстве Красной Армии. В плену с июля 1941 года. Член НТС.

Бригадный комиссар Георгий Николаевич Жиленков – из крестьян Воронежской губернии, комсомольский активист, член партии, ее видный функционер, секретарь райкома партии в Москве, политработник РККА. Путь к предательству закономерен. *Nommo soveticus*.

Все они (кроме Жиленкова) так или иначе предали свою страну, свое сословие – крестьянское, дворянское, духовное, своих предков, и в течение более четверти века служили злу – разрушению России. Понадобилась война, плен, потрясения, чтобы перечеркнуть свою прошлую жизнь, осознанно и добровольно. То есть совершить двойное отречение – покаяние. И не отрелись от этого покаяния, как ни страшна была расплата.

Этим отречением – покаянием 40-х годов – запоздалым, немелым, внешне походившим на предательство – Власов и его соратники, возможно, сделали самое главное в своей жизни: отрезались от того страшного греха, который свершили двадцать лет назад.

Прийти к определенному выводу и поставить свою «оценку» в такой мучительной, кровавой и многослойной истории, думается, невозможно. Хотя два вывода сделать надо.

1. История нашей страны, история вождей, их славных дел, социальных утопий и легендарных упований есть сплошное мифотворчество. Посему бултыхаемся там, где и подобает. Закон незыблем: *страна, живущая исключительно в мифе, а не в реальности, культивирующая миф, как базу общественного сознания, может только деградировать, скатываясь к архаизации мышления и, соответственно, бытия.*

2. Второй вывод давно сделан Анатолием Макриди: *«Мне кажется, все плохо названные «коллаборанты», не искавшие личных выгод, рассуждали одинаково: с любой немецкой оккупацией после войны мы бы справились, даже без особого труда, в течение нескольких лет, а с большевизмом не справились до сих пор, не справимся никогда».* («Наша страна» № 2963 от 04.05.2013). Сегодня – в 2019-м звучит особенно актуально.

Что же касается Власова... Солженицын в «Архипелаге» отметил: *«Ничего бы не стоил русский человек, если бы, получив оружие из рук Сталина, он не попытался бы обратить его против Сталина».* При всей неоднозначности личности и спорности суждений, в данном случае, думается, несостоявшийся Ленинский лауреат прав.

Яблонский Александр Павлович родился в Ленинграде. Блокадник. В 1966 году закончил Ленинградскую государственную Консерваторию как пианист (по классу проф. С. И. Савиинского), в 1969 – аспирантуру (кафедра проф. Л. А. Баренбойма). С 1967 г. преподавал в ряде музыкальных учебных заведений Ленинграда, в том числе в Консерватории. Автор работ по истории отечественного исполнительства. С 1976 года – лектор «Ленконцерта». Лекции по истории русской и западноевропейской музыки, истории русской культуры и

пр. В 1990 – 1995 гг. – мастер-классы и лекции в Барселоне (1990 – 1994 гг.), Кёльне, Риге, Бостоне и др. С 1990 года – Худрук Камерной филармонии «Ленконцерта», затем – Генеральный директор Объединения «ПЕТЕРБУРГ – КОНЦЕРТ» (ранее – «ЛЕНКОНЦЕРТ»).

В 1996 эмигрировал в США; живет и работает в Бостоне. Автор книг: «06/07. Сны» (М., «Водолей», 2008); Романы «Абраша» (М., «Водолей», 2011) – LongList Премии НОС «Новая словесность»; «Президент Московии» (М., «Водолей», 2013); Повести «Ж – 2 – 20 – 32» (М., «Водолей», 2013); «Импровизация с элементами строго контрапункта и Постлюдия» (М., «Водолей» 1914); «Изношенный халат», Избранная проза в 2-х томах (М., «Водолей», 2017); «Роман «Ленинбургъ г-на Яблонского» (М., «Водолей», 2018), «Ода к радости в предчувствии Третьей мировой» (М., «Водолей», 2018), а также рассказов.

Искандер КУЗЕЕВ

ДЕТСКАЯ АНТИСОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В СССР

Вилу МИРЗАЯНОВУ

1. Антисоветская литература в советской школе

В детстве мы не знали, что такое антисоветчина. Вернее, знали лишь понаслышке. «Я Пастернака не читал, но осуждаю!» – доносилось до нас.

Мы не знали стихов Бродского. Лишь слышали о процессе над тунеядцем из Ленинграда.

Мы не читали Абрама Терца. Лишь слышали о деле Синявского и Даниэля.

Мы не знали, просуществует ли Советский Союз до 1984 года. Но знали, что за этот памфлет Андрей Амальрик отправился в мордовские лагеря.

Лишь в старших классах, после августа 1968-го, после танков в Праге, после того как *они вышли на площадь*, мы стали что-то читать.

Первым антисоветским шедевром, прочитанным практически от корки до корки (правда, в аудиоформате), был роман «*В круге первом*». Да и то вкратце. Мы его слушали по Би-Би-Си, а полный текст романа Солженицына передавала лишь нещадно глушившаяся радиостанция «Свобода».

Би-Би-Си тоже глушили, но – не так сильно. Утром, придя в школу, мы составляли мозаичную картинку из отдельных услышанных фраз.

– Верните нам смертную казнь! – вспоминал я реплику Абакумова.

– А не боишься, что тебя первого расстреляем? – Владимир Ни-

жегородский напоминал, как вопросом на вопрос отвечал Абакумову товарищ Сталин.

Девочки стояли в стороне. В дискуссию не вступали, лишь прислушивались.

Иногда что-то удавалось вычитать и в советской прессе.

Журнал «Юность» напечатал сбежавшего на Запад антисоветчика Анатолия Кузнецова. Уже вышли два номера (№№ 3 и 4 за 1970 год) с романом «Огонь», но лишь потом по библиотекам был выслан циркуляр: тираж уничтожить. Я успел-таки школьное сочинение по антисоветскому роману написать. «Пятерку» получил, однако.

Еще раньше был прочитан «Один день Ивана Денисовича» в «Новом мире», в «Роман-газете». Особым шиком стала считаться цитата из «антисоветчины» в школьных сочинениях.

Иногда и в газетах попадалась антисоветчина. Как, например, «Памфлет о харчевне», напечатанный в подвале «Комсомолки» в качестве образца шизофренического бреда антисоветчиков. Ходили слухи, что автор – тот же Андрей Амальрик. Много позже Наташа Горбаневская говорила мне, что придерживалась того же мнения.

Недавно я нашел текст этого памфлета в одном из номеров журнала «Посев» (Франкфурт-на-Майне) за 1960 год, но там стоит другое имя автора. И никому не известное. Видимо, псевдоним.

Текст «Памфлета о харчевне» мы выучили наизусть, декламировали его на своих демонстрациях протеста с парадной лестницы кинотеатра «Россия», самого крупного в «закрытом» городе Горьком.

Вот текст.

Полный – не полный, не знаю.

Таким запомнился. Таким мы его читали со ступенек нижегородского кинотеатра «Россия» (о ту пору в «закрытом» городе Горьком).

*«Пускай нас мало,
Пускай мы слабы,
Но придёт время,
И нас станет больше.
И мы подточим
Гнилые доски*

*Харчевни вашей,
Где мрак и сырость,
Где нету места
Для вкусной пищи,
Где соль и перец
Внушают ужас.
Где под запретом
Горчица с хреном».*

2. Анвер-антисоветчик

Первую книжку с антисоветчиной подарила мне мама. Сборник рассказов уфимского писателя Анвера Бикчентаева «*Бакенщики не плачут*». Первое издание этого сборника вышло в Уфе в 1961 году. Но у меня, кажется, было московское издание 1963 года.

Антисоветский рассказ назывался так же, как и сам сборник: «*Бакенщики не плачут*».

В нём – колоссальная социальная пропасть разных страт советского общества, поразившая меня еще в детстве. Главный герой живёт в одинокой избушке на берегу реки. Как становится ясно, на берегу Белой (хотя название реки не упоминается). Мы узнаём, что мальчик любит читать книжки, но, видимо, – при свечах. В доме нет воды, отопления. Скорее всего, электричества тоже нет.

Мальчик живет с отцом. Отец – бакенщик.

Раз нет электричества, негде подзаряжать аккумуляторы для бакенов. В бакенах горит фитиль керосиновой лампы. Раз нет электричества, каждый день отец с сыном подливают в бакены керосин.

Мамы нет.

– И не будет! – говорит отец.

Видимо, он был одним из немногих, вернувшихся с войны. Женился на молодой девушке, которая умерла при вторых родах. Или при первых. Мальчик о ней ничего не говорит, не помнит. В те годы такая смерть – обычное дело в условиях «бесплатной» советской медицины. Особенно в глухой провинции. А теперь, через десять лет, старый воин уже никому не нужен.

Да, мальчику – десять лет. Каждое утро он плывёт с отцом на утлой лодочке. Плывет, чтоб потушить свет в бакенах и подлить ке-

росин. Каждый вечер они зажигают бакены. Осенью они с отцом ловят щук. Еще они смолят и чинят лодки. Вестимо, зимой.

Язык героев рассказа – скупой, лишенный всяких эмоций. Такое впечатление, что живут они среди персонажей «Одного дня Ивана Денисовича».

Непонятно, ходит ли мальчик в школу или круглый год так и живёт в ссылке, как Иван Денисович в дальней «подкомандировке» Дальстроя. Ведь и некогда ему в школу ходить!

– Да, чуть не забыл: мытьё посуды тоже лежит на мне! – напоминает мальчик читателю.

А мытьё посуды – это не нажать кнопку посудомоечной машины *Bosch*. Надо натаскать воды из колодца, наколоть дров, разжечь огонь в печурке, вскипятить воду, ну и так далее.

Если мальчик и ходит в школу, то учится в интернате после окончания навигации в октябре и до её начала в середине апреля.

В чём смысл такой жизни, мы узнаём, когда отец едет за лодкой на пристань, но задерживается там до позднего вечера.

Мальчик плывет к бакенам один. На реке разгорается буря. На реке – шторм. Но мальчик плывёт, рискуя жизнью, чтобы зажечь все шесть бакенов у крутой скалы, которую огибает течение реки. Мальчик не удерживается на ногах, зажигая последний бакен. Волна кидает лодку, мальчик падает, ударившись о борт лодки, теряет сознание. Придя в себя, он видит вернувшегося с пристани отца.

Вот и весь рассказ.

Но в чём смысл такого каторжного, смертельно опасного детского труда? Ах, вот в чём! Между бакенами в это время плывут два белоснежных лайнера. Плывет пароход «Мажит Гафури». За ним – другой, оставшийся для нас неизвестным. Мальчик зажигает последний, шестой бакен. Пароходы проплывают, обойдя крутую скалу. Жизнь пассажиров спасена.

Да, на этом и заканчивается текст рассказа Анвера Бикчетнаева «Бакенички не плачут».

Подтекст читатель может додумать сам.

3. И плывёт корабль!

Все пароходы, ходившие в Российской империи по Волге, по Белой, по Каме, сторели и потонули в боях Гражданской войны. На военные нужды их реквизировал ближайший друг Лейбы Троцкого командир Волжской военной флотилии Николай Маркин. Памятник Маркину стоит у бывшего речного вокзала в Нижнем Новгороде. Бывшего – потому как регулярное пассажирское судоходство в путинской России отменено с 2005 года. Неподалеку от памятника Маркину, у знаменитой Чкаловской лестницы, стоит вынесенный на берег флагман Волжской военной флотилии – «Волгарь-доброволец».

Даже тот пароход, на котором Володя Ульянов плыл из Казани к Наденьке, отбывавшей ссылку в Уфе, большевики не смогли сбечь. Корабли, построенные ещё в Российской империи, остались в СССР лишь вдали от боёв, на северных реках (по Сорокину, на территории *Беломорской республики*). По Северной Двине до сих пор ходит пароход «Н.В. Гоголь», построенный на верфях Сормовского завода в Нижнем (1911). Правда, раньше ходил от Архангельска до Вологды. Сейчас лишь до Котласа, да и то редко. Обмелели неухоженные реки Русского Севера!

А после Гражданской войны в СССР строили лишь военные корабли, Сталин готовился к новым войнам.

Пассажирские корабли в СССР появились лишь после смерти Сталина. Сначала – реквизированные после Второй мировой в счёт репараций. Флот на Чёрном море начал свою мирную жизнь с печально известного парохода «Берлин/Адмирал Нахимов» (даты пароходной жизни: 1925, Любендорф – 1986, Новороссийск).

На Белой стали плавать колёсные дунайские пароходы, реквизированные у венгров как у германских сателлитов. В 1952 году открылся Волго-Донской канал, так что дунайские пароходы смогли доплыть и до Уфы. Один из пароходов (упоминающийся в рассказе Анвера Бикчентаева) стал ходить под именем татарского писателя Мажита Гафури.

У тогдашних «владельцев» уфимских нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов не было ни яхт, ни вилл на Лазурном берегу. Не было их и у нефтяников «Башнефти», по поводу которой

ещё недавно ни на жизнь, а на смерть спорили Сечин и Евтушенков.

Предел мечтаний «красных директоров» – опостылевшие, скучные санатории 4-го главного управления Минздрава СССР, дома отдыха управления делами ЦК КПСС и Совмина СССР. Скучные – потому так там «красные директора» теряли свою безграничную власть и становились *обычными поцыэнтами*.

Но до этих санаториев еще и добраться надо было. Или поездами с пересадкой в Москве, или на «*пятьсот веселых*» поездах, которые тащили на юг пыхтящие паровозики по однопутным дорогам через Сальские степи.

Ах, да, конечно, был еще в Уфе и местный аэродром «*Голумилино*» со взлётно-посадочной полосой вдоль нынешней улицы Зорге. Располагался между старым губернским центром и построенным немецкими оккупантами (1943/55) промышленным городом Черниковском. К аэродрому вела утопавшая в садах и палисадниках и сохранившаяся до сих пор Аэродромная улица.

Но по улице Рихарда Зорге взлетали лишь «кукурузники» и военно-транспортные ЛИ-2 (полученные по ленд-лизу *Douglas DC-3*). Аэропорт «*Уршак*», который сможет принимать тогдашние ИЛ-18 и первые реактивные «тушки», ещё не был построен. Так что и Куршевель был недоступен.

«Дуглас» двигался немногим быстрее поезда. Рейс в Минводы взлетал с уфимской улицы Зорге на рассвете. То и дело болтавшийся в воздушных ямах легкий «Дуглас» садился в Самаре, в Саратове, в Волгограде и прилетал на юг далеко за полночь. Ещё дольше летали «Дугласы» в сторону Адлера и в сторону аэропортов Крыма.

Иное дело – белый дунайский пароход!

Отдых начинался, когда «красный директор» ещё не отъехал от дома, а, расставив чемоданы по шкафам каюты, начинал первую прогулку по «господской» палубе.

Да, отдых начинался с бельской пристани. Красные директора селились в каютах первого класса на верхней палубе. Загорали на шлюпочной, за капитанским мостиком. Обедали, ужинали там же – в ресторане первого класса. В отличие от цэковского санатория, здесь они оставались хозяевами жизни, которая кипела внизу.

Ведь что творилось на нижней палубе?

А что творилось в трюме?

Об этом юный читатель антисоветского рассказа Бикчентаева мог только догадываться.

Или вспоминать рассказы о том.

Или вспомнить собственные впечатления.

Жизнь на пароходе была столь же иерархичной, как и жизнь того города, той страны, где «красные директора» садились на пароход.

Здесь надо пояснить читателю, что город Уфа состоял в ту пору из старого губернского (наполовину татарского) центра с редкими домами городской знати и с удобствами во дворе для остальных. Плюс построенный немецкими оккупантами русский город-сад, уже упоминавшийся Черниковск, совершенно отдельный город с эмигрантами из России, выросший вокруг нефтеперерабатывающих, нефтехимических и авиационных заводов. Плюс ко всему – овраги с землянками по берегам Белой, заселённые беженцами с Украины 1941 года и огромными крысами. Эвакуированные заводы так и остались в Уфе. Остались и те, кто на них работал.

Овраги с землянками представляли собой удивительное зрелище. Малая, Большая Республиканская, просто Республиканская были улочками вдоль склонов оврагов на берегу Белой. С одной стороны улицы – врытые в склон горы землянки с единственным крохотным окошечком в сторону оврага. С другой – стоящие на сваях, над ручейком сортиры-скворечники. Путник на такой Республиканской улице невольно отскакивал в сторону, когда рядом с ним раздавались характерные звуки и говно из скворечника на сваях падало на дно оврага.

«Еду я на родину, пусть она – уродина, но она нам нравится. Эх!» – сказано было про землянки на склоне. – «Белая река, вспомни о былом!»

Землянки стали исчезать лишь тогда, когда выстроенное на вершине горы здание обкома КПСС стало называться президентским дворцом, дворцом президента Башкортостана.

Nobless oblige!

На белом пароходе – такая же иерархия.

Верхняя палуба – с музыкальным салоном и рестораном первого класса. Простенький камбуз и многоместные каюты – вокруг машинного отделения нижней палубы. В трюме – общие лежанки для тех, кто не поместился в каютах третьего класса.

Сегрегация – полная, как на лавочках *whites only* времен апартеида в Южной Африке или в южных штатах времён *хижины дяди Тома*. И – никаких романтических свиданий, как на «Титанике» в фильме Камерона. Корабельные бортпроводницы в СССР зорко следили за тем, чтобы чумазные мальчишки из «*нижних чинов*» не поднимались к девочкам из кают первого класса.

Особенно тяжело приходилось «нижним чинам» на участке от Уфы до Казани. Никаких дорог вдоль берега не было. От Казани до Елабуги и Набережных Челнов вдоль берега Камы дорогу начали строить вместе с КамАЗом и закончили, построив плотину Нижнекамской ГЭС в 1982 году. Полмоста на дороге вдоль левого берега Камы появилось лишь в 2001-м, у Сорочьих гор. Вторая половинка достроена в 2016-м.

Когда Анвер Бикчентаев писал свой рассказ «*Бакенички не плачут*» (1961), скоростные суда на подводных крыльях ещё не ходили. И мостов через Белую не было. И дорог вдоль Белой вообще никаких. Пароход, отправившийся в рейс дальнего следования, – единственное средство, чтобы с пристани на одном берегу добраться до другой пристани на противоположном.

От крупной пристани Дюртюли, куда издавна везли хлеб с немецкой латифундии *Нёйфельд-Прейсшиб*, на было вообще никаких дорог ни в сторону Казани, ни в сторону Уфы. Лишь один просёлочек в сторону станции Благовар Урало-Симбирской дороги, откуда тоже вывозили хлеб с немецких латифундий.

Дороги в тех местах строили лишь там, где стояли скважины нефтяников. Из Уфы редкие автобусы в сторону Дюртюлей шли далеко в обход, мимо нефтяных полей «Чекмагушнефти» (филиал «Башнефти» имени Сечина).

А дальше – тишина!

Дорога на границе, как сказано у Сорокина, на границе Великой Тартарии и Башкирского царства, где два кентавра-мутанта с пёсьими головами варили в Степи суп из головы смелого татарского воина, павшего в битве с салафитами под Бугульмой (2050), покрылась асфальтом лишь к осени 1995 года. Сейчас по европейской классификации – трансевропейская трасса E-017 Казань-Елабуга-Уфа. А тогда её еще не было.

Так что трюм белоснежного парохода был каждый раз перепол-

нен крестьянами из прибрежных татарских аулов. Крестьяне спали вповалку на своей поклаже, на всех лестницах, во всех проходах. Особенно тяжело приходилось тем, кто спал в коридорах вокруг жарких котлов, вокруг открытых всем взорам гигантских поршней и шумных шатунов машинного отделения, крутивших колеса колёсного парохода.

А наверху, над ними, сидели в плетёных креслах, надев белые льняные костюмы, «красные» директора. В соседних креслах – дамы «красных» в шёлковых платьях. Ждут, когда их пригласят на обед, когда они будут намазывать толстый слой икры на тоненький ломтик хлеба.

– Икринки должны быть одного размера и лопаться во рту одновременно! – впрочем, это было сказано не на бельском пароходе. Это у Феллини, в том фильме, где у него «плывёт корабль».

И всё это – *над* ними, над лежащими вповалку в трюме татарскими крестьянами.

А *под* ними – маленький татарский мальчик в уютной лодочке, герой рассказа Бикчентаева «Бакенщики не плачут», в любой шторм готовый с риском для жизни мчаться навстречу волнам, чтоб обеспечить комфортный отдых бонзам советской номенклатуры.

4. Детские впечатления

На меня рассказ Бикчентаева «Бакенщики не плачут», в котором маленький мальчик, рискуя жизнью, обеспечивает комфорт жирующим на верхней палубе представителям советской элиты, произвёл именно такое впечатление. Рассказ был прочитан в «закрытом» городе Горьком. К тому времени я не раз встречал пароход из Уфы с родственниками и знакомыми, проплывавшими транзитом от Софроновской пристани в Уфе до шпиля, нет, не до шпиля Солсберецкого собора – до шпиля Северного речного вокзала в Химках-Ховрино. Так что я хорошо понимал, что представляла собой корабельная жизнь тех лет.

Потом появились куда более комфортные послевоенные теплоходы, уже без котлов, гигантских поршней и шатунов. Поступали в Бельское речное пароходство в счёт репараций из той же Венгрии. Серия теплоходов с названиями сибирских рек. Головной корабль

серию назывался «Чулым». Впоследствии название осталось лишь на носовых склянках. Корабль был переименован. Последние годы – «Николай Пирогов». Под этим именем и сторел, не доплыв до Череповецкого крематория имени Мордашова.

Я плавал на нём в последние годы существования СССР. Уже никто не спал вповалку в гигантских трюмах. Трюмы были пусты, на них – вывеска: «Багажное отделение». Естественно, перевозка багажа в пустующем багажном отделении была практически бесплатной, что было немаловажно в стране тотального дефицита. Однажды мне привезли в трюме колесного парохода «Джамбул» дефицитный пузатый холодильник «ЗИЛ-Москва». Привезли в Горький не с грузовой пристани на задворках ЗИЛа, где холодильники, собственно, и собирались. Привезли родственники с той же Софроновской пристани в Уфе. «Достали» холодильник, как тогда говорили, «по благу».

Так вот, однажды я и сам плыл на теплоходе «Чулым» («Николай Пирогов»). В стране – гласность, горбачёвская перестройка. Не только отдельные рассказы Бикчентаева, вся страна уже стала антисоветской. Антисоветские магазины с пустыми антисоветскими полками. В антисоветскую, бурлящую сотысячными митингами столицу всё приходилось завозить самому, завозить издалека. Стиральную машину «Вятка-автомат» – с Кировского ракетостроительного завода, на котором собирались ракетные комплексы SS-20. Детскую коляску – с соседнего завода в том же Кирове, с завода, на котором собирали системы наведения для SS-20 (в Кирове ж – не токмо «Кировлес» имени Навального, там же ещё и ракеты делали!).

Детская коляска была исключительно удобной для московского метро. Складывалась и вдоль, и поперёк, и ещё имела отстёгивающуюся крышу над головой. И была на удивление лёгкой и прочной. Ведь собирали её из того же сплава, из которого мастерили корпуса стратегических ракет!

Сейчас такими никого не удивишь. Но тогда!..

Впрочем, я ж не про вятские ракеты, а про уфимский пароход рассказываю, плывший там, где бакенщики не плачут.

Ну, так вот.

Никакого импорта, за исключением гуманитарной помощи, в

перестроечную Москву уже не везли. А тут мне попадаетесь огромная стремянка, собранная на каком-то строительном комбинате металлоконструкций под Стерлитамаком. Она раскладывается и так, и эдак, превращаясь в своего рода строительные леса. Раскладывается и вдоль, превращаясь в гигантскую лестницу, незаменимую в условиях реновации (*sic!*) в старых арбатских переулках (высота потолков – 3750 мм). Лёгкая, из тех же дюралюминиевых сплавов.

Короче, стремянку я взял, но как её везти в Москву?

Друзья помогли с билетами на теплоход. И вот лестница уже лежит в опустевшем трюме теплохода «Николай Пирогов» (бывший «Чулым»). Я плыву, любуюсь отвесными скалами на берегах Белой и вспоминаю мальчика из рассказа Анвера Бикчентаева «Бакенщики не плачут». Вспоминаю того мальчика, который, рискуя жизнью, зажигал в шторм, в грозу свои шесть бакенов у скалы на крутой излучине Белой.

Я плыву, но никаких лодочников у бакенов уже нет. Бакены – электрические, с аккумуляторными батареями, с датчиками, которые сами зажигают и гасят свет. Анвер Бикчентаев, писавший свой рассказ в 1961 году, не дожил до этого светлого дня. Ушёл из жизни в мае 1989-го.

5. Знакомство с писателем. Утёс Мирзаянова

Не помню, кто меня познакомил с Анвером Бикчентаевым. То ли Люба Цуканова из республиканской газеты в Уфе, то ли Иосиф Гальперин из городской. Скорее, Гальперин. Сын писателя заведовал в той газете отделом культуры, Анвер Гадеевич (Әнүәр Һазый-улы Бикчәнтәй) туда заглядывал чаще. Имя у писательского сына было смешное, как нынешняя аббревиатура агентства печати «Новости». Звали его Риан.

Я не стал спрашивать писателя, как у него появился такой антисоветский рассказ.

Он бы очень обиделся.

Анвер Бикчентаев не был антисоветским писателем. Скорее, самым что ни на есть советским. Политрук, военкор на фронте, «премьенный» премиями член правления Союза писателей РСФСР. На

фронте вступил в КПСС, всю жизнь был членом правления и членом партбюро Союза писателей Башкирии.

Не был антисоветчиком, но вот написал рассказик про бакенщиков, которые не плачут. Полторы страницы текста, но как ярко высвечена социальная пропасть в стране, гордившейся своим «советским образом жизни»!

Так что я лишь спросил писателя, где разворачиваются события, описанные в запомнившемся мне рассказе.

– Иске Кэнгеш! – ответил писатель. – Старый Кангыш, Старокангышево.

Селение Иске Кэнгеш стоит на крутой скале. Стоит там, где река Белая делает крутой изгиб более чем на 90 градусов. Один из соседних поселков так и называется – Бурный поток.

Не все дети из этой деревни были бакенщиками. Но жизнь остальных – тоже не сахар. Ближайшая школа – в райцентре на другом берегу Белой. В позднесоветское время в деревне школа появилась-таки, но сейчас – заброшена. На месте школы строят мечеть.

Когда школы не было (и сейчас, когда ее *уже* нет), единственный путь в большую жизнь – дорога в интернат на другом берегу реки.

В голодном 1943 году в татарскую школу-интернат №1 райцентра Дюртюли поступает мальчик, родители которого были, что называется, строителями коммунизма. Не стали давать мальчику имя Шайхуллы или там Нуриахмет. Дали мальчику короткое имя ВИЛ («Владимир Ильич Ленин»). Мальчик давно стал антисоветчиком, но имя, данное при рождении, держит при себе.

И вообще мальчик Вил – давно уже не мальчик. Не столько антисоветчик, сколько, как бы это сказать, *постантисоветчик*.

Вил – один из авторов воззвания «Путин должен уйти!», премьер-министр правительства Татарстана в изгнании, профессор Принстонского университета.

До недавнего времени его знали лишь в узких научных кругах, в кругах либеральной и национальной (татарской) интеллигенции. Сегодня его имя известно всему миру.

Вил Мирзаянов из селения Иске Кэнгеш, что стоит на крутом берегу Белой, – один из создателей «Новичка».

Как академик Сахаров боролся против атомной бомбы, так и

профессор Мирзаянов давно борется против распространения химического оружия.

Дважды сидел в Лефортове (за «разглашение»). Правда, Россия ещё не была путинской, время было вегетарианское. Один раз сел на десять дней (в 1992-м), другой раз, в 1994-м, – на две недели, после чего дело было закрыто, а Мирзаянова пригласили читать лекции в Принстонском университете.

С 1995 года он живёт в США.

Школы в его селении таки нет. Когда Вил закончил школу, потом химико-технологический институт, защитил там кандидатскую, защитил докторскую в НИИОХТ на шоссе Энтузиастов, где разрабатывал тот самый «Новичок», лишь тогда построили школу в родном селении профессора. Да и она развалилась. Как я уже сказал, на месте школы строят мечеть.

Единственно, появился мост через Белую.

И ещё. В селении Иске-Кангыш сегодня работает веб-камера. Говорят, стараниями и заботами Вила Мирзаянова. Профессор может из своего дома в Принстоне наблюдать за происходящем на том берегу, любоваться забельскими далями.

... На стене в доме учёного висит картина с пейзажем, запечатлённым на бельском пленэре. На картине – тот самый крутой изгиб реки, где бакенщики не плачут.

Конечно, бакенщиков на картине уже нет.

Ушла эпоха, описанная в антисоветском рассказе Анвера Бикчентаева.

Остался лишь утёс Мирзаянова у крутого поворота Агидели под селением Иске Кэнгеш.

Искандер Кузеев живет и работает в Москве. Он – журналист, литератор, кинодокументалист, художник. Заместитель председателя Ассоциации журналистов-экологов Союза журналистов России. Дипломант международной Сахаровской премии «За журналистику как поступок», лауреат премии «Золотое перо России» Союза журналистов России, лауреат международной журналистской премии «Эко-око», лауреат, дипломант ряда международных кинофестивалей.

Андрей ФРОЛОВ

ГЕНЕРАЛ СМЕРШ

Продолжение. Начало в № 3 (7) 2018

22 июня

Мы постоянно ждали нападения, сначала в апреле, потом в мае, а когда устали ждать, оно разразилось. Как назло, Маня ещё купила на рынке и запекла индейку, хотя в прошлый раз, когда она купила индейку, то неудачно упала с велосипеда и сломала ногу. Да и я дурак, что не сказал ей сразу выкинуть эту чёртову индейку собакам. О, какая ошибка, ведь уже утром началась война.

Когда мы собрались на утреннюю оперативку, недолюбливавший меня начальник отделения Казакевич вдруг сказал: «Обратите внимание – как побледнел товарищ Фролов. Нельзя так пугаться войны, мы наоборот должны проявлять бодрость духа и громить немцев. Так что товарищи, я прошу вас проявлять мужество, мы же военные, к тому же чекисты, не правда ли, товарищ Фролов?» В это время издали впервые раздалось непередаваемо противное жужжание “мессершмиттов”. Как будто тысячи гигантских комаров прилетели кровь пить. Счастлив тот, кому не приходилось слышать этого звука.

Мы высыпали на улицу, «мессершмитты» шли со стороны Житомира, значит отбомбились, подумалось мне – хоть Скоморохи, куда я вновь вернулся, бомбить не будут. Но тут один из «мессеров» отделился и полетел прямо на нас – раздалась пулемётная очередь. Казакевич тут же упал у крыльца и закрыл руками голову. Мы, прыгая через него, забежали за угол штаба дивизии. «Мессер» пронёсся над нашими головами и, пока мы смотрели ему вслед, развернулся и полетел снова на нас, мы опять за угол, он успел-таки обстрелять нас из пулемёта, пули прошили штукатурку штаба,

меня больно ударило осколком штукатурки в ухо. Так немец гонял нас ещё несколько минут, видно, ради смеха, а потом улетел догонять своих стервятников. Когда мы, оживлённые первым боевым крещением, возвращались в штаб, то обнаружили Казакевича всё так же лежащим в грязи под крылечком. «Можно встать, товарищ оперуполномоченный, немцы улетели» – сказал я, давясь от смеха. Казакевич вскочил: «А, что? Улетели?» – и начал протирать очки и отряхивать грязь с гимнастёрки и галифе, так как упал не в самое чистое место. «Вот теперь понятно, как проявлять мужество на войне», – заметил я походя, и все, кроме Казакевича, покатались со смеха. А тот так был растерян, что даже не нашёлся, чем ответить. Впоследствии это сильно задержало моё продвижение в звании и награждение орденами и медалями, но не наступать же из-за этого на горло собственной песне.

Первым делом мы старались узнать, что происходит, но командир дивизии и сам ничего не знал, кроме того, что немцы бомбили Львов, Вильнюс, Ригу и Минск. Никаких приказов о начале боевых действий мы не получили. Дело пахло керосином. Дивизия была на ногах, зенитчики устанавливали и готовили батареи к отражению воздушных атак. Немцы, без сомнения, должны были заметить наш аэродром, то есть скоро начнут бомбить, надо спасать семьи. Взводу солдат было поручено немедленно собрать семьи военнослужащих и мирных жителей и поместить всех в бомбоубежище на краю села. Через полчаса нам сообщили по радиации, что вход в бомбоубежище заложен брёвнами и они ведут расчистку. То есть, несмотря на всю нашу бдительность, диверсанты и шпионы как-то всё-таки просочились в Скоморохи и напакостили, причём, порядком пытаясь нанести удар по нашим жёнам и детям. Дивизия вела дополнительную маскировку аэропорта.

У меня и самого складывалось впечатление, что война началась для нас не очень удачно, но всё-таки никаких сомнений в победе я не испытывал, а только страшную злость на немцев и желание биться с ними до последнего. А тут и они, легки на помине, объявились – самолётов пять-шесть откуда-то подлетело и давай нас бомбить. Я понёсся через пустырь в укрытие, раздался страшный взрыв слева, я инстинктивно побежал вправо, теперь шаркнуло справа, я влево, вдруг, чувствую, ноги мои подняло и лечу. Упал, а на меня земля,

в нос, в рот набралась. Я кое-как её раздвинул и увидел как горит штаб и наш мотоцикл, как свечка. Рядом со мной смотрю, кто-то из-под земли, как гриб, вылез, я ему помог разгрестись – смотрю – командир авиадивизии Дубошин, весь чёрный, опалённый. Вылез, выплюнул землю, отсморкался и выругался: «Да они, мать их, у нас как у себя в огороде разгуливают».

Тут и другие наши подтянулись, все, слава богу, целые. Немцы улетели, то ли бомбы кончились, то ли бензин был на исходе. Через полчаса я уже был в бомбоубежище. Маня с детьми сразу бросились мне на шею. Они держались мужественно. К вечеру стало ясно, что немцы продвигаются стремительно, и семью надо срочно эвакуировать. На другой день все семьи военных получили право на немедленную эвакуацию. Я посадил своих в поезд, крепко всех перецеловал и отправил в Днепропетровск к своим подальше от границы, будучи уверенным, что так далеко немцы не пройдут. А через сутки и мы получили приказ отступать на Умань.

Я получил задание проехать за нашими войсками через украинские деревни для того, чтобы узнать, что там творится, и поджечь хлеба, если где не горят. Немцы, по данным разведки, находились кое-где уже в двадцати-тридцати километрах. В первую деревню мы въехали часа через полтора. Мать честная, что это? На дорогу к нашему чёрному, заметному в степи издали, мерседесу вышла группа селянок в чистеньких, красивых украинских костюмах, с рушниками, в руках хлеб да соль. Меня взорвало, я выскочил, выхватил пистолет и выстрелил в воздух. Они поняли свою ошибку, упали на колени и стали просить не убивать их. Державшая хлеб-соль видная красивая женщина лет сорока сказала мне: «А шо ж нам делать, вы ж, сынки, нас одних бросаете, куды нам-то деваться». «А что – она права» – подумал я: «как они могут воевать с немцами, если мы бежим, хотят задобрить, чтоб меньше натерпеться». «Ну знаете что – давайте-ка расходитесь по домам. Встречать их не надо, они, ничего, переживут как-нибудь, а мы скоро вернёмся и всё наладится», – сказал я и посмотрел строго на этих соглашателей. Те вроде бы стали расходиться, я засунул пистолет в кобуру, сел в машину и поехал дальше.

Впереди канонада, но затихает, въезжаем в небольшой городишко, вон вокзал, повернули к нему узнать обстановку и тут, вот

те на – немцы, я сразу узнал их, бывших союзничков, по формам, видел в Польше: два часовых стоят перед вокзалом, видно, только что заняли город. Поворачивать поздно – обратят внимание, говорю шофёру: «Саня, переворачивай пилотку, немцы». Перевернули мы пилотки, не торопясь проехали мимо них, я отдал небрежно им из машины фашистский салют, они, наоборот, чётко вскинули руки, мы проехали немного ещё, и я увидел своротку к лесу. Повернули, проскочили лесок и погнали полями в восточном направлении, через полчаса увидели наших, они окапывались на небольшой горке у деревни. Я рассказал командиру батальона и показал на карте немецкие позиции, и мы поехали по направлению к Умани. День прошёл удачно – ведь, заметь нас немцы, мне оставалось бы только стреляться, я к этому и готовился – несколько пуль в них и пару себе, так как оставлять только один патрон мало – может быть осечка, а нашего брата особистов немцы ой как не любили, уж даже не знаю за что, мы ведь с ними тогда ещё и познакомиться не успели.

Едем по Умани, вдруг слышу:

– Андрей! – и вижу моего зятя Мишу Кирсенко, мужа сестры Раи, лётчика. Обнялись. Миша весь пылал гневом:

– Ворошилов – предатель, Будённый – предатель! К стенке их, сволочей, надо ставить!

Я попытался его остановить: «Миша, ну разве можно такое говорить...»

-- Какое говорить – сверху ж всё видно, мать твою, как наши бегут – тысячами, только обмотки разматываются. Весь фронт развалился, толпами в плен сдаются! Сверху же всё видно – руки подняли и идут к немцам с белыми флагами.

– Ты, Миша, так всё равно не говори, не надо. Это не помогает. Ничего, мы соберёмся, мы им всё равно надаём.

– Только предателей вперёд искоренить надо! – но он постепенно успокаивался.

В Умани мы продержались недолго, немец жал нас, как пресом, и мы отступили на Полтаву.

Спасти семью!

В Полтаве я познакомился со своим новым начальником, Николаем Николаевичем Селивановским. Он был начальником Особого отдела НКВД войск Юго-Западного направления, Юго-Западного фронта.

Он в тот же день пригласил меня поучаствовать в допросе экипажа сбитого нашими, на этот раз настоящего немецкого самолёта, которому удалось приземлиться, и особисты захватили лётчиков живыми и невредимыми. Я, понятно, пошёл с большим интересом вплотную посмотреть на врагов. Допрос проводили прямо во дворе деревенской мазанки. Селивановский сидел на лавке за столом, под вишней, рядом переводчик, по бокам мы. Привели лётчиков. Впервые увидел я пленных. На вид довольно ладные симпатичные парни, а один ну точно наш, широкоскулый такой, ясноглазый. Селивановский попросил его себя назвать, а затем сказать, из какой они части и в каком месте у них аэродром. С виду наш русский парень ответил: «Я немецкий барон, я давал присягу на верность фюреру, я вам ничего не скажу».

Селивановский встал, достал из кобуры пистолет, подошёл к немцу и выстрелил ему в грудь. Тот упал и задёргался в агонии на земле. Селивановский подошёл ко второму: «Ты расскажешь!». Но тот вскинул руку в нацистском приветствии и отказался. Селивановский со словами: «как хочешь» так же спокойно выстрелил и в него, и тот упал рядом с уже затихающим первым. Третий оказался не лучше, вскоре и он лежал с товарищами. «Что же это делается? – думал я. – Это же полное беззаконие, так поступать с пленными нельзя...» А с другой стороны, что делать? Вроде бы и нельзя так, а для нашей армии эти сведения необходимы. Ведь не для собственного же удовольствия Селивановский в них стреляет. Они на нас напали, не мы на них, они бомбят наши города, убивают мирных жителей. Но всё равно так нельзя, так далеко зайти можно.

Четвёртый немец, типичный фашист с узким лицом и жёстким взглядом, сказал: «Я вам всё расскажу, эти трое – аристократы, один барон, а те два помещицьи сынки. А я школьный учитель и всегда коммунистам сочувствовал, мне за Гитлера умирать не с чего, я вам всё расскажу и покажу». И он действительно всё нам рассказал и

показал на карте их аэродром. Тут же эти данные Селивановский передал в штаб командующего фронтом Будённого, и вскоре наши этот аэродром накрыли. А учитель избежал расстрела.

Нашей главной задачей было подавить всяческую панику и слухи и не давать немецким шпионам и диверсантам просачиваться в тыл под видом отступающих и вышедших из окружения военнослужащих и дезорганизовать его. Не менее важным было получение информации о том, что вообще происходит в войсках и на фронте, включая положение на карте и все данные о противнике. Пока ситуация обещающей не выглядела – немец пёр вперёд, несмотря на наше отчаянное сопротивление. В город ежедневно стекались тысячи беженцев и вышедших из окружения военнослужащих. Их надо было срочно отфильтровывать, установить, что они подлинны, а не подставлены немцами из числа перевёрбованных военнопленных, что тогда встречалось уже нередко.

Восьмого сентября утром по дороге в штаб мне кто-то крикнул: «Андрей!». Это был мой киевский сослуживец Н. Он сказал: «Я видел твоих вчера в Кременчуге – и Маню и детей!». Я аж похолодел, ведь немцы уже могут быть там. Тут же бросился к Селивановскому: «Товарищ генерал, прошу выделить машину для срочной эвакуации моей семьи из Кременчуга!» Тот ответил: «Не имею права. Действуй под свою ответственность – я ничего не знаю». Я со всех ног к шофёру: «Каримов, бензин у тебя в баке есть?» – «Только залил». – «Давай ещё с собой пару канистр и гоним в Кременчуг – приказ начальника».

Мы взяли из гаража две канистры, запрыгнули в газик и погнали в Кременчуг. Через полтора часа тряски подъезжаем к Кременчугу. Картина жуткая и нерадостная – в городе бой, пикируют немецкие бомбардировщики, бьёт артиллерия, везде разрывы бомб и снарядов, пожары, дым. Сердце моё сжалось. Надо было во что ни стало успеть их спасти или погибнуть вместе. Нам уже было известно, что евреев немцы уничтожают или сгоняют в гетто, моих бы расстреляли дважды – и как евреев, и как семью особиста.

Неожиданно мы наткнулись на цепь наших матросиков, оккупывающихся на выезде из города. Молоденькие ребята с винтовочками, ну как могла противостоять их редкая цепь немецким танкам?

«В город нельзя! Там немцы!» – загородил нам дорогу их усатый начальник. Я достал своё osobistское удостоверение и сказал: «У меня задание!» и был тут же пропущен. С пригорка было видно, что немецкие танки уже вползают в город, и наши бойцы отбивают их из последних сил, а по вокзалу немец бьёт прямой наводкой. «На вокзал!» – скомандовал я шофёру. Каримов творил чудеса, уворачиваясь от воронок и разглядывая дорогу сквозь дым. Навстречу бежали мирные жители, матери с детьми, старики. Тут же у дороги раненые, убитые. Жуткая картина. Много среди убитых и военных, и мирного населения. Но особенно почему-то запомнилась лошадь, взрывом ей оторвало зад, и она лежала, истекая кровью, и умирала молча, со смотрящими на дорогу полными смертной тоски глазами и упрёка людям за то, что они с ней сделали. Когда мы выскочили на платформу, обстрел усилился, раненые, которые здесь собрались в надежде на эвакуацию, перекатывались от взрывов снарядов то в одну, то в другую стороны, мелькали ошмётки их грязных, кровавых бинтов.

Где же наши, живы ли, как их найти среди такого кошмара. О себе я вовсе не думал, и страха не было. И, вдруг, вижу сестрёнка моей жены, Роза, бежит среди всего этого ада с чайником в руке. Я к ней – «Роза, где наши?!» «Они здесь в укрытии, я за водой выскочила, дети пить хотят!» – и мы нырнули по вертикальной лестнице в небольшой привокзальный бункер. И тут я услышал голос: «Папка!» – это кричала Лара. Я быстро обнял и поцеловал их всех и скомандовал: «За мной наверх, быстро!». Я помог им выбраться на поверхность – это было чудо – все были живы и здоровы. Мы с Каримовым моментально запихали всех в газик – Маню с детьми, Розу, их родителей и погнались прочь.

Вскоре проскочили опять ту же цепь молоденьких матросиков с винтовочками, которые собирались ценой своих жизней задерживать немцев и прикрыть отступающих. У всех у них были матери, может быть невесты, братья и сёстры – грустное дело война. Я посмотрел на них, как бы прощаясь с каждым – вряд ли кому из них суждено уцелеть в этой мясорубке. Канонада усиливалась, видно было, как подходили новые немецкие части, ползли в город жуткие, как стальные динозавры, серые немецкие танки. И тут я с ужасом услышал, как лопнула рессора. Мы были всего километрах в трёх

от той жиденькой цепи наших матросиков, и было ясно, что немцы много времени нам не дадут. «Я сейчас подправлю!» – крикнул Каримов и выскочил с топором, подбежал к дереву, ловко несколькими ударами отсёк приличную ветку, запихал над задним колесом и примотал проволокой. «Доедем, только можно, товарищ Фролов, я глушитель сниму, а то страшно». – «Ну конечно, делай как тебе удобней, довези, главное!»

– Ничего, проскочим! – весело крикнул Каримов, снял глушитель и, действительно, гораздо тише стало ухать справа и слева и больше не казалось, что каждый снаряд летит прямо в нас. Я обернулся на Лару и Юру, оба сидели молча с серьёзными глазами, но не плакали.

Разрывы снарядов отдалялись и постепенно перешли в далёкую канонаду, и до Полтавы мы добрались вполне благополучно, не считая страшную болтанку по разъезженной танками дороге.

Как я чуть было не расстрелял командира дивизии

Машину остановили перед штабом, и я сразу побежал докладывать о своём возвращении Селивановскому. Он обрадовался, что мне удалось спасти семью и был крайне удивлён, что немцы штурмуют Кременчуг. Он тут же повёл меня доложить Будённому. Семён Михайлович встретил меня недовольным тоном:

«Вы что, лично были в Кременчуге и видели там немецкие танки?»

«Так точно, товарищ командующий»

«А откуда же они там взялись? По данным нашей разведки, они туда ещё и близко не могли подойти», – и с сомнением посмотрел на меня. – Вы ничего не путаете?»

«Нет, я видел немецкие танки и пехоту в городе, как вас сейчас, товарищ командующий, они уже центр заняли и выходили к окраинам».

«Позовите Дубошина», – распорядился Будённый, и через минуту командир авиационной дивизии был уже в кабинете. – «Пошлите лётчиков проверить обстановку в Кременчуге, и немедленно сообщите мне при их возвращении, а то вот лейтенант говорит, что Кременчуг немцы взяли».

Мы с Селивановским занялись оформлением документов на срочную эвакуацию семьи. Через полчаса меня вызвали опять к Будённому. Тот, увидев меня, закричал: «Вы паникёр! Я вас под трибунал отдам! Лётчики только что прилетели из Кременчуга, никаких немцев там и близко нет, никаких там ваших боёв, там одни наши части и полная тишина!» Я дождался, когда он перестанет орать и ответил: «Чепуха, враньё!» Будённый с гневом и удивлением смотрел на меня: «Как враньё? Вы что себе позволяете?!» «Ваши лётчики над другим городом летали, пошлите нормальных лётчиков, и они дадут верную информацию», – заявил я со всей своей уверенностью. Будённый заколебался и вновь вызвал Дубошина: «Пошлите других лётчиков, надо перепроверить...» и, подозрительно глядя на меня, буркнул: «Но, если и на этот раз они не найдут там немцев – вы за это ответите по законам военного времени!»

Мы с Селивановским опять вышли, и, не зная своей участи, я бросился к семье для того, чтобы немедленно организовать их отправку в тыл, что бы тут со мной ни случилось. Немцы должны были уже занять Кременчуг и, не исключено, уже двигаются по направлению к нам. Полтаву нам не удержать – это ясно, поэтому главное – спасти семью. Мне удалось в течение часа посадить их всех в поезд, я их всех расцеловал как в последний раз, они махали мне в окно, я бежал за поездом.

Тут ко мне подбежал начальник станции и сказал, что меня срочно к телефону. Мы зашли в здание вокзала, говорил Селивановский:

«Товарищ Фролов? Так, слушайте, тут такое дело – все ваши данные полностью подтвердились, Будённый приказал расстрелять командира дивизии Дубошина», – это Селивановский проговорил чуть со смешком: «я поручаю это вам. Понятно?» «Так точно, товарищ генерал!» – и я тут же стал звонить: «Дубошина срочно к телефону!»

– Дубошин слушает!

– Это лейтенант особого отдела Фролов. Чтобы духа вашего в части через пятнадцать минут не было!

– Как вы смеете так разговаривать с командиром дивизии!? Вы за это ответите!

– Я тебе, мать твою, щас отвечу! Ты куда послал свои долбаные самолёты? Тебе что, жить надоело?! Найду через пятнадцать минут – пеняй на себя!

– А? Что? Понял...

Я перезвонил через полчаса, но ординарец не смог его найти. «Ну и слава богу» – решил я и не ошибся.

Через три дня мне позвонил Будённый:

– Здравствуйте, товарищ Фролов! Вы Дубошина расстреляли?

– Нет, товарищ командующий, я не смог его найти.

– Ну вот и хорошо – разыщите там его по своим каналам, он нам, знаете, очень нужен, тут как раз срочный вопрос надо решать, а без него никак, он всё-таки хороший специалист в авиации. Вы уж найдите его, пожалуйста, и доставьте в штаб как можно скорее.

Я тут же позвонил нашим лётчикам и велел передать Дубошину, что опасность миновала и ему надо срочно явиться в штаб на совещание. В дальнейшем никаких проблем между Будённым и Дубошиным не возникало, при этом Дубошин попивал основательно и держался по отношению ко мне недоброжелательно, явно обидевшись на мой тон – вот и делай после этого добро людям. А разговаривай я с ним по-другому, он мог бы и не исчезнуть, и пришлось бы его расстреливать, ещё только этого мне не хватало.

Вообще истеричность и крики «расстрелять!» были весьма характерны для целого ряда наших командиров во время войны.

На этот раз мои эвакуировались очень удачно. Несмотря на несколько налётов на поезд немецкой авиации, удалились на безопасное расстояние от линии фронта и доехали аж до Уфы, куда для них и было получено эвакуационное направление. Маня получила работу секретаря в райкоме партии у Игнатьева, дети были под присмотром её родителей, жили они на улице Чернышевского в новеньком деревянном доме с хорошим огородом.

Немцы подошли к Полтаве, и бойцы мрачно шутили: «Погорим, как швед под Полтавой!»

Мы бежали, разрушая заводы и уничтожая посевы.

... Летом 1942-го немцы прорвались к Волге и Кавказу. 28 июля вышел знаменитый приказ Сталина № 227, который, в частности,

предписывал Военным советам армий и прежде всего командующим армиями сформировать 3-5 хорошо вооружённых заградительных отрядов (по 200 человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникёров и трусов.

Я находился в расположении действующей армии, занимающей оборону на одном из участков Сталинградского фронта на Восточном берегу реки Дон с заданием отобрать и сформировать из сибиряков четыре заградительных отряда, вооружить автоматами и двумя станковыми пулемётами каждый. Честно сказать, задание было мне не по нутру: «стрелять в своих?», но приказ есть приказ. Так вот, лежим мы в поле, четверо офицеров, и обсуждаем, где целесообразнее всего расположить отряды. Подходит к нам военный высокого роста с исхудавшим лицом, синеватыми кругами под глазами. Узнаём командира стрелковой дивизии, но ещё в старом звании комбрига. Доложили, чем занимаемся. Он тоже прилёт, рассмотрел наши намётки дислоцирования отрядов на карте, поразмышлял немного и говорит:

«Лучше бы вам расположить отряды не сзади, а впереди частей дивизии, чтобы наши не бежали к немцам. Это меня больше беспокоит. Бежать, отступать в панике мы не собираемся, а вот к немцам пока ещё бегут».

Действительно, случаи измены имели место. На одном участке дивизии ночью к немцам сбежала группа солдат во главе с офицером. Многочисленные немецкие листовки на русском языке: «Штык в землю» разбрасывались из самолётов в расположения наших частей, призывали под всякими предложениями и посулами переходить к ним. Забрасывались и агенты из числа изменников родины распространять пораженческие слухи, сеять панику.

О высказывании комбрига было доложено члену военного совета армии Хрущёву, а он сразу решил, что командира дивизии с таким настроением нельзя оставлять в этой должности, к тому же заметив: «Не напрасно он до сих пор ходит в звании комбрига, а не генерала».

Под Сталинградом. Неприятная встреча с Жуковым

Основной нашей задачей под Сталинградом было полностью засекретить от немцев строительство нашей железнодорожной ветки через Волгу, обеспечившую к зиме бесперебойное снабжение наших войск боеприпасами, свежими силами, питанием, медикаментами и зимней одеждой. Понятно, мощные меры были предприняты для маскировки этой жизненно важной ветки и её прикрытия зенитками и авиацией в случае обнаружения. Но первой задачей было не дать немцам получить никакой информации об этом огромном и быстро идущем строительстве, то есть прикрыть полностью стройку от немецкой агентуры и не допустить никаких перебежчиков из числа тех, кто знал об этой ветке. Для этого мы тут же стали более открыто строить другую, уже ложную, ветку, причём строить на полном серьёзе, те, кто строил и понятия не имели, что это всего лишь отвлекающий маневр. Немцы эту ложную ветку вовсю бомбили, но и сами несли при этом потери самолётов немалые, и наши зенитчики и лётчики были уже не те, что в первые месяцы войны – они уже давно всему научились и сами могли поучить кого угодно. К этому времени у меня было уже несколько заместителей, хотя я был ещё только майором госбезопасности. Заместители постоянно выезжали на разные участки фронта для выполнения моих приказов и заданий.

Здесь произошла встреча с генералом армии Жуковым.

К нашей части глубокой ночью вдруг подъехала колонна автомобилей со включенными фарами, что было строжайше запрещено специальным приказом. За нарушение этого приказа могли быть к нарушителю применены самые суровые обвинения, вплоть до пособничества врагу. Не один и не два офицера были сурово наказаны за нарушение этого приказа. И это было справедливо, так как с помощью таких идиотов немцы сразу же могли установить расположение воинских частей и нанести им большой урон с помощью авиации или артиллерии, а также лучше понять всю тактическую ситуацию в определенном районе. А я курировал маскировку и делал это самым тщательным образом. Я специально с несколькими моими ребятами, с риском напороться на немцев, поднимался на

расположенную в трёх километрах горку и оттуда высматривал слабые места в нашей маскировке, оставался сам с автоматом наготове и посылал ребят исправлять огрехи и возвращался, только когда убеждался, что мы невидимы ни сверху, ни сбоку.

А тут меня будят звонком, мол, какая-то колонна среди ночи с горящими фарами подошла. Я туда, бегу к головной машине:

– Вы что это делаете, вы с ума сошли, тушите фары, а то пойдёте под трибунал!

И тут через открытое окно головной машины слышу:

– Ты у меня сам, майоришка ё...ный, под трибунал пойдёшь, ты что, блядь, начальство узнавать разучился, а ну открывай ворота! Я – Жуков!

Магическое имя. Честно сказать, я в первое мгновение не поверил. Выхватил пистолет и навёл его на открытое окно:

– Ещё раз повторяю, выключите фары, буду стрелять, это приказ!

– Ты чё, дурак, контуженый, что ли? Засунь свой пистолет себе в задницу и запомни раз и навсегда: начальство надо узнавать в лицо, даже в темноте.

Тут я поверил – Жуков. Вложил пистолет обратно в кобуру, но злость переполняла меня. А тот продолжал орать:

– Уберите этого контуженого! Романдира ко мне, пусть обстановку доложит, – Жуков вышел из машины и, не обращая на меня никакого внимания, зашагал со своими порученцами.

Я был не на шутку расстроен, и раньше от многих слышал, что Жуков редкостное хамло, но такого не ожидал.

Уснуть уже не получалось, да и переполох, все забегали, зашуршали. И как держать в армии после этого дисциплину? Как солдат и офицеров воспитывать? Ведь всю часть под немцев подставил. Лежу, прокручиваю всё это в голове, тут опять телефон:

– Срочно явиться в штаб на доклад к командующему войсками!

Ещё не легче, видеть эту рожу не могу, а надо. Захожу – сидят Жуков, Шевченко, Селивановский, какие-то незнакомые офицеры:

– Ну майор, доложи-ка обстановку, ты говорят, сегодня на высоту поднимался, раз ты такой умный – обратился ко мне на этот раз без мата Жуков.

Я всегда детально изучал обстановку, но тут повезло, так как

вечером, устанавливая маскировку, забрался на верхушку горы и неплохо видел наши и немецкие позиции, а также рельеф местности. К тому же я всегда интересовался военной наукой, да и нельзя контрразведчику без этого, надо же всё-время планировать перемещение наших особистских курьеров между частями с передачей секретной информации так, чтобы они не попались в руки к немцам. И никто ещё ни разу из моих заместителей не был захвачен или убит. Подавив в себе глубокую неприязнь к командующему, я доложил обстановку. Жуков мрачно слушал и после моего доклада закричал на собравшихся:

– Какой-то майор разобрался, а вы, мудаки... – и махнул рукой.

Но меня такой комплимент несколько в пользу Жукова не расположил.

Продолжение – в следующем номере

Евгений ЛЕСИН

РАЗМЫШЛИЗМЫ

* * *

По телевизору, «Дорожный патруль»: В сторону Русофобской улицы...

Ух, ты, думаю! Ура! Оказалось – Русаковской.

* * *

Крысы первыми бегут с корабля. На бал.

* * *

Вечное и доброе пишут только спичрайтеры президента.

* * *

Никаких сил зла не хватает.

* * *

Единственное оправдание плохому заголовку – плохой текст.

* * *

Раньше на пожелание «будь здоров» отвечал: «спасибо». Теперь говорю: «бесполезно».

* * *

Свадьный грех. Никакого интима, зато чистая соборность.

* * *

В аду, надо полагать, евреи работают в субботу, арабы в пятницу, а русские – вообще работают.

* * *

Бред сивой мобилы.

Совет товарищам на местах

Тише правишь – дольше будешь.

* * *

Один раз отмерь и ничего не режь.

* * *

И волки сыты, и овцы живут не по лжи.

По Фрейду

Прислали анонс. «Церемония награждения лауреатов премии «Дебют» состоится 12 *деткабря*. С уважением – Ольга Славникова, координатор». Ну да. Раз дебют, значит – ДЕТКАбря. Бря, детка, бря...

* * *

Некоторые женщины считают гендер фамилией мужчины. Ждут его. Шлют ему воздушные поцелуи. Гендер, милый, где ты был? С феминистками водку пил, – звучит ответ.

Рецензент всегда прав

Если писателю не нравится рецензия, то плох писатель, а не рецензент.

Рецензент лучше знает, кто такой автор, что он хотел сказать и почему.

Если рецензент допустил фактическую «ошибку», значит ошибочна действительность

Рецензент всегда цитирует правильно, неправильно пишет писатель.

Рецензент не должен читать рецензируемый текст, а вот писателю не мешало бы после прочтения рецензии внести нужные исправления в свое «произведение».

Плохому писателю всегда рецензенты мешают.

Любая – даже самая плохая – рецензия всегда лучше любой – даже самой хорошей – книги.

Даже в том случае, если книга короче, а рецензия длиннее.

Если рецензент составляет из своих рецензий книгу, то он должен знать, что теперь он – писатель.

И если писатель напишет на книгу рецензий рецензента рецензию, то писатель автоматически становится рецензентом, а...

Рецензент всегда прав.

Если писатель в книге рецензий рецензента находит рецензию на свою книгу, то его реакция на рецензию – уже не реакция писателя на рецензию, а рецензия рецензента на писателя, а...

Рецензент всегда прав.

Если писателю не нравится рецензия, то плох писатель, а не рецензент.

И т. д.

Так писатель может отомстить рецензенту.

Редактор всегда прав

Никогда не спорьте с редактором, уважайте труд редактора: всё-таки коллега работал.

Правку лучше всего вносить до прочтения текста или – вариант – вместо прочтения.

Редактор должен редактировать текст, даже если он ему нравится, даже если не хочется редактировать, даже если от редактирования текст становится хуже.

Потому что:

а) Редактор всегда прав.

б) Любой текст после любого редактирования становится лучше – по определению.

Отредактированным считается любой текст, который редактор называет отредактированным.

Если автор говорит – вы же там ничего не изменили в моём тексте – автор врёт: текст одухотворен присутствием в нём редактора, неважно, каким присутствием – читал, листал, трогал, плевал, ставил стакан, прожигал сигаретой и пр.

У каждого редактора есть редактируемые и редактирующие.
Редактор редактора всегда прав.
Никогда не спорьте с редактором редактора. И т. д.

Интервьюер всегда прав

Если чёрт угораздил вас родиться в России без души и таланта и пошли вы не в наемные убийцы, или, говоря по-русски, киллеры, а в литераторы, как Владимир Ульянов-Бланк, то запомните твёрдо и навсегда:

Интервьюер всегда прав.

Мало того, что он снизошёл до беседы с вами о ваших, с позволения сказать, опытах и опусах, он ещё и пытается сделать так, чтоб вы не выглядели полной сволочью и идиотом, каковыми вы без сомнения являетесь. В противном случае, не пошли бы вы, как Ульянов-Бланк, в литераторы, а подались бы в киллеры или, на худой конец, наёмные убийцы.

Интервьюер лучше знает, что вы говорили, о чём говорили, зачем и для чего. Если вы считаете, что Солженицына зовут Александр Исаевич, а интервьюер пишет «Исаак Львович», значит, вы имели в виду не Александра Исаевича, а Исаака Львовича. Вы позвоните, проверьте. Нет, вы позвоните и проверьте. Исаак Львович вам подтвердит, и Александр Исаевич вам подтвердит. Потому что:

Интервьюер всегда прав.

Если уж вы последняя сволочь и потребовали интервью на «вычитку», – не вносите никакой правки! Интервьюер же работал, а он лучше знает, что вы говорили, о чём говорили, зачем и для чего и т. д. и т. п.

А если, не дай Бог, вы совсем закоsnели в маразме, неокантианстве и русофобофобии, и – не хочу, отказываюсь верить, что такое возможно, но вдруг? – вы опоганили текст своей злобной, подлой, вонючей, архивредной, глупой и бездарной квазиправкой, то не требуйте, чтобы интервьюер вносил её в текст интервью. Вам же хуже будет, все будут с вас смеяться. Все и так будут с вас смеяться, но тут уж совсем позор.

Интервьюер всегда прав.

Когда же интервью выйдет, и вы – естественно! – обнаружите,

что ваша мерзопакостная «правка» осталась без внимания интервьюера – смиритесь, дурило вы грешное. Потому что:

И последнее. Интервьюер, ставший известным до такой степени, что у него самого начинают брать интервью, автоматически становится литератором, как Ульянов-Бланк. И если кто-то снизошёл до беседы с ним о его, с позволения сказать, опытах и опусах, да ещё и пытается сделать так, чтоб он не выглядел полной сволочью и идиотом, каковыми без сомнения является, то именно тот, кто снизошёл, и является интервьюером, а:

Интервьюер всегда прав.

* * *

Товары нервной необходимости.

Дети лейтенанта Шмидта

– Каин, узнаешь брата Авеля?

– Узнаю! Узнаю брата Авеля!

* * *

Почем социум для народа?

* * *

Хорошо видно вооружённым глазом. Лучше всего – до зубов вооружённым глазом.

* * *

Именно на риторические вопросы чаще всего дают неправильные ответы.

* * *

На сервере диком растёт одиноко...

* * *

Объявление: «Ритуальные услуги круглосуточно». То есть убил, сразу же приехали и закопали.

* * *

Гуляю с младенцем и собакой.

– У вас девочка?

– Собака – девочка. Ребёнок – мальчик... Жена – сука.

(Машинально ответил.)

* * *

Пишу – Кассандра. Компьютер (вот и сейчас) исправляет: Массандра. Ну и кто из нас алкоголик?

«МОСКВА – ПЕТУШКИ» ВЕНЕДИКТА ЕРОФЕЕВА

1839 ГОД.

Николаевская Россия. Мракобесие. Православие. Народность. Наполеон давно в жопе святой Елены. Рождённый в 1812-м году, в самый разгар Бородина, Дантес застрелил наше всё. Евгения Онегина от мочегоннойбрусничной воды пробрал понос. Белинский неистовствует. Крепостные стонут и пьют горькую. Дворяне страдают от неразделенной любви и выпивают. Никаких Петушков нет ещё и в помине, а Москва даже и не столица. Жить незачем и, в сущности, некому. Всё. На х..

1947 ГОД

Сталин – сука. Убийцы в белых халатах все еще в белых халатах. Соседи – враги народа, доносчики, пидорасы. Пить можно только счастливо смеясь и громко выкрикивая патриотические лозунги. Пьянеть опасно. Трезветь – смертельно опасно. Лучше всего чувствуешь себя в состоянии тяжелейшего похмелья – не так противно. Самое честное занятие – мелкое воровство. Жизни нет и не предвидится. Все. На х...

1996 ГОД

Ельцин – наш президент. Все – всюду. Даже в 5 утра, в чужом городе и без штанов, не умрешь, не опохмелившись. Ехать никуда не хочется. Потому что за спиртным далеко ходить не надо, а любая поездка дороже выпивки. Старые русские выбирают напитки,

руководствуясь ценами. Новым русским напитки выбирают нерусские. Напитки, соответственно, тоже нерусские. Жить можно, но не хочется. Все. На х...

2042 ГОД

Открытое общество. Враги открытого общества уничтожены. Фамилии действующего президента никто не помнит. Пить не модно. Алкоголизм изжит полностью и целиком, а также окончательно и бесповоротно. Петушинский район города Москвы переименован (в 2038 году) в Ерофеевский. Писательство запрещено, а уже написанное усовершенствовано. Сама поэма преподносится читателю в таком виде: Счастливая Москва. Веничка Ерофеев (главный герой) едет к жене и сыну на общественном транспорте. Вдороге читает лекцию случайным попутчикам... Все. На х... И жить не хочется.

Евгений Лесин – москвич. Учился в Московском институте стали и сплавов. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького.

С 1995 года работал в газете «Книжное обозрение», с 2002 года – в «Независимой газете». Ответственный редактор литературного приложения к «Независимой газете» «НГ Ex libris». Член Союза писателей Москвы, Союза журналистов Москвы, Русского Пен-клуба, Московского городского отделения Союза писателей России, редколлегии литературно-художественного журнала «Юность». Является одним из экспертов развития современной российской литературы.

Автор нескольких книг. Лауреат различных литературных премий, в том числе премии «Нонконформизм-2010».

Предыдущая публикация Евгения Лесина в журнале «Времена» – в №4 (8) 2018 года.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Раиса СИЛЬВЕР

Я ВРЕМЕНИ НЕ ЗАМЕЧАЮ

На задней обложке этой изящной книги, выпущенной известным американским издателем Михаилом Минаевым (info@mgraphics-publishing.com) – несколько слов об авторе. Что общего между скромным инженером-экономистом из Москвы и руководителем центра для пожилых людей в штате Нью-Джерси, журналистом, радиоведущим, экскурсоводом, преподавателем, автором рассказа в американском учебнике, по которому американцы изучают русский язык? Да просто это один и тот же человек – Раиса Сильвер.

Она – автор пяти книг прозы. «Я ВРЕМЕНИ НЕ ЗАМЕЧАЮ» – ее первый сборник стихов.

Автор предисловия писатель Юрий Окунев пишет: «В этой книжке вы найдете хорошие лирические стихи – искренние, остроумные, веселые и грустные, глубинные и легко, с юмором порхающие».

*Мой лирический герой...
То холодный он, то страстный,
То несносный, то прекрасный.
Разный у него настрой.*

Или, к примеру, такое.

*В минуту откровения
Возьму стихотворение,
На ветку нанижу*

*И ветру покажу.
А он взмахнет листочками
С нанизанными строчками,
Их буйно теребя,
А строчки про тебя!
Притихшие и страстные,
Прозрачные и ясные,
С нелегкою судьбой,
Они – как мы с тобой!*

Раиса Сильвер давно в Америке. Она общалась и дружила со многими известными литераторами-иммигрантами, и не только литераторами. Она, скажем, вместе с Юрием Окуневым и другими коллегами приложила немало усилий, чтобы имя замечательного писателя Феликса Розинера, автора романа “Некто Финкельмайер”, не было забыто. Наш журнал ВРЕМЕНА опубликовал ее воспоминания об этом человеке, которого она хорошо знала.

Я как редактор журнала взял с Раисы слово, что она поделится воспоминаниями и о других ярких личностях, встретившихся на ее пути. Первая такая публикация – о владельце и главном редакторе газеты «Новое Русское Слово» Андрее Седых – готовится в следующем номере.

А пока советую приобрести сборник стихов Раисы Сильвер, и вы получите удовольствие от знакомства с лирикой поэта.

P.S. В выпуске книги, готовившейся в Бостоне и Иерусалиме, также участвовали Зинаида Палванова (редактура) и Ителла Мастбаум (обложка и оформление).

Яков ФРЕЙДИН

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ Избранные рассказы

Автору повезло – у него было две жизни. Первую он прожил в СССР, откуда уехал в 1977 году, а свою вторую жизнь он живёт в США, на берегу Тихого океана в тёплом и красивом городе Сан-Диего, что у мексиканской границы.

В первой жизни автор занимался многими вещами: выучился на радиоинженера и получил степень кандидата наук, разрабатывал медицинские приборы, снимал кино как режиссёр и кинооператор, работал кинорепортёром для ТВ, играл в театре, баловался в КВН, строил цветомузыкальные установки и давал на них концерты.

Во второй жизни он работал исследователем в университете, основал несколько компаний, изобрёл много полезных вещей и получил на них 60 патентов, написал две книги по-английски и множество рассказов по-русски. По его учебнику студенты в университетах изучают датчики. В Калифорнийском Университете он читал лекции по теории датчиков и истории искусства периода Ренессанса. Пишет картины и путешествует по миру.

Это второй сборник рассказов Фрейдина на русском языке (Hurricane Books Publishers). Первый сборник «Степени Приближения» вышел в том же издательстве два года назад.

Все рассказы в этой книге (за исключением пары первоапрельских розыгрышей) основаны на реальных событиях и примечательных людях, а потому в этой книге мало вымысла.

«Спешу предостеречь: открыв любой рассказ Якова Фрейдина, не надейтесь, что сможете, взглянув на начало, отложить чтение на потом. Не получится. Не оторветесь, пока не дочитаете до конца. Эта проза не отпускает, не дает соскучиться, отвлечься, она увлекает читателя занятными поворотами сюжета, подбрасывает новые, нередко парадоксальные, мысли и краски. Однако умение выстраивать повествование так, чтобы оно с ходу и безраздельно завладело нашим вниманием – лишь одно из достоинств этого автора. Пожалуй, самое ценное в нем – это его многогранность. Яков Фрейдин – ред-

кий в наше время образец гармонической личности, современный “человек Ренессанса”. Он физик и лирик в одном флаконе. Природа одарила его по меньшей мере тремя талантами: инженера-изобретателя, прозаика и живописца».

Это из напутствия Владимира Фрумкина читателям новой книги.

Мне здорово повезло – я знаком с Яковом лично. Когда попадаю в Сан-Диего, где начинал свою иммиграцию и где живет семья моего сына, звоню Якову, приезжаю к нему домой и мы часами обсуждаем то, что нас волнует – литературу, политику, жизнь. Не знаю, как он, а я от этих встреч получаю мощный заряд энергии, ибо общаюсь с истинно талантливым человеком.

Я – поклонник его творчества. *Невыдуманные новеллы* – так бы назвал написанное Фрейдиным. Истории его – уникальны, потому что уникальны его герои. Автор мастерски строит сюжеты, владеет редким искусством заинтриговывать читателя. В современной литературе я почти не знаю писателей, работающих в такой манере, а главное, умеющих делать это так умело, таким сочным языком, как Фрейдин.

Его хорошо знают по публикациям в периодике, и не только в Америке. Уверен – новая книга найдет широкий читательский круг.

Подробности – на сайте **fraden.com**

Александр МАТЛИН

ВОЙТИ В РЕКУ ВРЕМЕНИ
Сборник рассказов

Изд. Bagriy & Company, Inc, Chicago, IL
<http://bagriycompany.com>

В эту книгу вошли 25 рассказов Александра Матлина, включая 10 рассказов из предыдущих сборников. Сатирические рассказы Матлина – это про нас с вами, про иммигрантов из Советского Союза и России. Про наши иммигрантские радости и печали, про наше мучительное постижение новой культуры, наши победы и поражения, нашу мудрость и нашу глупость. В этих рассказах каждый из нас может найти себя.

Рассказы Матлина регулярно публикуются в русскоязычных изданиях в США, Канаде, Израиле и Германии и неустанно борздят интернет, зачастую без имени автора.

Вот что он сам рассказывает о себе.

«Я приехал в Америку из Советского Союза 45 лет назад. Я обосновался в Лос-Анджелесе и начал стремительно американизироваться. Стать американцем было моим самым страстным желанием. Я хотел забыть Советский Союз и больше никогда о нём не вспоминать. Я перестал читать по-русски. Я перестал интересоваться событиями в Советском Союзе. Я просто умирал от желания быть настоящим янки, таким, какой любит бейсбол, яблочный пирог и Шевроле.

Но каждый раз, когда я открывал рот, люди вежливо улыбались и спрашивали: “Where are you from?” (Откуда вы?)

И я вынужден был отвечать, что я из Советского Союза.

Прошло два года, и я нашёл работу по специальности в штате Висконсин. И я переехал в Висконсин и поселился в пригороде Милуоки.

Этот переезд меня осчастливил. Теперь, когда меня спрашивали “Where are you from?” я гордо отвечал:

– Из Лос-Анджелеса.

Но на этом счастье кончалось. Люди вежливо улыбались и задавали следующий вопрос:

– Ну да, конечно, а откуда вы, так сказать, первоначально?

И я вынужден был отвечать, что я из Советского Союза.

Прошло ещё два года, и я нашёл в Нью-Йорке другую работу, тоже по специальности, но ещё лучше. И я переехал в Нью-Джерси, пригород Нью-Йорка, хоть и другой штат.

Этот переезд меня окончательно осчастливил.

Теперь, когда меня спрашивали “Where are you from?” я отвечал:

– Из Висконсина.

На что люди, конечно, вежливо улыбались и задавали следующий вопрос:

– А откуда вы, так сказать, первоначально?

И я отвечал, задыхаясь от гордости:

– Из Калифорнии.

Я помню одну из первых таких встреч в Нью-Джерси. Милая дама средних с лишним лет, с которой я разговорился в поезде по дороге на работу, конечно же, спросила: “Where are you from?”, на что я, конечно, ответил: «Из Висконсина». На это дама, конечно, задавала следующий вопрос: «А откуда вы первоначально?» И я, конечно, ответил: “Из Калифорнии”.

Моя собеседница заморгала, и растерянность проступила на её лице.

– Подумать только! – сказала она. – А я всегда думала, что в Калифорнии говорят по-английски.

Эта нехитрая история заставила меня задуматься, чего я обычно не делаю. И мне стали приходить в голову странные мысли. Например, о том, что человек в своей жизни властен поменять всё или почти всё. Но есть одна вещь, которую человек поменять не может.

Это своё прошлое.

Так что, если я проживу на свете ещё сто лет, я всё равно буду “из Советского Союза”, нравится мне это или нет. И всё равно милые американские дамы будут спрашивать:

– Как давно вы в Америке? Сто сорок пять лет? И как вам здесь нравится?

И я, чтобы не разочаровывать моих доброжелательных собеседниц, буду вежливо отвечать:

– Ничего, спасибо. Начинаю привыкать.

Вот в этом состоянии привыкания я живу последние сорок пять лет. В этом состоянии я работаю, путешествую, ухаживаю за садом и пишу рассказы, которые и представляю на ваш суд, дорогие читатели».

amatlin@verizon.net

Подготовил Давид Гай

Гэри почувствовал, что кровь отливает от лица. Он почувствовал ватную слабость, будто начал действовать наркоз. Камилла обняла его и громко, почти криком:
– Ты понял – у тебя нет рака! Некоторые клетки... – не так страшно, вполне операбельно. Ты будешь жить!!!
Я буду жить... – гулким эхом отозвалось в голове, пронзило всё его существо, словно ударом тока.

Леон Михлин

– Беда случилась, Маркович. Доигрались наши дети... Приставала Руфина к Артёму, приставала, давай, говорит, я тебя ниже пояса поцелую, а он же фронтовик, на страже, так сказать, Родины. Нервы у него не выдержали и... – Казарин-старший рубанул рукой по воздуху.
– Что он сделал? – вскричал Зельдин.
– Ну сколько ж ему терпеть? Он её и так и сяк упрашивал, прекрати, говорит, разврат, а она на своём. Нет, говорит, всё равно буду... Ну, он и пальнул в неё из трофейного «Вальтера».

Джейкоб Левин

Вы ж все время думали, что я вам про еду.
Я и жил, во всем вам потакая.
Я ж не про еду. Я ж вам – про беду.
Ай, беда-беда-беда какая!

Юлий Гуголев

Здесь всплывает один вопрос, а было ли предательство. Точнее: был ли генерал Власов предателем? Был! Однако стал он им не тогда – в деревне Туховежи, а в начале 20-х, когда ДОБРОВОЛЬНО пошел служить в Красную армию, предав свое сословие, семейные традиции и пр., то есть, предав родину.

Александр Яблонский

2042 ГОД

Открытое общество. Враги открытого общества уничтожены. Фамилии действующего президента никто не помнит. Пить не модно. Алкоголизм изжит полностью и целиком, а также окончательно и бесповоротно. Петушинский район города Москвы переименован (в 2038 году) в Ерофеевский. Писательство запрещено, а уже написанное усовершенствовано. Сама поэма «Москва-Петушки» преподносится читателю в таком виде: Счастливая Москва. Веничка Ерофеев (главный герой) едет к жене и сыну на общественном транспорте. В дороге читает лекцию случайным попутчикам... Все. На х... И жить не хочется.

Евгений Лесин